

СИБИРСКИЕ ОГНИ



5/2024

На первой странице обложки: **Владимир Мандриченко. Долгая дорога к храму.** (2016)



Владимир Мандриченко. На свидание с горами. (2020)



Владимир Мандриченко. Похищение Европы. (2021)

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

И. о. главного редактора:

М. В. ХЛЕБНИКОВ

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)
А. Г. Байбородин (Иркутск)
П. В. Басинский (Москва)
А. В. Кирилин (Барнаул)
В. М. Костин (Томск)
А. К. Лаптев (Иркутск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)
М. А. Тарковский (Красноярск)
А. Н. Тимофеев (Москва)
А. Б. Шалин (Новосибирск)
М. Н. Щукин (Новосибирск)

Михаил Косарев
ответственный секретарь

Лариса Подистова
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова
редактор отдела художественной литературы

Сергей Москвитин
редактор отдела художественной литературы

Татьяна Седлецкая
редактор отдела общественно-политической жизни

Евгения Акимова
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Л. Р. Юкляева
Верстка: С. В. Колотилов

5/2024

Содержание

ПРОЗА

Игорь ИВАНОВ. Евсеев и Семенов. Повесть.	3
Сергей МЕЛЬНИКОВ. Черная сопка. Рассказ.	52
Сергей БОЧКОВ. Забытая фотография. Рассказ.	86
Володя ЗЛОБИН. Снег пошел. Рассказ.	107
Ирма ЗАРЕЦКАЯ. Дурной глаз. Рассказ.	119

ПОЭЗИЯ

Вероника ШЕЛЛЕНБЕРГ. Навстречу Хану Алтаю. Стихи.	48
Сергей ВОЛКОВ. Над местным Ахеронтом. Стихи.	103
Мартин МЕЛОДЬЕВ. Все тот же ветер... Стихи.	123

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Александр АГАЛАКОВ. Начало транспортного надзора в Западной Сибири.	126
<i>Народные мемуары</i> Валерий ГАБРУСЕНКО. Что было, то было.	147

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Андрей РУДАЛЁВ. Особый счет Виктора Астафьева.	164
Сергей Носов: «Дарить книги уже неловко!» <i>Интервью.</i>	172
Михаил КОСАРЕВ. О каноне, контексте и списке великих. <i>Литературный фельетон.</i>	180

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Валерий ИВАНЧЕНКО. Грани военного опыта. <i>О книгах Д. Туленкова и Д. Артиса.</i>	183
---	-----

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Инна КИМ. Картины — это неоконченные пьесы. <i>Новосибирский художник Владимир Мандриченко.</i>	187
--	-----

Авторы номера	191
---------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

И. о. главного редактора, и. о. директора ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни» М. В. Хлебников

Игорь ИВАНОВ

ЕВСЕЕВ И СЕМЕНОВ

П о в е с т ь

Памяти деда-красноармейца Ильи Герасимовича

На покрытой росой серебристой траве по склонам оврага тянулись две темно-зеленые дорожки: старший сержант Анисим Николаевич Евсеев бежал напролом, глухо стуча подошвами сапог, а босоногий рядовой Филипп Семенов петлял по-заячьи, зигзагами, чтобы максимально сбить прицел стреляющего. Они ничего не видели перед собой — овраг был наполнен густым туманом, как крынка молоком. Оба надеялись увернуться от выстрелов конвоиров: понимали, что, если повезет, пули уйдут в молоко, а выпустив всю обойму, преследовать те побоятся — побегут за подмогой. Надо постараться просто убежать как можно дальше.

Часть первая. Побег

Командир назвал это «отправиться в разведку», но на самом деле Евсеева с Семеновым отправили на поиски хоть какой-то снеди, а еще лучше, если б они привели корову или лошадь. Немного провианта хранилось в запасном партизанском лагере, который в этих местах почему-то называли буданом, но пути туда оказались отрезаны. Все окрестные деревни были заняты карателями, они разместили в избах отряды и выставили посты, — пробраться туда за продуктами не было никакой возможности. Евсеев с Семеновым бродили по лесам и болотам от деревни к деревне, но не то что заходить в них, даже на открытую местность высовываться было опасно: понавезли откуда-то мадьяров — вместе с немцами они готовились, похоже, дать решающий бой партизанам.

За трое суток Евсеев и Семенов не только ничего не смогли найти, но и сами страшно оголодали. Время главным образом проводили в буреломах на болотах, ухораниваясь от патрулей, да и от местных тоже: тут смотря на кого нарвешься. Некоторые из своих относились к партизанам почти так же, как к оккупантам: злые были, что те и другие выгребают последнее. Только на третий день «разведчикам» удалось поймать

в петлю зайца. Наткнувшись на едва заметную звериную тропу, за пару часов Евсеев выстрогал ловушку из палок, как учил его еще в детстве отец, а потом, разворошив землю, установил пасть¹. По правде-то, он ни на что особо не надеялся, потому что лес был ему совершенно незнакомый: ни троп, ни токовищ он тут не знал, да и для привады было только то, что он выскреб из кармана, — было даже не понять, хлебные это крошки или просто мусор. Авось, может, какая лесная мелочь и попадется вроде перепела, ну а уж если векша — это чисто сказка. То, что попался глупый заяц, вообще было необыкновенной удачей.

Он был еще живым, теплым, когда Евсеев достал его. Прежде чем покончить, Евсеев перекрестил его и перекрестился сам. Поймав осуждающе-насмешливый взгляд Семенова, пояснил:

— У меня отец всегда кстил. Если птицу подбивал, говорил, что она в небесах летает, ее можно так. А эти, которые по земле бегают, — кто их знает, вдруг тоже душу имеют? Глупую, да все ж таки душу. А и на дерево большое, перед тем как пилить, положит, бывало, свою ладонь, а она у него морщинистая, сама как кора. Мол, надо прощения попросить. Мысленно.

— И что, деревяга слышит? — хмыкнул Семенов.

— Слышит не слышит, этого мы не знаем, а сказать надо.

Евсеев несколько раз полоснул ножом шкурку зайца и стянул ее, как мокрую тельняшку: на голой тушке остались только ворсистые носочки да пушистый комок на месте хвоста. На землю не упало ни капли крови. Кинул тушку Семенову:

— Дальше давай ты. Сможешь требуху-то вытащить?

Семенов кивнул.

С вечера и всю ночь моросил дождь, а утром похолодало, округу затопил плотный туман. Насквозь промокнув, они грели ноги у костра, но остывшие клочья влаги в воздухе забирались за шиворот, холодили спину. Евсеев свои полусапоги только расшнуровал — сказались возраст и природная осторожность. А Семенов обувь скинул, и его сохнувшие на ветках обмотки, точно змеи, двумя кругами обвили кострище. Он то и дело ковырял рогулькой угли, тыкал в мясо, проверяя готовность — зайчатина доходила на хилых углях медленно. Евсеев сидел на корточках и сбивал огонь, чтобы дым не поднимался и не выдавал их, а смешивался с туманом. Туман становился гуще — видно, с севера все еще напознал холодный фронт. «Октябрь, однако, скоро и снег выпадет», — подумал Евсеев и прислушался. Было тихо. Но тишина в тумане обманчива — влажная белесая пелена над землей глушит шорохи, в пяти шагах ничего не услышишь, так что просто надо быть осторожнее. По уму-то не стоило бы костер разжигать — не дым, так запах может выдать. Но не есть же мясо сырым! Шкурка косога лежала рядом, и Евсеев, поглядывая на нее, прикидывал, надолго ли ее хватит, если приспособить к обуви: вот уже сутки, как у него на полусапоге отвалилась подошва, пришлось примотать ее ивовыми прутьями.

¹ Пасть — самолов с приманкой для добычи лесных зверей.

— А что, Анисим Николаевич, вы в Бога веруете или как? — спросил Семенов, не сводя глаз с тушки. — Смотрю, креститесь. Это как-то не по-нашему.

— Вашему-нашему... — после паузы медленно ответил Евсеев, пропустив вопрос о Боге. — Не поймешь ныне, кто наш-ваш. Да и раньше-то... Вон когда кулачить нас пришли, кто донес? Свои же.

— А кто именно, знаете? — Семенов поднял голову, отвлекшись от процесса жарки.

— Кто-кто?.. Какая разница. Нас ведь дважды кулачили. Сначала в тридцатом по первому разряду родителей арестовали...

— По первому разряду — это как?

— Ну вроде как контрреволюционеры.

— Ого, а я не знал!

— Да чего тут знать? Кто-то свистнул, что у нас в голбце² будто бы оружие хранится. Не было ничего, конечно, но родителей увезли... Рассказывали потом, что отца предупредили только за час. Надо было собираться и бежать, точнее даже не собираться, а просто бежать — в лес, дальше-дальше от дома, от тех, кто знал его в лицо. Но мать стала зачем-то собирать вещи — у нее были книги божественные, иконы, мелочь какая-то. И вот пока она все это завертывала да складывала, а потом еще молиться стала, они и пришли. Мать и отца на крыльце взяли, когда они выходили. А тесть уже и лошадь запряг, за три дома телега стояла во дворе. Какие-то самые нужные вещи он под солому запихал, а мы с сестрой под попоной лежали, ждали родителей... В общем, кобылу распрягать пришлось, так никуда мы и не уехали. После мы с сестрой при дядьке три года прожили, пока его самого вместе с нами не забрали. В тот день и ваш дом тоже «обобществили», так они этот грабеж называли, хех. И поехали мы в Сибирь все вместе...

Закончив свой рассказ и насупившись — о себе он не привык говорить долго, — Евсеев стал тушить огонь и разгребать веткой угли. В голову его прокралась мысль о том, что прямо здесь он может немного вздремнуть, и сладостным предощущением разлилась по всему телу. Но он заставил себя встряхнуться — величайшее счастье сна было не ко времени — и мысленно повторил затверженное: «После войны отосплюсь». Спать нельзя, так хоть бы покурить...

Евсеев поднялся.

— Вы куда? — вздрогнул Семенов.

— Мяты поищу, а то смерть как курить хочется.

Побродив по кустам, Евсеев нашел-таки мяты и, довольный, вернулся к костру.

— Нашли? — В голосе Семенова слышалось недоверие.

Евсеев показал ему мяту и, сев у костра, разложил ее вместе с листьями малины у костра подсушить. Потом стал неспешно лепить самокрутку. В предвкушении затяжки настроение у него поднялось, захотелось сказать напарнику что-то хорошее. Но так просто хвалить

² Голбец — подполье в избе.





или ободрять он не умел, а потому принял интонацию учительскую, покровительственную.

— Стараться надо, — сказал Евсеев со значением и посмотрел на Семенова, тощего, малорослого, с нелепо оттопыренными ушами. — Мухоловка вон пичужка с кулачок и невзрачная, от воробья не отличишь, а на лету мошек ловит — так не каждая птица умеет. Еще и сверх того, что Бог дал, старается. Не чирикает абы как, а коленцами силится петь — уж, конечно, не соловей, но по возможности. Так что бери пример.

— Это как понять?

— А так, что, кроме главного дела, вот, например, сейчас это военно-партизанская служба, надо и другой талант в себе развивать... — Евсеев попытался вспомнить какую-то историю из священных книг, которую ему рассказывала в юности мать, но точно не смог ничего восстановить в памяти: вертелось на уме что-то про зарытый в землю талант, но ускользало, в чем там был смысл. — Война, Семенов, — это зло, а зло долго продолжаться не может. Все равно будет перерыв на добро. Ну и вот, когда мир наступит, чем ты займешься? Например, есть у тебя способность стороны света определять. Значит, после войны ты можешь на топографа выучиться, а по старанию будешь еще и картографом. А если не станешь карты рисовать, то и из топографов тебя попрут.

— За что же сразу «попрут»?

— Потому что есть такое правило: кто имеет какую способность, тот ее еще больше разумеет будет, а кто отказывается ее использовать для народного блага, тот и эту способность свою потеряет, полным дураком станет... — В памяти, наконец, всплыла фраза из божественной книги, которую читала ему мать, и Евсеев закончил: — У кого есть, тому еще прибавится, а у кого нет, у того и остатки отнимутся. Так-то вот!

— Несправедливо как-то, товарищ сержант, не по-советски! — возмутился Семенов.

— Нет никакой справедливости, запомни. Мы еще только боремся за нее, и при нашей жизни мы ее, скорей всего, не увидим.

Молодой Семенов любил поспорить, возражал даже старшим по званию при любой возможности, но ему многое прощали за один необыкновенный талант — умение сориентироваться на местности при любых обстоятельствах. В партизанском отряде его частенько брали в дальние рейды именно из-за этого: компас у него был словно встроен в голову — он мог безошибочно определить стороны света в любую погоду, указать направление, куда надо идти, и сколько уже пройдено.

Евсеев закончил возиться с самокруткой и сладко затянулся. Дым от листочков был горьковатый, зато притуплял чувство голода. Он уже решил, что зайца отдаст Семенову — молодой организм от голода страдает сильнее, — а сам обсосет только одну лапу. Переднюю. А потом снова погрызет запеченные корешки рогоза — в этих местах его называли лепехой, — хотя от них уже тошнило.

Евсеев и Семенов род свой вели из одного села на Ваге, и хоть разница в годах у них была большой, там, на родине, они знались,

а в последующие годы, в ссылке, так и вовсе срослись дружбой. В один день их кулачили, в одном обозе везли до Двины, потом на одной барже до Котласа, а оттуда в одном эшелоне — в Сибирь. И когда выгрузили, Семеновы попали в лесной Трудпоселок на Чулыме, а Евсеевых определили в деревню Андреевку в двадцати километрах, что по сибирским меркам рядом. Дядька Евсеева долго не протянул, помер, остались они вдвоем с сестрой, можно сказать, без присмотра. А с Семеновым они по старой памяти ходили вместе кедровые шишки сшибать и рыбу удить. Вместе их и мобилизовали. В части Евсеев как бы опекал молодого, но не так, чтобы постоянно стоять над душой или помыкать, а так, что все сослуживцы в роте, а потом и в партизанском отряде знали, что в случае чего Семенов не сам по себе — за ним стоит Евсеев, мужик серьезный. Евсеев, несмотря на то, что ему шел лишь четвертый десяток, выглядел лет на десять старше своего возраста и был мужиком широкоплечим, а когда надо — тяжелым на руку; хотя и ярыстым, но понимающим шутку. Словом, именно таким солдатом, какой на войне вызывает уважение и даже некоторую опасливость.

— Не помогли, выходит, вашей матери иконы да молитвы, — наконец нарушил молчание Семенов. — Я всегда удивлялся: люди достаточные, неглупые, а картинкам поклоняются. Видно, Богу-то картинки без интереса.

Он говорил вроде бы про мать, но понятно было, что обращался к Евсееву, о котором в отряде закрепилось мнение, что он «богомол», хотя на самом деле по-настоящему молился Евсеев в последний раз давным-давно, еще когда мать была жива.

— Да, мама у меня сильно верующей была, умела молиться, — подтвердил Евсеев скорее себе, чем своему молодому напарнику.

— Значит, мать у вас церковницей была? — снова стал подковыривать Семенов, по-прежнему глядя на жарящуюся тушку. — Отсталая, значит.

— Она все больше дома молилась. Ты ведь не помнишь, мелкий был, — церковь-то у нас снесли... — Евсеев осекся и глянул на Семенова: — Да что я тебе говорю!.. Ведь дурак ты, Филя. Да еще лопоухий. Но что с тебя взять, молодой еще.

— Я же просил вас не звать меня Филей!

— А как прикажешь тебя величать — Филиппом Васильевичем, что ли?

— Просто Филиппом.

— До Филиппа ты еще не дорос, так только дедов зовут. Тебя в школе как кликали, помнишь?

— Зайцем...

— Наверно, за большие уши?

— Опять вы, товарищ сержант...

— Старший сержант, — поправил Евсеев.

— ...старший сержант, шутите. Уши у меня нормальные. Просто я в детстве бегал быстро!

Евсеев приложил палец к губам:



— Ты чего галдишь?! Тут тебе не в деревне на гулянке горло драть. Так мы с тобой демаскируемся: костер, туды-сюды, тары-бары развели...

— Да у меня мать такая же, — помолчав, продолжил Семенов уже вполголоса. — Тоже все молилась, только пряталась в укромное местечко — по секрету как бы. И пока от Котласа ехали, тоже все молилась, да все равно у нее в вагоне выкидыш случился. Застудила живот-то. Не помог Бог. Несподручно Богу, видать, с нашими-то делами вошкаться... — Семенов посмотрел на Евсеева, и непонятно было, то ли он продолжает цеплять товарища, то ли говорит всерьез. — Вот так и остался я без брата. Или без сестры... Родители сами по себе, работой заняты, не до меня им. Если б не Нюшка моя, и в Трудпоселок бы ни к чему вертаться. А и все равно, если она дождется меня, уедем в город, там устроюсь работать. Как мните, товарищ старший сержант, — повернулся Семенов к Евсееву, — дождется или загуляет?

Евсеев, конечно, знал девку Анюту, сумасбродную холеру из соседнего поселка, с которой всю весну перед войной гулял Филя: если по характеру, то она, конечно, никого ждать не станет. Но вопрос не подразумевал такого ответа.

— Дождется, куда денется, — нехотя ответил Евсеев. — Мужиков-то всех подчистую забрали, не с кем гулять сейчас. А вернешься, да еще с медалью какой-нибудь — героем будешь на деревне. За тебя любая девка пойдет.

— И то верно, — с облегчением согласился Семенов. — Но любую мне не надо. Мне Нюшка подходит. Знаешь, как она целуется?! Ого-го!

Евсеев улыбнулся — тут был хороший момент поддеть Филю, спросив, где семеновская подружка опыта такого набралась, но подшучивать так было не в его обычае. И в этот миг, словно через туман, вдруг проглянули черты Галины, Галчонка, как он ее звал, — его первой и единственной любви еще тогда, когда они жили на Ваге, где он с тех пор не бывал, — показалась ее нежная и как будто виноватая улыбка. Но лик ее снова помутился и растаял.

— Как там мясо-то? — стряхнул с себя минутное томление Евсеев. — Жалко, соли нет.

— Да и без соли... — Семенов поднял взгляд на Евсеева, и лицо его, измазанное золой, исцарапанное ветками в лесу, обветренное и выгоревшее на солнце, вдруг сделалось точно мел, а улыбка, как подмытый берег реки, сползла с лица. В тот же момент Евсеев почувствовал, как к его затылку приставили что-то холодное, должно быть ствол. «Ну вот, попались! — пронеслось у него в голове. — Эх и дурак я! Этот проклятый заяц!..»

— Дас ист во дизе герух! — обратился тот, что сзади, ко второму немцу-коротышке, вышедшему на поляну из кустов. Евсеев понял так, что нужно поднять руки, и он поднял.

— Вот гады, не дали мясо доесть! — плюнул Семенов. Бледность на его лице сменилась болезненной краснотой.

Видимо, коротышка принял плевков на свой счет. Он потянулся к Семенову и с размаху ударил его наганом. Тот вскрикнул, повалился

возле кострища — вожденное и такое недостижимое теперь мясо оказалось в каких-то сантиметрах от его лица. Коротышка — судя по погонам с каймой, унтер-офицер — прижал его шею коленом к земле и вывернул ему руки, связав их сзади сушившейся семеновской портянкой. Потом подошел к Евсееву, толкнул его лицом в траву и проделал с ним то же самое.

— Драпать надо, расстреляют, — процедил Евсеев и тут же получил по затылку прикладом. Но он успел глянуть на Семенова и понял, что тот услышал его.

Немцы подняли пленников и, громко переговариваясь, повели. Из всей их речи Евсеев уловил, что их вычислили именно как партизан. Значит, шансов не было: партизан или расстреливали на месте, или для устрашения вешали на базарных площадях в селах, и те висели, источая вонь, пока ветер не рвал подгнившую веревку либо не приводили на казнь следующую партию партизан.

Со связанными за спиной руками они успели пройти с километр. Вели их той самой, едва заметной, тропой, которой они сами шли сюда. «Скоро начнется гривка между двумя оврагами, кустарник по склонам. Лучшего места для того, чтобы бежать, не будет», — подумал Евсеев. Тем более что туман, который сыграл с ними злую шутку у костра, скрыв подкрадывавшегося врага, теперь был за них: он клубился прямо под ногами, в трех шагах очертания человека уже читались с трудом.

— Гривка! — вслух сказал Евсеев, повернувшись к коротышке, который шел за ним.

— Вас хат?! — истерично крикнул немец и навел на Евсеева свой вальтер.

— На гривке, — спокойно повторил Евсеев, не глянув на Семенова, и продолжил идти.

На узкой гривке между двумя оврагами пришлось выстроиться в цепочку. Пройдя несколько шагов, Евсеев резко развернулся, толкнул головой в живот идущего следом коротышку, гортанно крикнул и нырнул в овраг. Повалился с обрыва, запнулся, раскровил щеку, покатился, вскочил, снова запнулся, пополз, побежал. Судя по шуму где-то сзади, Семенов тоже смог прорваться. То, что Евсеев ринулся не по ходу движения, как можно было ожидать, а назад, на мгновение ввело немца в ступор, и потому сначала он выстрелил куда-то над головой — это и спасло, потому что от следующих выстрелов уже был шанс укрыться в тумане.

Так и оказалось: немец, расстреляв в молоко все восемь патронов, что-то злобно прокричал — и все стихло. Последняя дурная пуля из обоймы просвистела рядом и застряла в стволе ольхи. Скоро они приведут сюда автоматчиков с собаками и будут прочесывать район. Если туман быстро сойдет, а они не успеют убежать порядочно, шансов спастись не будет. Ждать Семенова было некогда, и Евсеев ускорился туда, где, по его ощущениям, был спуск к реке.





Он бежал неуклюже, с завязанными за спиной руками, грузно топая по мелкому ручью, протекавшему по дну оврага. Через несколько минут остановился и прислушался: погони не было слышно. Но не было слышно и Семенова. Подстрелили? Видно, свернул не туда. А куда надо было? Об этом они не договорились, да и не было такой возможности. Евсеев остановился, крикнул: «Семе-о-онов, ты где?!» — и прислушался. Но плотный туман глушил звуки, как подушка. Тишина стояла абсолютная, однако сердце в груди раскачивалось, как язык колокола, и казалось, сейчас ударит так, что разорвет нутро.

Найдя на дереве сук покорявее и потолще, Евсеев попытался сорвать обмотку с больно вывернутых и туго затянутых рук, но ничего не вышло — связаны руки были со знанием дела. И он с изодранными в кровь запястьями продолжил неуклюжий бег вниз по ручью.

Скоро добежал до незнакомой речки с заболоченными берегами и стал продираться кустами вдоль нее, иногда проваливаясь чуть ли не по пояс. Он надеялся, что, быть может, где-то поблизости есть брод или — еще лучше! — мост. Но вместо этого он нос к носу столкнулся с Семеновым. Тот делал то же самое, что и Евсеев четверть часа назад: терся спиной, как медведь, о дерево, пытаясь сорвать обмотку со связанных рук. В первое мгновение Семенов испугался треска из-за кустов, вскочил, но тут же споткнулся, повалился и уже не мог подняться.

— Лежи давай, повернись только! — прохрипел Евсеев, сел рядом и начал зубами развязывать и разгрызать узел на руках у Семенова.

Когда это ему удалось, дело оставалось за малым: то же самое должен был сделать Семенов. Но у того долго не получалось. Евсеев уже начал ругаться и подсказывать, вспоминая, как хитро был завязан предыдущий узел.

— Всё! — закончив, облегченно выдохнул Семенов и повалился на траву.

— Вставай, воин, нашел время развалиться! Видишь, туман начал рассеиваться? Нам надо уйти как можно дальше. Представляешь, где мы?

Младший кивнул и махнул рукой:

— Если в сторону будана, то нам туда. Километров четырнадцать-пятнадцать. Но я не знаю...

— Чего не знаешь?

— Не знаю, как там. Вчера оттуда доносились сильные взрывы. Слышали?

— Да слышал я... Может, не оттуда. Да если и так... Куда нам еще идти?

— Там есть нечего. Найти бы хоть что-нибудь. Как вспомню мясо, эх...

— А ты не вспоминай, проехали! Куда двинемся? Есть поблизости какое-нибудь селенье?

— Километрах в пяти должна быть деревня. — Семенов без труда включил свою феноменальную способность к ориентации. — В той стороне. Если не сожгли.

— Там и будут нас в первую руку искать. Но если переждать до ночи... Раз фрицы из дозора, которые нас взяли, лазили поблизости, стало

быть, базируются они где-то недалеко по этой стороне, — сделал вывод Евсеев. — Значит, скоро явятся с собаками. Нам надо где-то переплыть на другой берег, чтоб сбить их со следа.

Вдвоем они снова стали продираться вниз по течению вертлявой заболоченной лесной речки, ища подходящий спуск к воде. Но везде река была без кромки, без тверди по краям: вдоль берега тянулся тростник, да жаглица, да ряска, а когда пробовали зайти, дно оказывалось вязким и илистым. Семенов несколько раз наткнулся на сучки своими босыми ногами и вскрикивал. Евсеев оборачивался и грозно смотрел на него, но ничего не говорил. Чего говорить, когда и так все ясно. Наконец в одном месте кусты расступились, и они увидели среди кувшинок полузатопленную рыбачью плоскодонку.

Евсеев подобрался к лодке и попробовал ее поднять. В одиночку не вышло. Вдвоем они втащили ее на траву и слили воду. Весел в кустах не нашлось.

— Оттолкни лодку и садись сзади! — скомандовал Евсеев, а сам скинул бушлат, закатал рукава и растянулся на дне головой вперед. Рыбацкая плоскодонка отчалила от берега, притопившись почти по самые борта. Евсеев, навалившись грудью на лавочку, начал грести руками. Медленно лодка стала выплывать из зарослей на течение, где уже оставалось только подправлять ее движение.

— Давайте подмену, — неуверенно предложил через несколько минут Семенов. — Студена вода-то небось?

— Нет... — прохрипел Евсеев и продолжил отрывисто выталкивать фразы между гребками: — Долго не будем плыть... Времени нет... Догонят, стервецы... Лодку бросим.

— Зачем? А как же мы?

— Все равно увидят след... Как мы стаскивали лодку... Будут искать нас ниже по течению.

Беглецы миновали три излучины, и Евсеев подгрел к небольшой, поросшей камышом заводи у противоположного берега. Туман уже почти рассеялся.

— Соскакивай и стой здесь, в воде, на берег не выходи... Если нас увидят местные, тоже аминь — запуганы так, что могут донести.

— Будешь бояться тут... Давеча вон девка до лагеря добрела из деревни, сказывала, как лютуют мадьяры, — стал вспоминать Семенов, прыгнув с лодки. — Всех, кто в лес не успел убежать, объявили партизанами, столкнули в силосную яму, а сверху накидали сена с хворостом и подожгли. Мясом горелым, мол, пахло неделю. Пять десятков человек сожгли...

— Точно ли мадьяры? — зачем-то спросил Евсеев, хотя какая, в сущности, была разница.

— Так их легко узнать — у них такие пилотки клоунские, вроде как петушиный гребешок с двумя пуговицами. А ляхи сейчас все в полицаи подались. Говорят, скоро французики тут появятся, за Наполеона поквитаться, — ждут их...





— Ох ты, а шаромыжников-то чего опять принесло?! Мало им при Березине вlepили... А ты давай не болтай! — оборвал Евсеев то ли себя, то ли товарища. — Экономь тепло изо рта. Нам еще долго терпеть.

Семенов задрал гимнастерку:

— Смотрите, у меня от этой сырости какая-то сыпь пошла по животу.

Евсеев махнул рукой и отвернулся. «Бедолага, — подумал он. — А теперь ему еще и в ледяной воде придется торчать».

— Как вы думаете, в аду жара или холод? — спросил вдруг Семенов.

Евсеев засмеялся:

— Я там пока что не был, не знаю.

— Я так думаю, что холод.

— Ты вот что... Чтоб совсем не околеть, ладно, в воду не заходи. Пока я не вернусь, можешь посидеть вон у березы. Только чтоб тебя не видно было, и траву там не вытапывай, следов не оставляй: сел — и сиди не шевелься. Когда вернусь, придется в воду лезть, так что тепло береги!

Евсеев оттолкнулся и продолжил грести уже в одиночку, а вскоре скрылся за поворотом реки. Вернулся он часа через два. Холодное солнце уже встало над деревьями, вперилось в землю мутным белесым бельмом. Замерзший Семенов сидел возле березы с закрытыми глазами, скорчившись, словно деревянная коряга. Только тут Евсеев хорошо рассмотрел, как худо выглядит его собрат по оружию — оочечневший, тощий, бледный, губы посинели от холода или, скорее, от многодневной голодовки, оттопыренные уши были белы как мука.

— Как ты? — постарался спросить его как можно мягче.

Тот не откликнулся, сидел все так же безжизненно — Евсеев сперва даже испугался. Но растолкал его — оказалось, парень спал. Семенов приоткрыл веки и, кажется, попробовал вникнуть, что от него требуется, потом поднял синюшную от холода руку и мотнул головой в знак того, что все нормально.

— Ну, вот и дело, вот и отлично! — Евсеев попробовал как-то ободрить Семенова и легонько тюкнул его костяшками по спине. Тот вздрогнул всем телом и глубоко, смачно закашлялся. — Держись, парень. Кашлять нельзя, а то нас тут быстро... — Он не договорил, потому что знал, что никогда не стоит озвучивать худшее: что скажешь, то и при-тянешь. — Вот здесь, среди веток в камышах, и переждем. Здесь нас овчарки не учуют. А холод потерпеть еще придется.

Через полчаса Евсеева, стоявшего по пояс в воде, уже трясло крупной дрожью. Но при этом он весь был внимание, до боли в ушах, в висках вслушиваясь в тишину и легкое журчание реки. Всякий раз вздрагивал, когда на другом берегу неясно кричала сначала: «Ого-го-го!», а потом трясущимся голосом, словно продрогнув: «Угу-гу!»

Вдруг Евсееву что-то почудилось. Мужские окрики — легко узнаваемая гавкающая немецкая речь. Несколько раз осторожно рыкнули наученные не лаять псы. Евсеев тут же присел, заглублившись по подбородок, и вместе с собой погрузил в воду Семенова, подломив под колени его неслушающиеся, деревянные ноги.

— Вставай вот здесь, ближе к траве, — шепнул Евсеев, — чтобы только нос из воды торчал. Опустись на колени, глаза закрой — вот так... И не шевелись, чтоб волны не пустить.

К счастью, ветерок, разжижавший туман, задувал с противоположного берега и учуять их овчаркам было трудно. А рябь на воде, колыхание тростника на ветру делали произвольные движения беглецов незаметными даже в бинокль. Была это облава или ему показалось, Евсеев так и не понял. Через четверть часа примерно, когда они совершенно околели и торчать в воде стало невмочь, он осторожно высунул голову из воды. Было снова тихо. Опасность миновала.

Евсеев выволок Семенова на берег, стащил с него одежду и выжал — тот лежал голый, неуклюже разбросав руки в стороны, и походил на убитого. Был ли это сон или какая-то особая форма бесчувствия, но растормошить Семенова не было никакой возможности: он слабо дышал, ни на что не реагировал.

Очнулся Семенов только под вечер, и Евсеев понял это по тому, что тот жалобно застонал. За это время Евсеев тоже успел вздремнуть. До села, со слов Семенова, было километра полтора. Название селения он не знал, но, закрыв глаза, уверенно указал направление. И в самом деле, скоро они вышли на тропу, становившуюся по мере приближения к селу все натоптаннее. Потянуло навозом и сладковатым березовым дымком от топящихся печей. В траве у первых огородов, уже вскопанных на зиму, они залегли и стали слушать. Где-то перебрехивались собаки и хрипели петухи, замычала корова в стайке, послышался детский голос — обычные сельские звуки, ничего подозрительного.

Евсеев выдохнул. Провел рукой по лицу: не замечал прежде, как отросла борода, а усы уже лезли в рот. А у Семенова растительность на лице так и не появилась. Все-таки юнец еще. Себя Евсеев чувствовал глубоким стариком, хотя храбрился, не показывая усталости — главного признака старости. И хотел бы он стряхнуть с себя чужие, лишние годы, навьюченные войной, но не знал как. А прежних сил и в самом деле уже нет: ноги дрожат, одышка одолевает, а после ходьбы — черные круги перед глазами, застилающие всё. Только третьего дня вышли из лагеря, а вымотан Евсеев был так, будто месяц бродил по болотам да чащобам.

Начал сеять дождь. Деревня стихла и теперь казалась словно вымершей. На краю огорода виднелось какое-то деревянное строение, похожее на картофельную яму. Можно спрятаться от дождя там до темноты, да и меньше шансов, что обнаружат. Они медленно поползли на четвереньках. Но мысль у обоих была не столько об укрытии, сколько о том, что, быть может, удастся там найти что-нибудь съестное. Яма оказалась пустой, потому, наверно, и дверца была не заперта. Оказалось, это ледник, и довольно высокий, так что можно было встать во весь рост. С потолка сквозь щели капало, вдобавок пол оказался каменным, холодным. Семенов лег, болезненно скрючился и, кажется, снова впал в беспамятство, а Евсеев лежа стал смотреть в приоткрытую дверь — отсюда стоявший неподалеку дом хорошо просматривался. Страстно





хотелось курить. Под конец он стал воображать, что курит. Это было не то, но грело само воспоминание о курении.

Начало смеркаться. На распаханый огород выбежала лиса и тенью стала прохаживаться в поисках мышей, фыркать, разгребая брошенную и уже успевшую пожухнуть картофельную ботву. В какой-то момент она приблизилась на расстояние протянутой руки, но их, схоронившихся в погребке, не учуяла. «Ну вот, дожили, — подумал Евсеев, — точно у покойников, совсем уже не осталось в нас с Семеновым ни человеческого тепла, ни запаха».

Каменный пол дышал холодом, а подложить под себя было нечего — до ботвы ползти через половину вспаханного огорода, так можно вспугнуть собак. Евсеев подтолкнул себе под живот немного мокрой земли: все же она не излучала того могильного холода, от которого ломило кости. Попробовал приподнять Семенова, чтоб и под него подгрести земли, но не смог — понял, что его на это не хватит: все силы вытянул непрекращающийся озноб, когда зуб на зуб не попадал. Острая боль от холода обрушивалась волнами и прокалывала, точно пикой, все его нутро, пробирала до самого позвоночника. Евсеев, до крови закусив губу, заставлял себя переворачиваться с боку на бок, сжимать кулаки, закрывать-открывать глаза, шевелить ногами. «Сейчас бы в баньке попариться», — вздохнул вдруг о несбыточном: казалось более реальным, что сейчас из деревни выскочат какие-нибудь красноармейские кавалеристы.

Когда наваливающаяся сонливость немного отступила, Евсеев, преодолевая слабость, стал тормозить Семенова, но тот по-прежнему не реагировал. «Так он ведь и до утра не дотянет», — мелькнула мысль. Нужно было выбираться, наконец. Ближний дом все так же не подавал признаков обитаемого — ни в одном окне не появлялся свет. «Может быть, там укроемся», — решил Евсеев. Но из какой-то более глубокой части сознания выплыло требование поискать там не убежища, а чего-нибудь съестного.

— Вставай! — Он тряхнул спутника, отключившегося в неудобной позе, с подвернутой под себя ногой. «Точно как убитый», — подумал Евсеев. Ему много раз приходилось видеть убитых, и если они были не раскромсаны взрывом, то при взгляде на них первая мысль была не о смерти, а о неудобстве лежать в такой позе.

Не без труда Евсеев растолкал все же Семенова, но идти тот не мог, даже сидя на каменном полу, заваливался — правый бок, на котором он лежал на каменном полу, совершенно онемел, и половина тела отнялась. Евсеев выволок его наружу и, взвалив на себя, пополз на карачках к дому — Семенов инстинктивно помогал себе одной ногой, но только мешал этим.

По липкому глинистому огороду они добрались до крыльца. Запыхавшийся Евсеев уже не думал о том, что может наткнуться на собак или что их заметят полицаи, — было уже все равно. Он с ходу пихнул дверь, ввалился в темные сени и — последний рывок: пригнувшись под

притолоку, толкнул дверь уже в хату. В лицо дохнуло теплом и запахом человеческого жилья.

В полусумраке избы, отчетливо заметный на фоне окошка, за столом сидел человек и испуганно смотрел на ввалившихся.

От неожиданности Евсеев отпустил Семенова, и тот с грохотом повалился на пол. С печи послышалось: «Кто там еще?» Выснулась голова женщины и тут же спряталась обратно за занавеску.

Евсеев, наконец, пришел в себя:

— Чего сидишь? Помогай! Видишь ведь! — Он кивнул на лежащего без сил бойца.

Человек что-то пробормотал, поспешно вскочил и стал усаживать Семенова на скамью возле печи.

Это был невысокого роста, но очень плотный мужичок лет сорока, в обрезанных валенках и стеганке. Вся его фигура выдавала испуг. Привалив Семенова спиной к теплой печи, он замер перед Евсеевым по стойке смирно, точно в ожидании дальнейших распоряжений.

— Ну, чего встал? — сказал Евсеев. — Свои мы. Старший сержант Евсеев. А этот юнга... — он покосился на сидящего бесчувственно Семенова, — рядовой 65-го полка...

— Да-да-да, конечно, — зачастил хозяин, — заходите, товарищи. Распрануйтесь, обсохните. Вон какие мокрые да грязные. Обогреться надоть. Погода псиная. Уже сколько поливало ноне, все залило. А по всем приметам днями снег падет...

— Поесть что-нибудь имеется? — прервал его суесловие Евсеев.

— Та ничего особо... Коровы у нас нема. Еще зимой, як минула, ее раздуло. Бес яго ведае, чаму. Може, проглытнула шо. Пришлось прирезать. Теперь вот сидим без молока. Раньше-то хошь сиру из обрата сробишь...

— Да поесть-то дай чего-нибудь, три дня голодуем! — снова прервал его Евсеев.

— Разве что картошки, если ваша ласка!.. Олеся, слазь с печи, надо на стол шо-нить сметать. Вытащи бульбу из печи да огурков из бочки положи... Також бражки не забудь!

На печи послышалось шевеление, и спустилась женщина лет тридцати, такая же невысокая, с мелкими, кошачьими чертами лица. Она молча вытянула чугунок из печи и вопросительно посмотрела на мужа. Тот кивнул ей, и она ушла в соседнюю комнату.

— У нас там подпол, — проводил он ее взглядом, — пусть харчи принесет. Гасницу³ запалить?

— Не надо. В темноте посидим.

Евсеев огляделся. Горница была не из бедных: пол из скобленной доски, печь крепкая, белая, без единой трещины, на гвоздях у входа пузатится разная одежда, божница богатая, с лампадой из зеленого стекла.

— Что, в Бога веруешь? — спросил Евсеев, кивнув в сторону икон.

— Та ведь крещеные... — осторожно ответил хозяин.

³ Гасница — маленькая керосиновая лампа без стекла.



Это была не просто картошка, а картошка с луком. Евсеев ел по чуть-чуть и запивал маленькими глотками воды, не притрагиваясь к стакану с брагой — знал, что его, ослабевшего, сразу развезет. Одновременно он старался не дать возможности отогревшемуся Семенову подавиться картошкой, но вот стакан у него отбирать не стал: «Пусть согреется».

— Тебя как звать? — спросил Евсеев у хозяина, который молча, но внимательно смотрел, как гости едят.

— Мыколой кличут. Пинчуком.

— Немцы в деревне есть?

— Нету... Точнее, были, но не фрицы, — запутался хозяин. — Командатура есть, но кто в ей сейчас, не знаю. Може, и немає никого.

Евсеев отложил ложку и уставился на хозяина.

— Были сегодня, — начал поспешно объяснять тот, — но пришлые, спрашивали про партизан, погреб смотрели. Може, вас шукали. Не разумю, чи засталися в селе...

Что-то в поведении и словах хозяина не нравилось Евсееву, но что именно — он не мог понять: суматошность ли его или угодливая болтливость. Хотя, может, просто испугался неожиданных гостей. «Станешь тут бояться, когда то немцы, то партизаны», — попытался утишить свое вдруг нахлынувшее беспокойство Евсеев.

— Вы оставайтесь! Мы вам на печи уступим... — продолжал хозяин.

«Что-то слишком сладко поет», — наконец сформулировал Евсеев. Прежде, когда они, партизаны, заваливались к деревенским, те старались побыстрее спровадить их, готовые отдать что угодно, лишь бы не подвергать опасности семью. А тут такое гостеприимство необычное. «Может, у него детей нет? Да вон вроде кукла детская... Значит, девочка. Только что-то ее не слышно, не видно...»

— Мы, наверно, разбудили вашу девочку? — спросил Евсеев как бы между прочим.

— Нет, что вы, вона там. — Хозяин указал на дверь в соседнюю комнату. — Спит ужо...

В глазах его неожиданно промелькнул страх. «Что-то не то», — снова подумал Евсеев.

— Ну, если прилечь поспать немного в сухости, это дело хорошее, — нарочито лениво произнес Евсеев и встал из-за стола. — На печи нас разморит. Покажи-ка мне, хозяин, где тут, кроме печи, можно кости бросить. — И шагнул к двери.

Мыкола, видно, хотел его опередить и дернулся было, но остался на месте, а жена, севшая рядом с ним после того, как принесла снедь, как-то зло и в то же время со страхом глянула на мужа.

Вторая комната оказалась крохотной; кроме сундука и кровати, в ней ничего не было.

— А где дочка-то? — удивился Евсеев.

— Мабуть, до бабуси убежала... — пробормотала жена. — У нас там есть выход в сенцы.

Евсеев взглянул на хозяина:

— Так ты же вроде говорил, что она спит?

— Возможно, проснулась, — подтвердил Мыкола. — Спужалась да и утикала к бабусе. Вот дам ей лозы...

— И где же у вас бабушка живет?

— Там... — растерянно указал рукой хозяин.

Евсеев встал, еще раз обошел жилище и снова подумал: «Что-то тут не так». Окликнул Семенова:

— Одевайся, пойдем!

Тот уже согрелся и задремал.

— Что, не переночуем даже? — Семенов сонно приоткрыл глаза, но, натолкнувшись на выражение лица Евсеева, поправился: — Хоть бы подсушиться еще немного...

— Именно, хоть подсушитесь, — поддакнул Мыкола. — Я затоплю зараз печь.

— Ты давай лучше торбу картошки нам наложи...

— Будет сделано. Олеся, ну-ка, живо! — прикрикнул хозяин на жену.

— Оружие есть? — спросил Евсеев.

— Есть... в погребе. Одностволка. Там... — Мыкола показал рукой и добавил жалостливым голосом нищего с паперти: — Старое уже ружьишко. И патронов немає.

— Тебе, Мыкола, я вот что скажу... — Евсеев произнес это так, что угодливая улыбка сползла с лица хозяина и он побледнел, это стало заметно даже в полумраке. — Поищи-ка у себя какую-нибудь обувку для него.

Хозяин облегченно выдохнул:

— Ведомо, как же без обувки, а ведь я не помитил, шо без обувки хлопец. За сучасную погоду не токмо ноги застудить можно, а весь организм. Кажуть, ноги треба тримать в тепле, а голову в холоде...

Евсеев с трудом удержал себя, чтобы не цыкнуть: «Заткнись!» Но промолчал, следя за тем, как полез Мыкола за печь и вытащил замотанные в мешковину кирзачи.

— Откуда у тебя такие? — удивился Евсеев: подобную обувь он и в армии-то видел редко, причем только у офицеров. — С убитого снял?

— Та як же, что вы такое говорите! Купил у соседей. Добрые сапоги, шо правда, размер завеликий... — суесловил хозяин, пряча глаза и разрывая тряпку на портянки.

— Да ладно, не один ты такой...

— Ого! — улыбнулся Семенов, когда сапоги оказались у него на ногах.

Даже согревшись, он по-прежнему медленно нагибался и едва двигал непослушными пальцами — последствия переохлаждения. Поднявшись с табуретки, попытался притопнуть, но едва не упал.

Евсеев выглянул в окно. Почти стемнело, и это было хорошо. Но вот что тучи разогнало и в небе сияла полная луна, жирно отблескивая на подмерзшей земле огорода, — это скверно. Он все еще колебался, остаться до утра или уходить. Должно быть, подморозит ночью. Снова глянул на Семенова: тот продолжал давиться картошкой, торопясь поддѣсть остатки из миски.





— Я же сказал — одевайся, уходим! — наконец не выдержав, рывкнул Евсеев.

— Погодите, Анисим Николаич, доем только! Три минуты. Когда еще сладим поесть...

— Некогда годить. Ладно, три минуты тебе даю.

Семенов бросился пихать в рот остатки с тарелки, дожевывая. Несколько вареных картофелин и луковиц Евсеев с Семеновым рассовали по карманам и минут через пять с мешками картошки за спиной уже стояли на крыльце. Мыкола вышел проводить их.

— Куды вы теперь? — спросил он.

— В лес, к своим, куда еще? — ответил Семенов, неловко топчась на месте. — Великоваты сапоги-то. Но ничего, всяко лучше, чем босым.

— До яру идите, там стежка есть...

Пригнувшись и то и дело оглядываясь, беглецы направились в сторону леса. Семенов, опустив голову, любовался своими смазанными жиром сапогами, которые, конечно, болтались на его ногах. Евсеев шел впереди, но что-то заставило его оглянуться: заметил мельком, что хозяина на крыльце уже нет.

Шагов через двести Семенов внезапно охнул, застонал и повалился вперед. Только после этого до Евсеева донесся звук щелчка: это был выстрел. «Мосинка! Вот тебе и старое ружьишко...» — подумал механически и повалился на землю. Он узнал этот чмокающий звук, похожий на удар хлыста, — такая же винтовка была у него в отряде, пока он не утопил ее в болоте, когда спешно уходил от облавы. «Ружьишко, говоришь, патронов нет, говоришь, еж вареный!» — бормотал Евсеев, волоча на спине обмякшего Семенова и чувствуя, как с каждым шагом слабеет. У края оврага он положил товарища на землю и расстегнул верхнюю пуговицу ватника: пуля прошила мешок с картошкой и попала в шею, разворотив все возле ключицы. Пульсирующими толчками кровь обильно стекала Семенову под бушлат. Он прохрипел что-то, но было не разобрать. Евсеев сначала попытался пальцами зажать рану, потом стащил с Семенова пилотку, чтобы остановить кровь, другой рукой в это время шарил в поисках чего-нибудь, чем можно рану перевязать. Расстегнув свою телогрейку, попытался оторвать от рубахи полосу, но руки не слушались.

— Ничего, Филя... сейчас кровь остановим... пойдём дальше, — бормотал Евсеев, раздирая рубаху зубами. — Потерпи, прорвемся. Через день будем в отряде, картошку испечем.

— Анюта дома? — слабо простонал Семенов.

— Дома, дома, — ответил Евсеев, пытаясь замотать шею раненого. — Где ж ей еще быть?

— Позови...

Вдруг Семенов сделал глотательное движение и затих. Лицо молодого бойца, до этого выражавшее недоумение и боль, разгладилось — боль прошла. Евсеев наклонился: расширившимися зрачками Семенов смотрел на луну, а может, это луна уже смотрелась в него. Евсеев закрыл ему глаза и повалился рядом. Руки его все еще дрожали от напряжения.

— Эх ты, боже мой, да что же это... Не уследил я, хрыч старый, не сберег парня, — шептал Евсеев.

«А ведь пуля-дура могла меня пробить! — мелькнула мысль. — Если б шел вторым, то это у меня бы сейчас из шеи выбулькивала кровь...» Но эту змеиную мыслишку Евсеев постарался сразу глубоко впечатать в глину, еще и вжать в землю поглубже, потому что негоже думать так о собрате, когда он вот, еще теплый, лежит рядом.

В этот миг он услышал голоса, доносившиеся со стороны дома, до которого было метров триста, не больше. Евсеев поднял голову: на крыльце у Мыколы собрались несколько человек и бурно о чем-то переговаривались. Прошло еще несколько мгновений, а он все лежал, словно в оцепенении, на земле, и сердце бешено билось, но ему казалось, что это земля стучит ему в спину снизу: вставай! На самом деле это был приближавшийся топот тяжелых сапог. «Похоже, собак нет, — быстро оценил ситуацию Евсеев. — Значит, есть шанс убежать». И рывком скатился в овраг. По дну оврага он бежал, временами останавливаясь и прислушиваясь, до тех пор, пока крики преследующих не стихли. И только тогда обнаружил, что в руке у него зажата окровавленная пилотка Семенова. Подумал: «Целый день как заяц», — и спрятал пилотку поглубже.

Забравшись в чашу, он набросал лапника под ель и повалился без чувств. Но еще до первых лучей солнца проснулся от холода. Ночью был зазимок. Встал и побрел, пошатываясь и плохо ориентируясь, в поисках места расположения своего лагеря. Уже к середине дня он настолько устал, что пробирался через буреломы и увязал в гатях с тупым безразличием. И долго бы он еще ходил, если бы не наткнулся на приметную одинокую березу на пригорке у края болота, служившую прежде для бойцов-партизан указателем начала тропы через гать. Березу теперь было не узнать: все ее нежное тело было посечено осколками, словно кто-то истыкал ее пикой, верхушка была срезана и теперь, с раскинутыми в сторону нижними ветвями, она стала похожей на распятие.

По прямой отсюда до места дислокации отряда было чуть больше километра, но все три, если идти по укромной, известной только своим тропе, кружившей от кочки к кочке и местами даже поворачивающей в обратном направлении.

«Ну вот, почти дошел», — подумал он, глядя изуродованный ствол березки.

Проваливаясь по колено в мшистую зыбкую индолу⁴, Евсеев преодолел Чертово болото (название они в отряде придумали сами, не зная настоящего) — обширное, поросшее чахлым кустарником и травой зыбкое пространство, где не рисковали появляться фрицы, служило естественной и главной защитой их отряда. Кое-где окошки на болоте были уже с заберегами, образовавшимися ночью. Он шел по гривкам от одного клоча⁵ к другому, думая, как бы не нарваться на мину, которую свои же

⁴ Индола — топь.

⁵ Клоч — болотная кочка.





могли поставить в последние дни. Ни дымка, ни звука не доносилось со стороны лагеря — казалось бы, так и должно было быть: маскировка, камуфляж и все такое. Но что-то подсказывало Евсееву: дело неладно. И чутье не обмануло: на месте лагеря оказалось несколько десятков воронок от снарядов, уже начавших заполняться водой. И ни души. Даже какой-нибудь маленькой птичьей душонки. Тел убитых тоже не было — значит, кто-то все-таки выжил и собрал их, похоронил. Вскоре Евсеев обнаружил свежую братскую могилу, но... ни следов, ни указаний на то, куда ушли выжившие, на восток или на юг, ведь путей отхода у отряда было несколько. Евсеев решил идти на восток — там, в трех десятках километров, на острове посреди болота базировался еще один партизанский отряд, но проходов к нему Евсеев не знал и разбит он или нет — тоже. В любом случае это направление позволяло ему идти в сторону фронта. Он твердо намерен был, если не выйдет на партизан, пробираться через фронт в действующую армию.

Перед уходом Евсеев проверил отрядный схрон — о нем пару месяцев назад распорядился командир на случай, если придется срочно уходить. Возле него обнаружил труп — кто это был, не разобрать, тело было разворочено взрывом, да и, кажется, ночью какие-то звери его уже объели. «Ну вот, свои ушли и схрон даже не вскрыли. Значит, некому было. Похоже, здорово наших покروшили», — подумал Евсеев.

Полдня Евсеев провозился со схроном — сначала надо было разминировать лаз в него. Ближе всего к люку лежали винтовки и патроны к ним, здесь же в ящиках хранилось кое-какое обмундирование. Самой ценной вещью были радиоуправляемые мины Ф-10 с ламповыми радиоприемниками в прорезиненных мешках. Перед наступлением фрицев их везли в Харьков минировать заводы, но опоздали — город уже сдали. Тогда, чтоб мины не достались врагу, их не стали уничтожать, а передали отряду. Командир приказал положить их в схрон и хорошенько прикопать — до лучших времен. Они были в полном комплекте, с аккумуляторными батареями, но те давно разрядились, и зарядить их в отряде было негде. Евсеев сейчас предпочел бы, чтобы под землей нашлась какая-никакая еда. Ее там, однако, не было. Зато достал полушубок, валенки и ушанку.

Впереди был долгий и опасный путь по болотам и лесам, ночевки под снегом. По прикидкам Евсеева, пройти нужно было до линии фронта километров триста. Он не знал, что пройти ему предстоит вдвое больше. Была осень 1941-го, бои шли уже под Москвой...

Часть вторая. На побывке

В свою Андреевку Евсеев заехал коротко: родных у него там не было, друзья на фронте, да и весь деревенский народ был в эти июньские дни на сенокосе. Старух навещать он не стал, а сразу отправился пешком в Трудпоселок, где жили родители Семенова — тетя Люба и дядя Вася. Они занимали половину деревянного леспромхозовского барака, смотревшего окнами на Чулым, — эту квартиру с большой русской



печью им выделили относительно недавно, когда дядю Васю сделали бригадиром. Зайдя в калитку, он постучал в окно. За ним мелькнуло женское лицо, и тут же послышалась дробь ног по ступеням в сенях. Хлопнула дверь — и вот она уже стоит на пороге, узнала его, но еще не поняла, что делать, то ли заплакать от радости, то ли броситься обнимать. На Севере, где росла тетя Люба, не привыкли к нежностям. Но вдруг словно надломилось в ней что-то, она раскинула с плачем руки и заключила его в объятия.

От сына у нее давно не было никаких известий, мысленно она проводила его в плен и не надеялась, что он вернется скоро — но вернется же! А посмотрев внимательно на Евсеева, уронила зажатый в руке платок, опустила голову и отшатнулась — все поняла сразу.

Евсеев помнил мать Семенова еще бойкой теткой в рабочей телогрейке, а тут встретил сухонькую старушку в платочке, белом в крапинку. Все лицо ее, как лист лопуха, избородили морщины, и теперь на нем отражались только усталость и озабоченность.

Никакой бумаги с собой Евсеев не привез, не успел справиться. Полез в карман и вместо похоронки протянул пилотку:

— От него осталась, тетя Люба, а больше ничего взять не смог.

Она взяла пилотку, уткнулась в нее лицом и заплакала, вздрагивая всем телом.

Сохранить пилотку Евсееву стоило немалых трудов: когда в Полесье он пробирался через немецкие тылы к линии фронта, то выронил ее, потом возвращался с километр, наверно, — нашел. Перейдя через линию фронта и сдавшись особистам, прятал ее, сидя в арестантских в ожидании очередного допроса. Там же он пришел ее к подкладу гимнастерки. Потом Евсеева зачислили в состав стрелкового полка 113-й дивизии. Но долго повоевать он не успел: зимой 1942-го под Вязьмой полк попал в окружение, где Евсееву разворотило плечо, и так, раненый, с висевшей плетью рукой, снова лесными тропами он выходил к своим — пригодился осенний опыт. А когда вдобавок к ранению он обморозился и уже прощался с жизнью, его совершенно случайно подобрал разведдозор. Евсеев понял это так: наверно, какое-то дело в жизни не завершил. Решил, что должен побывать дома у Семенова, передать тете Любе политую кровью сына пилотку — ведь неслучайно, несмотря на все, оставалась она с ним.

Из сортировочного госпиталя его отправили на долечивание в Томск, а оттуда до Чулыма было уже рукой подать...

Они сидели в избе с коптящей на столе керосинкой, Евсеев ел что бог послал, а тетя Люба молчала, только изредка задавала какой-нибудь вопрос, чтобы не прерывалась нить разговора. С присущей ей деревенской деликатностью не расспрашивала Евсеева о последних часах жизни сына. Наконец он сам начал. Рассказал с самого начала: как они летом 1941-го попали в окружение, как оказались в партизанском отряде, как отправились в разведку за припасами — довел рассказ до визита в казавшийся им необитаемым дом на окраине деревни.



— ...Я ведь заподозрил неладное: а где дочка? Вражина говорил мне сначала, что она спит, а потом — что к бабушке ушла. Но я понял: что-то не так. Думаю, надо уходить. Но уж очень оголодали, всё никак наесться не могли, вот и задержались дольше нужного... — Евсеев не выгораживал молодого бойца, когда говорил, что оба наесться не могли, так ведь и было. — А дочка эта, оказывается, побежала в комендатуру за немцами, которые в той же деревне были, но на другом конце, видимо. Привела их. Наверно, этот Мыкола полицаем был и у него была договоренность с немцами на случай появления партизан...

Тетя Люба вытерла глаза и спросила:

— А напоследок-то, перед смертью, успел ли что Филиппок сказать?

— Вот, оказывается, как вы его дома звали. А я Филькой его звал, и он обижался... Последних-то слов не успел сказать, только хрипел, — продолжил Евсеев виновато, умолчав про бред Семенова об Анюте. Ни разу не случилось так, чтобы, когда погибали у него рядом или даже на руках однополчане, им удавалось бы сказать что-то заветное, как это бывает в кино. — Перед этим говорил что-то про сапоги новые, кирзовые, что великоваты. Сапоги-то мы у этого Мыколы реквизировали.

— Ну и слава Богу, хоть ноги сухие были, — перекрестилась тетя Люба. — У нас вон есть его сапоги, да малые тебе будут. Может, возьмешь, кому из солдатиков пригодится?

Евсеев покачал головой:

— Не, через всю страну тащить... — Евсеев произнес это так, как говорят люди, думающие о чем-то совершенно другом. — Не успели мы, эх... — Он тяжело положил ладонь на стол. — Надо было раньше уходить!

— Да уж чего теперь убиваться, — вздохнула старушка.

— Меня когда выкопали из сугроба, я потом в госпитале все думал, что это не может быть случайностью. Значит, я еще что-то не сделал на этом свете. Решил, что должен к вам приехать. Как уж я ехать не хотел, кто б знал! Все много раз перевернулось в душе, сто раз передумал, какими словами буду говорить, как тебе, тетя Люба, в глаза посмотрю. Спасибо, что ты меня пожалела, хоть не заголосила, а то бы я не знаю, как выдержал... — Евсеев расстегнул ворот рубахи, уставился в окно и сидел так с минуту молча.

Во двор зашел грязный бесхозный пес, в прошлой жизни, по-видимому, он был породистой охотничьей лайкой. Понюхал приступку двери и покорно-выжидающе лег перед нею, положив голову на лапы. Тетя Люба, тоже смотревшая в окно, встала и вышла. Через минуту она вынесла псу какую-то похлебку в плошке и потрепала его по загривку.

— Знаешь, тетя Люба, слишком это просто: пилотку отдать тебе — и гуляй, — сказал Евсеев, когда она вернулась. — Вот что я понял про свой настоящий должок: надобно мне будет к этому Мыколе возвращаться да отплатить ему за Филю. Если, конечно, он еще живой. Это ж было мое разгильдяйство, моя вина. Так что прости меня, тетя Люба, говорю тебе еще раз, не сберег я твоего сына. Придется мне отомстить за его молодую горячую жизнь.

Выражение про «молодую горячую» вскочило в его речь, должно быть, из каких-то книг про Гражданскую войну или из фильма, который крутили у них в деревенском клубе еще на Ваге. Они были там с Галочкой, сидели в темноте, держась за руки. Кажется, словно в другой жизни это было... Он мог бы сейчас нарисовать эту картину в памяти, но на ней была бы не та подружка, которую он знал, а другая, правильная, ненастоящая. Он не мог восстановить в памяти ее настоящего лица — оно казалось размытым, как если бы зримое через мутное стекло. Волнистые волосы цвета американского ленд-лизовского шоколада, брови знаком вопроса, несколько едва заметных веснушек на скулах... Но главное — ее голубые глаза, он не мог вспомнить выражение ее глаз.

Тетя Люба внимательно посмотрела на Евсеева.

— Оставь ты этого Мыколу в покое. Что нам до него? Ну, сделаешь смертоубийство. И что, Филиппа вернешь?

— Если за Филю не рассчитаюсь, не смогу я по-человечески жить. Душа у меня будет не на месте...

— Я так думаю, что мать твоя не одобрила бы тебя. — Тетя Люба поджала губы. — Она всегда говорила, что главное — свою душу не погубить, о ней подумать. Вон Христос даже о Своих мучителях молился. А не можешь молиться — прояви усердие, чтоб забыть.

Евсеев нервно пошевелил голыми пальцами под столом — сапоги с портянками он скинул в сени. Он чувствовал, что не может без раздражения внимать ее гладкой житейской мудрости.

— Когда я малой был, от матери часто слышал, что на том свете воздастся и за добрые дела, и за худые. А о том, что о себе надо думать, она не говорила. Она бы сказала скорее, что надо не робеть положить душу за друга своего. Вот я и положу ее, то есть, может, на том свете мне и влетит по первое число, если, конечно, загробный свет существует. Многих я поубивал, одного даже заколол в живот, как хряка, аж всего кровью обляпало. И меня многие хотели прихлопнуть, да не вышло. Но это другое. За других война ответит, они не на мне. А вот когда за Фильку поквитаюсь, то хоть какая-то справедливость в мире будет восстановлена.

— Послушай, а где крестик, который тебе мать надела? — осадил его хозяйка. — Вижу, ты его не носишь?

— Не знаю, потерял где-то. Политрук у нас в части с каждым, у кого крестик видел, беседу проводил. Ты меня не сбивай... — Перед глазами Евсеева разверзалась картина зла, творящегося в мире: вот война, смерть, боль и кровь, а где-то непосильный труд и снова смерть, а где-то в это время сытые, жирующие мерзавцы жрут самогонку с салом... — Допустим, что я прощаю его и спасаю свою душу, как ты говоришь. А что же будет тогда со справедливостью, тетя Люба?! Похороним ее?

— Не знаю, сам думай! — отрезала она. Стала убирать со стола, и по ее резким движениям заметно было, что она рассержена неуступчивостью Евсеева, не согласна с ним, но не знает, как возразить. Собрав тарелки, взяла их в руки, чтоб нести за печь, в шомнышу⁶, но остановилась,

⁶ Шомныша — кладовая за печкой, где хранятся посуда и некоторые продукты.





обернулась: — А только не надо тебе руки марать, не трогай этого Мыколу, не благословляю.

Евсеев досадливо посмотрел на нее: вот же упертая!.. Еще эти ее оттопыренные уши. Он улыбнулся про себя: «Понятно, в кого Семенов пошел».

Евсеев встал, прошелся по комнате, слепо взглянул в окно, механически переставил ухват, стоявший не на месте, перевернул зеркальце на буфете. Тетя Люба гремела посудой за печью.

Евсеев представил на мгновение, как вваливается в дом к Мыколе, как тот тарашится на него в ужасе, как он читает приговор... Где его взять, приговор? Ну, пусть это будет приговор совести. А почему бы и нет?

— Так ведь я не просто его пристрелю, я прежде ему приговор вынесу, — продолжил Евсеев. — Сначала сделаю суд. Послушаю, что он скажет. Пару минут дам ему подумать. Может, меньше, зависит от обстоятельств. Так что это не месть. Это другое. Это возмездие.

Тетя Люба перестала громыхать посудой:

— Что ж, себя судьей сам назначишь, чтоб справедливость восстанавливать?

— Война — это другой мир, тетя Люба, там здешние тыловые законы не действуют, — сказал Евсеев погромче, чтоб она там, за печью, расслышала. — Если с твоими представлениями туда сунешься, тебе конец. Границу между войной и миром надо четко знать и не путать одно с другим.

Тетя Люба через пару минут вышла, вытирая руки полотенцем.

— Послушай, дружок мой. Я вот сейчас чего-то вспомнила Демидка. Помнишь ли, у нас в деревне был кузнец Демид? Толковый мужик был, мастеровитый. Да однажды у него жеребца Буяна кто-то увел. Может цыгане, может еще кто. Он любил этого коня-то и долго искал, все деревни в округе объехал, спрашивал, не видал ли кто. Может, кто и видел, да не сказал. Так и не нашел своего Буяна. С тех пор его как подменили: лицом почернел, самогон стал пить. Но все еще искал. А как понял, что уж не найдет, взял да и повесился. Вот такая история. Злоба в него вселилась и довела до греха.

— А хотя бы коня не нашли, но нашли бы вора — тогда бы совсем другое дело, — подумав, заметил Евсеев. — Тогда бы, может, не выгорел.

Он помнил этот случай — для деревни это стало большим событием, потому что даже на памяти стариков не случалось у них удушенника. В тот день они с Галиной ушли с вечерки и сидели у реки, опустив ноги с мостков в воду, молчали смущенно, лишь изредка перебрасываясь ничего не значащими словами. И было им необыкновенно хорошо, так что и не нужно было слов. Вечернее солнце зашло за облака, откуда-то с запада приплыла сизая туча, медленно раскачивая косматой бородой. Дунул с поля ветер, понесся пыль и ошметки соломы. Галя зажмурилась, но поздно — соринки попали ей в глаза. Стала моргать, тереть глаза до слез, но убрать все соринки не получалось. Он склонился над ней: «Сейчас я уберу, только не закрывай глаз». Он помнил, как это делала ему мама, но сам впервые в жизни так близко увидел глаз, радужку — какая

она удивительная! — как будто тысячи голубых ручейков с краев устремились к черному диску, как к воронке, чтобы опрокинуться туда и исчезнуть где-то в глубине. Этот темный диск словно нарочно прикрывал то таинственное место, где воедино соединяются все ручейки. Галя держала пальчиками веко, а он осторожно лизнул глаз два раза, ощутив соль на языке. Спросил: «Ну как, убралась соринка или еще?» Он хотел, конечно, чтоб еще. Но она поморгала, потеряла глаз и кивнула: «Теперь все хорошо». И в благодарность поцеловала его в щеку и лукаво улыбнулась.

А потом они пошли в деревню и еще издали увидели собравшийся у кузни народ. Оттуда доносился возбужденный галдеж — видно, что-то нехорошее произошло. Они с Галчонком переглянулись и хотели пройти мимо незамеченными, но неумолимая сила, какой-то темный соблазн повлек их туда. И по мере приближения к толпе радость, которую они испытали у реки, истаивала, превращаясь в тревогу, а потом, когда они увидели висящего на притолке Демида с высунутым синим языком и выпученными из орбит глазами на мясного цвета лице, их захлестнули ужас и отвращение. Кто-то схватил Евсева за руку, потащил в сторону сарая, и он вынужден был вместе с двумя мужиками ловить Демида внизу, когда обрезали веревку. И когда с мужиками грузили тело на телегу, он оглянулся: в толпе увидел ее, Галчонка, с ужасом смотревшую на происходящее.

То неслыханное событие долго обсуждали в деревне, и оно стало будто спусковым крючком к тем бедам, которые начались вскоре. Деревня словно лишилась какой-то невидимой защиты: вроде все шло обычным порядком, одно за другим, ничего сверхъестественного, а вот же. В августе прокатились по окрестным полям и над деревней страшные смерчи, а затем полили дожди и рано ударил мороз — урожаем убрать не успели. В итоге не выполнили план по заготовкам, и уже с зимы зачастили комиссии в село. Вскоре увезли председателя, поставили вместо него другого — приезжего из города, проштрафившегося бывшего партработника. В сельском хозяйстве он был не горазд, даже гордился этим — главное, говорил он, «инструктивная дисциплина» и порядок. Новый председатель не собирался долго задерживаться в деревне: нужно было лишь отсидеться, пока грешки в городе забудутся. С его приходом тех, кто не вступил в колхоз, перестали наделять покосами, запретили продавать им зерно. Ну а потом, видя, что единоличники не сдаются, провели то самое первое раскулачивание, когда увезли родителей Евсева.

И не только деревенское хозяйство стало худым, но и переменялись постепенно сами люди. Да и природа вокруг, кажется, переменялась: перестали родиться пшеница и рожь, остались только ячмень да овес, стало слякотнее и воздух как будто стал гуще, появился запах не запах, но повисло что-то болотное, тяжелое; зато веселиться стали даже больше и как-то отчаяннее, точно пьяные.

— ...Лучше расскажи, как ты? — вывела его из задумчивости тетя Люба. — Как жена, как дети?

— Да я не женат...

— Чего так?





— Не сложилось как-то... Негодный я, видно, для семейной жизни.

— У тебя же была подружка в деревне. Как ее звали?.. Имя-то я не помню уже, а прозвище Пчелка. Запало. Говорили, ее пчелы не трогают. Пчелиная царица...

Евсеев не без тайного удовольствия представил Галку царицей, с короной на голове и, как положено, в широком пышном платье, — таких рисовали в книгах со сказками.

— А может, она заговорами от укусов спасалась? Даром, что ли, темновровая, — улыбнулась тетя Люба.

— Ну вы и скажете, тетя Люба! Она крестик носила...

Евсееву было приятно слышать и говорить о Галчонке. Он мог бы и больше рассказать о ней и сам готов был слушать даже нелепости про заговоры — все что угодно. Но сейчас это ему показалось неуместным: он же пришел, можно сказать, на поминки человека — как говорить с его матерью о каких-то отношениях в далеком прошлом, не имеющих к сегодняшнему событию никакого касательства?

— Да чего там, я же не бывал в деревне с тех пор, как нас увезли.

— А чего ж ты не написал ей? Чай, ждала?

— Может, и ждала. Но чего хорошего ей можно ждать от переписки со ссыльным? Лучше уж не подставлять человека под монастырь, чего доброго, еще и ее забрали бы.

В словах Евсеева была правда, но не вся. Он не написал еще и потому, что не знал, о чем писать. «Кто я, кем стал здесь, в Сибири? — спрашивал он себя все время, пока жил в Андреевке. — Простой скотник на ферме, пораженец без будущего, без собственного дома, без рубля за душой». Они вдвоем с сестрой снимали комнату в доме у местной старухи. Когда началась война, он подумал было, что, если Галя еще свободна, съездит на Вагу. Даже написал ей письмо. Но ответа не было. Может, не дошло послание, а может, не захотела ответить. Ведь столько лет прошло — не шутка.

За окном послышалось разноголосое мычанье коров.

— Ой, — взметнулась тетя Люба, — мне ведь Дуньку надо завести! Ты посиди тут, я поставлю ее в стайку и вернусь...

Евсеев остался один. Мысли разбрелись в разные стороны, словно в поисках уголков, где можно отдохнуть после странного разговора, начавшегося тяжелым рассказом о смерти Фильки, а закончившегося Галчонком. Он рассеянно огляделся в избе. Все выскоблено, выметено, словно в горнице одинокой монахини. На стене тикали ходики с гирями, над циферблатом красовались наивно перерисованные медведи из шишкинского «Утра в сосновом лесу». Еще одни часы-будильник стояли на столе. «Зачем вообще в деревне часы, когда есть восходы и закаты, утренние петухи, корова, которая приходит в одно и то же время? — подумал Евсеев. — Тик-так... Какое отношение отсчет часов и минут на ходиках имеет к настоящему времени, по которому живут тут люди?..»

Тети Любы все не было, и Евсеев решил выйти во двор. Сапоги в сенях надевать не стал, вышел босиком. Уже одорукий пастух прогнал мимо

стадо и оно скрылось в дальней стороне поселка, но еще доносились отсюда щелканье хлыста, невнятная ругань пастуха и нестройное мычание коров. Вдруг из-за домов вынырнула со своей холмогоркой тетя Люба.

— Не завернула моя Дунька сегодня во двор, а раньше сама в калитку заходила, — сказала она и похлопала буренку по измазанному в грязи боку. — Будто почуяла, что у нас гость, и испугалась. Помыть вот еще надо...

Дунька совсем близко подошла к Евсееву, опершемся о березу у забора, идохнула на него — от такого родного молочного запаха сердце у Евсеева сладко жжалось. Он погладил корову по влажной шершавой морде, почесал лоб, подержал за рог. Холмогорка покорно стояла рядом, взмаргивая. Евсеев невольно залюбовался: «Какие огромные белые ресницы и голубые глаза...» Из туманной глубины памяти опять выплыл образ Галчонка — ярко-голубые глаза под длинными ресницами. Тут Дунька повернула голову — и Евсеев вздрогнул от неожиданности, отпрянул, словно увидел дурной знак: правый глаз у коровы был карий.

— Она у нас смиренная, не бойся, — сказала тетя Люба. — Сейчас надою молочка, попьешь парного.

Хозяйка увела Дуньку в стайку, а Евсеев сел на лавку перед палисадом и закурил. Вокруг продолжалась обычная деревенская жизнь, столь знакомая и родная ему. Еще вилась в воздухе пыль, поднятая стадом, но здесь, возле калитки, было уже спокойно, точно после вихря. Кедровка выклевывала жуков из навозных лепешек, кошка на верее⁷ внимательно наблюдала за щенком, с азартом валяющимся в пыли. Двое мальчишек у дома напротив усердно что-то мастерили из деревяшек. Евсеев откинулся, привалившись спиной к заборчику.

Береза в обхват, росшая рядом у забора, у земли была черная, с уродливыми темными наростами, с переродившейся бугристой, точно у осокоря, корой, узловатая; след от воткнутого топора, забитый зачем-то в ствол гвоздь, нарезанная уголко под березовый сок кора — рана, так до конца не зажившая с молодых лет, — видно, здесь, на деревенской улице, ей, белокудрой, не так уж счастливо жилось. Но вверху, в голубом небосводе, качался такой же тонкий изящный белоснежный ствол, какой был у нее в молодые годы. Кисейные веточки с клейкими новорожденными листочками, пильчатые по краям, как молочные зубики у ребенка, — Евсеев мысленно увидел эти листочки и понял, что той, верхней, вышней, березе было никак не полвека, а может быть, всего шестнадцать. И она напевала песню юности своими ветвями. Евсеев посмотрел на свои ступни, сбитые, с кривыми желтыми ногтями и въевшейся грязью, и снова перевел взгляд в небо: да, он часто чувствовал себя глубоким, уставшим стариком, но на самом деле где-то там, наверху, почти что в другом мире, он не таков. Где-то на самой верхушке, среди молодых веточек этой старой березы, там, где птицы щебечут своими неземными трелями и где веет ласковый ветер, — там его сердце вьет

⁷ *Верее* — столб, на который навешивается створка ворот.





себе гнездо. Эта чаша жизни растет незаметно, былинка за былинкой, устилается мхом, готовится принять новую жизнь — и там будет жизнь!..

Евсеев опустил взгляд, вернулся с высоты снова на деревенскую улицу, но радость не уходила. Веселая, золотящаяся в вечернем солнце пыль и мягкий песочек между пальцев ног, доносящийся откуда-то глухой стук колуна, по-прежнему неподвижная, как памятник самой себе, кошка и залиvisto-залихватские воробьи — это был уже совершенно другой мир, не тот, в котором он был еще полгода назад.

Откуда-то из-за угла вышагнул хмурый, начальственного вида мужичок с землистым лицом, в сапогах и телогрейке. Это был дядя Вася. Евсеев его сразу узнал, хотя с тех пор, когда их вместе везли сюда в стольшинском вагоне, а потом сгрузили на берегу реки, видел всего несколько раз, и то мельком. Дядя Вася его тоже узнал и махнул рукой: садись, дескать. Пожал руку, сам сел рядом и тоже закурил:

— На побывку?

Евсеев кивнул. Он не знал, как лучше: самому ли сказать о Филиппе или пусть тетя Люба скажет. Молча покурив, они направились в дом.

На столе в избе стояла глиняная крынка с молоком. Они с Василием сели напротив друг друга, посидели с минуту, как бы осваиваясь заново. Если по отношению к тете Любе Евсеев чувствовал себя кем-то вроде сына, то Василия он почему-то воспринимал как ровню, хоть тот и был старше лет на двадцать.

— Ну, рассказывай, какие вести принес, — сказал Василий. — Думаю, тебе есть что рассказать.

И Евсеев заново начал свой рассказ, как солдат рассказывает командиру хорошо разведанную диспозицию. По сути, он повторял то, что говорил и тете Любе, только уже без прежних эмоций. Про гибель Филиппа отложил на самый конец.

— ...Ведь и опыт, и инструкции учат — нельзя разводить костров! Ну уж ради такого случая можно было запалить бездымный костер на две ямы. Правда, от него какое тепло? А Филька весь промок и продрог за три дня лазаний по болотам. Думал, хоть погрееется чуток возле углей.

— Ну хочется ведь, чтоб по-человечески все было... А надо не по-человечески, чтоб живым остаться, — согласился Василий. — В шестнадцатом году, в империалистическую, мы тоже как-то, помню, костер развели — думали, чего уж, от линии фронта далеко. А тут аэроплан налетел и на нас бомбу кинул.

— Да, вот с этим костром у меня проруха вышла. Так и бывает: ошибаются одни, а платят другие. Может, это родовое? Помнишь, когда нас кулачили в первый раз? Мать тогда задержала всех, пока собирала пожитки. Из-за этого их тогда с отцом и взяли...

В эту минуту хлопнула входная дверь и из-за занавески появилась тетя Люба.

— Какую весть-то нам Анисим принес про Филиппка нашего! — всхлипнула она. — Погиб ведь! Вот шапку евонную привез...

Она потянулась к божнице, куда на полочку уже успела положить пилотку.

Дядя Вася взял ее в руки, посмотрел, положил обратно — всё молча. Потом достал папиросу из портсигара и закурил прямо в доме. Пока он курил, глядя в окно, все ждали. Наконец Василий придавил окурок и тускло глянул на крынку:

— Убирай это, бабка! Неси что надо.

Через минуту тетя Люба вынесла из кута бутылку с мутной жидкостью и поставила на стол. Сходила за закуской: выставила вареную картошку, репу и квашеную капусту.

— Эх, не то... — Крякнув, Василий поднялся, отмахнул занавеску перед дверью и ушел в сени. Скоро вернулся, неся в руках поллитровку водки. Отковырнув сургуч, поставил на стол.

— Хранил ее, чтоб Филиппа встречать. Настоящая, не какой-нибудь «сучок». А теперь, раз такое дело... — Разлил в три стакана. — Помянем.

Выпили молча, не чокаясь.

— Хороша водка, — брякнул Евсеев, опрокинув стакан.

— Вечная память, — сказала тетя Люба, но сама, можно сказать, только понюхала. Поставила стакан, а потом незаметно слила обратно в бутылку.

Совсем не так представлял Евсеев поминальный тост о Филиппе. Казалось, строже будет, торжественнее даже. А тут как-то слишком по-простому, по-хозяйски. Как будто не смерть солдата встретили, а ноябрьскую годовщину. Но вообще-то зацепило его другое — догадка, что, случись погибнуть ему, даже таких поминок некому будет справить.

Евсеев стал тыкать вилкой в капусту.

— Ого, какие вилки-ложки! — сказал он, чтобы как-то развеять тяжелые свои мысли. — Из деревни привезли? В сельмаге, наверно, покупали? У моих родителей такие же были.

— Какой там сельмаг! У нас в деревне серебряные отродясь не продавали. — Василий взял вилку и внимательно осмотрел ее, словно увидел впервые. — Это городские приборы.

— А откуда они у вас?

— Так это ваши ложки-вилки и есть! Отец твой из города привез. Деньги-то у него водились. А когда ваш дом растаскивали, нам перепало. Евсеев перестал есть и уставился на Василия.

— Что же ты, в самом деле?! — всплеснула руками тетя Люба.

— А то ты не знала, откуда они? — окоротил ее муж. — Балаган-то к чему устраивать.

Повисшее за столом тяжелое молчание прервал Евсеев.

— Да что теперь, и хорошо, что вы взяли! — с неестественной радостью произнес он. — Зато вот теперь вещи вам служат.

— Нехорошо это, чего уж говорить, — вздохнула тетя Люба. — Но вот так получилось. Когда народ бросился подчистую у вас дома все выгрести, я сказала Васе: «Не ходи, не по-человечески это». А он мне: «Я и не пойду. Только у меня уже вот что», — и показывает сверток. А в нем вот эти вилки-ложки и еще лампада серебряная. Но когда





в вагоне нас сюда везли, мы ее на хлеб выменяли. Помнишь, в вагоне все ржаной каравай ели? Не помнишь, конечно. А это вот ваша лампада пригодилась.

— Ну и хорошо, — с облегчением сказал Евсеев, — послужила людям, может кому и жизнь спасла...

Василий мрачно стрельнул взглядом на хозяйку:

— Так-таки не знала ты, откуда этот сверток?! Забыла, что, когда я подписывал в правлении бумагу на раскулачивание Евсеевых, мне, как бригадиру, и пообещали эти проклятые вилки-ложки, да еще сватали все серебро, какое найдется! А другим, которые согласились подписать, кому одежду, кому упряжь посулили...

— Не помню... — тихо сказала тетя Люба.

— Вот такие вот дела, — после долгого молчания подтвердил Василий. — А потом, когда нас через три года кулачили, из нашего дома таким же макарон все высвистали любезные соседи. Ничего я не смог с собой взять, кроме мешка картошки и этого свертка... Думал, хоть продам. А кому продашь? Так они в свертке и пролежали три года, — мы этими приборами, считай, и не попользовались.

— Чем меньше вещей, тем вольнее живется... — задумчиво сказал Евсеев и добавил: — Вещи добра не приносят. Только лишний груз. В бою со станковым пулеметом ты для врага как живая мишень, а с ППШ как...

— Да все одно! — оборвал его Василий. — Если написано тебе на роду в окопе сдохнуть, то так тому и быть.

— Да я не о том! — в свою очередь прервал Василия Евсеев. — У меня в голове другой вопрос как гвоздь до сих пор: зачем мать начала всякие вещи в мешок укладывать, когда надо было бежать в лес что есть сил? Неуж не понимала, что это всего лишь вещи, бумага, дощечки, металл... Всего лишь предметы! А так, может, и спаслись бы. Ведь нас предупредили об аресте, хоть и незадолго. Правда, кто предупредил, не знаю.

— Да я же и предупредил. Кроме меня, только члены правления и знали, что за Евсеевым Николаем едут. Из города звонили, чтоб подводы обеспечили...

— Нет, Анисим, вещь вещи не ровня, тут совсем другое дело! — неожиданно горячо перебила тетя Люба. — Твоя мама ведь не пожитки собирала! Она иконы собирала и церковную утварь, у нее даже где-то Чаша в доме была припрятана, может до сих пор где-то лежит спрятанная... Это святые вещи, Божьи! Все в разных местах было распахано, чтоб если начнут обыскивать, то хоть что-то бы осталось. В сундуке на дне икону прятала. Знаю, еще в погребке, за притолокой в специальном месте, другую. Но все это не ее было, а храмовое. Когда церкву-то собрались разорять и иконы жечь, кто-то предупредил батюшку, вот он и стал разносить по прихожанам иконы, книги и священные предметы, чтоб спрятали. И у всех девок обещанье взял перед Богом, чтоб они сохранили всё и потом в церковь отдали, когда ее снова откроют. Он-то думал, что скоро все вернется, по-старому... Его через несколько дней увели. Слыхала я, что на Соловки отправили, но точно не знаю. Знамо только, что не вернулся. Хорошо хоть, семьи не было, монах.

Василий налил себе и Евсееву еще по полстакана. Видно, он не слушал жену, а продолжал думать о своем.

— Натура у человека такая — сволочная. Вот вроде и у меня все отобрали и в тмутаракань сослали, мол, подыхай. А вот развернуть бы назад и после всего, что было, снова бы крикнули: «Грабь! Забирай из дома у сосланного-арестованного что хочешь!» — думаешь, отказался бы я? Хрена с два! Да-а, свою-то настоящую волю никогда до конца не знаешь... — мрачно кончил Василий и махнул свой стакан.

— Что уж ты такое на себя наговариваешь? — осторожно вставила хозяйка.

— А что? Думаешь, мы какие-то особенные? Вот ты хоть книг своих божественных начиталась, а тоже меня зерно для скотины заставляешь воровать. Все люди одинаковые, бесово семя! Нет, человек — дрянь! — Разгоряченный Василий плюнул. — Только есть такие, которые это признают, а другие — отказываются. И не меняется к старости. Вернее, так: меняется, делается только хуже, скрытней. Вот даже, предположим, все бы у меня было, что надо для жизни, а не как сейчас. Пошел бы я красть, если б знал, что никто этого не узнает и мне ничего за это не будет? Я так думаю — стал бы! Особенно если за компанию.

— Да зачем же, если все есть?! — искренне удивилась тетя Люба.

— А низачем! Из озорства. Змея кусает не из сытости, а из лихости. Потому что азарт воровской уже в жилах бродит. — Василий вперился мутным взглядом в доску стола и помотал головой. — Даже жизнь изменить можно, а вот характер — нет. Если только под гнет положить, как в бочку, под камень. А гнет этот — страх.

— Что же это за страх такой должен быть? — спросил Евсеев не то Василия, не то самого себя. Он почему-то вспомнил, как среди постоянного, глубоко въевшегося страха на войне, существовавшего просто как фон, он испытывал порой такое глубокое сонное равнодушие к смерти, к жизни, ко всему, что с ним будет или чего не будет, что, казалось, мог встать и во весь рост по полю идти на пулеметы.

— Такой страх, когда знаешь, что за малейшую подлость заплатить придется. Что за все-все спрос будет. Вот тогда человеком остаешься. Да ведь еще и знать-то нужно точно, уверенным быть, что за все с тебя спросят! А если хотя бы маленькая щель будет, не сто, а, к примеру, девяносто девять? Хоть бы малейшая возможность заныкаться в нее и избежать расплаты? Да ведь подлец-то снова вернется, как пес на свою блевотину, потому что натура человеческая такая: будет он до последнего надеяться, что этот единственный ничтожный процент именно его и спасет от суда!

— Повинную голову сабля не сечет, — отделался Евсеев поговоркой и осушил свой стакан.

— Сечет, еще как сечет! Так-то, Анисим... Был у меня один сын, Филиппок, одна голова, а теперь вот усек ее Бог, единственного сына забрал. Вот тебе и расплата.

Они посидели еще молча. Хозяйка ушла из-за стола, тихо чем-то занималась за печью.





— Ладно, Анисим, давай-ка на боковую. Тебе рано завтра вставать?
— Рано. Мне на поезд надо успеть.
— Понятное дело. Ты только скажи мне вот что... Чего бы тебе хотелось сейчас?

— Поспать. А то от недосыпа аж глаза щиплет. Ну, может, еще в баньке бы попарился. Чтоб до костей пробрало...

— Будет тебе баня. А спать — постели ему, бабка, на печи, пусть прогреется! — крикнул Василий.

Ночью Евсеев сквозь сон слышал, как дядя Вася вставал и уходил куда-то. Как потом оказалось, подтапливать баньку.

Под утро Евсеев крепко заснул, но Семенов-старший растолкал его:

— Поднимайся, все готово. Веник я запарил, похлестать тебя?

— Нет, я сам полегоньку.

— Ну и ладно, сам похвостаешься. Мыло на подоконнике, полотенно в предбаннике... — Василий выжидательно смотрел на Анисима — вдруг еще что требуется? Чувствовалось, что ему хочется угодить гостю. — Идем, я тебя провожу. Ты это... не торопись. Я до станции тебе телегу организую, успеешь. Основательно пропарься, чтоб вся грязь из-под кожи вышла. Знаю, что это такое, по окопам шмырять.

В парной на Евсеева накатила глубокий кисло-сладкий аромат хлеба — это Василий, должно быть, плеснул на каменку кваса. Евсеев поддал еще пара и распластался на полке. Заметил: шибер⁸ на трубе дядя Вася не стал задвигать, чтоб не угарно было, но так жар быстро улетучивается — стало быть, топил он только для Евсеева. Потрескивали дрова в печи, потрескивали от жара бревна в стенах, и в теле его тоже словно что-то потрескивало — покалывало от жара то там, то тут, сладко ломило во всех членах. Он прижал щеку к горячему скобленому бревну: хорошо-то как! Вспомнил, как мечтал о баньке в леднике, где они замерзали вместе с Семеновым, как у него ломило там все тело, как будто в кости втыкали ледяные иголки...

Он пытался уловить что-то ускользающее: что-то изменилось, но что? Холод и жар. Баня и окоп... Нет, главное — это он сам. Его самость здесь стала другой. Прежде он постоянно бродил по границе гиблого мира, оттуда, как из адской пропасти, задувало смертельной стужей, обжигавшей спину. Страх, безразличие, копящаяся усталость и бесконечный недосып — все смешалось и влезло куда-то вглубь него. А в лицо накатывали время от времени теплые, но лишённые живых запахов волны из будущего — спасительного, победного, светлого, но непонятного, как бы пустого. И вот теперь он шагнул внутрь этого радостного мира, опасная граница осталась где-то позади, хоть, может, и ненадолго. Очищение от налипшего зла войны и ввевшегося страха — главное, ради чего он здесь. Так он думал. И его будущее может быть не пустым и уже сейчас наполняется радостными пустяками и серьезными открытиями из прошлого, вроде

⁸ *Шибер* — металлический лист для регулирования потока воздуха.

того, о чем сегодня рассказала тетя Люба: о церковной утвари, из-за которой пострадала мать, о святых вещах. Все это было непривычным, новым, словно пахнувшая свежим лаком мебель в доме, таинственно-притягательным.

Потом, нахлеставшись веником, он сидел на крыльчке бани и отлеплял березовые листочки от тела — над голой спиной курился пар и растворялся в прохладном воздухе зачинающегося утра, из-под неплотно прикрытой двери бани плавился жар, тянуло сырой землей и терпко-кислым запахом крапивы. Из-за далеких сопкок занималась заря, а в небе холодился прозрачный бесплотный месяц; из оврага, где журчал ручей, в речную долину волнами вытекал туман и заволакивал заливные луга; а в водах Чулыма в этот час уже проснулась после своего короткого сна речная мелочь и наверхывала круги на поверхности; туман уже почти упрятал от чужих глаз двух лошадей на лугу, прислонившихся головами друг к другу; на ветвях ольхи на склоне оврага чечевица испуганно спрашивала спросонья об одном и том же: «Что, не пойму, я видел?» — а пеночка по соседству бестолково, но по-курсантски с удариением отвечала: «Тивици-ци-ци, тилици-ци-ци!»

Евсеев с наслаждением закурил. Скоро в утреннем тумане утонули и сам Чулым, и долина реки — высоко в небе с одного ее края на другой перелетал одинокий аист, он то парил, царственно раскинув крылья, то взмахивал ими, как ангел, и взмывал вверх. Евсеев попытался глянуть на землю глазами этой птицы, ведь здесь, на крутом берегу, он был на той же примерно высоте, что и она: солнце совсем близко, за лентой горизонта расправляющее плечи и оттуда подсвечивающее редкие, почти бестелесные облака... Внезапно первые лучи из-за сопки устремились в долину и пронизали туман, превратив его в золотой клубящийся напиток. Евсеев вытянул перед собой руки и счастливо подумал наобум: «Вот это мои ладони...» Руки до и после запястья словно принадлежали разным людям: бурые растрескавшиеся кисти, похожие на землю, а что выше — там кожа тонкая, ближе к плечам все белее и мягче. Вот грубо заштопанная рана на животе — он хотел осторожно погладить ее ладонью, но задрал кожу, словно жесткой дерюгой, и снова вытянул руки перед собой.

«...В моих ладонях — весь этот блаженный мир, долина Чулыма: две округлые сопки по краям окоема — на северо-востоке и на юге, между этими возвышенностями лента реки — это срединная складка на ладони, которая еще называется линией жизни...» Евсеев опустил руки и попытался одним взглядом обнять весь простор перед собой. «Это же ладони Бога!» — вдруг догадался он. Это было потрясающее по сути, но нежное, тихое открытие, которое он только что сделал. И вот она, главная тайна: он, солдат, сидящий на берегу жизни, но не принадлежащий этой жизни, он всем своим существом, со всеми своими мыслями и надеждами, с прошлым и будущим, — в этих бережных ладонях.

Когда-нибудь он вернется к себе на Вагу, поставит дом над рекой и они с Галчонком будут сидеть вот так и смотреть, как неслышно





поднимается отава, как сонные шмели вальяжно перелетают с цветка на цветок, как порхает бабочка-лимонница, к ней присоединяется другая и они начинают танцевать вместе, как летит-машет крыльями птица над рекой, но едва лишь перестает, как тут же начинает падать и так — то падая, то взмывая — преодолевает пространство долины. Эта мысль о доме над Вагой была еще более далека, чем мысль о войне, грохочущей в эти минуты где-то, чем мысль о победе, которую еще предстоит завоевать. Но ему вдруг стало ясно, что тот покой, которым веет от этой запредельной мысли, эти запахи от земли и шорохи из леса, веяние пролады в лицо и лучи рассветного солнца — это и есть главное, ради чего стоит жить. И этот покой возможен, только когда всё и вся едино: и этот растворяющийся в небе месяц, и река в туманном молоке, и его остывающее после парной тело, и эта букашка, вспрыгнувшая ему на руку, и Галчонок в его смутной памяти, и молчаливая, похожая на монахиню суровая мать — когда все это вместе, видит, слышит, чувствует, знает, помнит друг о друге... Именно и только тогда это все едино, когда все это в нем.

Пока Василий набрасывал сено в телегу, тетя Люба обняла Евсеева: — Будешь теперь нам сыночком, ты ведь сирота. Будем тебя ждать. И ты не забывай нас, пиши. И еще вот что... если сложится... попрошу тебя... — Она все никак не могла решиться. — Узнай, милок, где он похоронен, Филиппок мой. Бог даст, побываю на могилке. Ну а нет — так нет. Прости меня, старую, не знаю, что говорю... — все продолжала бормотать она, когда он уже стоял возле телеги, готовый запрыгнуть в нее.

— Ну, прощай! — Она перекрестила его и поклонилась.

Евсеев махнул рукой:

— Приеду! — и поклонился, наверно, первый раз в жизни.

До станции они доехали как раз к поезду.

Часть третья. 1944-й

Командир саперной роты старший лейтенант Евсеев возвращался в блиндаж довольный и, можно сказать, даже радостный, словно в предвкушении близкого торжественного акта. После нескольких дней жестокого недосыпа он едва останавливался где-то или успевал присесть, как немедленно глаза слипались и в мозгу начинали мельтешить сонные картинки: то мать от чего-то предостерегала его, то являлся Филька и начинал спорить...

Денек в начале лета 1944-го выдался замечательный: в далеком детстве Евсеева мама говорила про такую погоду «солнопёсливая», то есть понятно, что ласковая, — пригревало солнышко, веял ветерок, пронизанный душистыми ароматами июньских трав, по небу там и тут плыли маленькие облачка, чем-то напоминающие беззвучно запечатленные разрывы зенитных вспышек. Фронт двигался теперь на запад, и так получалось, что как раз по тем местам, где Евсеев воевал недолго в окружении, а потом партизанил в сорок первом. Немец особо

обстрелами в последние дни не беспокоил, и стали, наконец, в достатке подвозить боеприпасы. Но главное, что грело его, — в кармане лежало только что полученное, неразвернутое еще письмо от тети Любы. Он специально отложил чтение, предвкушая, как в ближайшие несколько часов, перекусив, спокойно прочитает его и еще пару раз перечитает, а потом черкнет что-нибудь в ответ и завалится поспать.

Перед тем как занырнуть в блиндаж, он глянул на небо — за годы войны уже выработалась привычка неприятности ожидать не со спины, не под ногами, хотя он вот уже почти два года воевал в саперном подразделении, а сверху. Авиабомбы, мины, осколки — от этого горячего железа с небес народу гибло больше всего. Вот и сейчас вроде все было тихо, а большая стая черных птиц, похоже грачей, вдруг снялась с опушки леса и стала кружить над вытоптаным и изрытым гусеницами жнивьем. Евсеев вытолкал из блиндажа без дела зевавшего тут вояку, приехавшего из штаба дивизии в преддверии визита начальства, разложил на столе хлеб, вскрыл ножом банку американской тушенки и достал из-под нар припрятанную флягу со спиртом. Полная диспозиция...

Сделав пару глотков, Евсеев вынул из кармана треугольник и бережно развернул его. За два года, прошедшие с памятной поездки Евсеева на его новую сибирскую родину летом сорок второго, тетка написала ему несколько десятков писем — он привык и ждал их как свидания с родным человеком. А больше ему никто из родных не писал. Сестра, еще в начале войны направленная работать куда-то в госпиталь в Среднюю Азию, не проявилась ни разу, и он не знал даже, жива ли она. Слали весточки иногда фронтовые друзья из госпиталей, но это было не то — они больше спрашивали о делах в части, чем что-то рассказывали. Зато тетя Люба излагала все подробно, мелким почерком, но на одном листе у нее письмо, как правило, не помещалось, и она вкладывала в треугольник еще один, а то и два мелко исписанных тетрадных листа. Она подробно рассказывала о соседках, которых он знать не знал, о своем подворье, и он уже свыкся и даже ждал свежих новостей о том, благополучно ли отелилась Дунька, или об урожае картошки, словно сам ее сажал и окучивал. Вот и в этот раз она сначала расписала о слабом здоровье в последнее время сильно хворавшего дяди Васи и о прохудившейся крыше, которую некому поправить, потом о какой-то умершей соседке, коротко о себе, о скотине, о богатых укусах, ожидаемых нынче из-за дождей, и потом... У Евсеева запрыгали строчки перед глазами. Дальше было о том, что тетя Люба написала старой знакомой в их деревню, на Вагу, спросила, как там поживает народ, и получила ответ. «Дом ваш стоит, окна заколочены. Про мать и отца твоих ничего не знают. Между прочим спросила и про Пчелку, — писала тетя Люба. — Жива-здорова твоя подруга...» Тут Евсеев отложил письмо и в волнении глотнул еще спирта. Лег на нары, натолкав под голову травы потуже, и закрыл глаза. Он даже не предполагал, что эта новость так взволнует его. «Жива ли ты, Галчонок? — не раз Евсеев мысленно спрашивал все эти годы. — Может быть, тебя и нет уже, только в моем уме и сердце ты живая еще». И вот, наконец, пришел к нему ответ, когда не ждал.





Евсеев дрожащими руками снова развернул вложенный листок: «...сообщает она мне, что Галина робит в колхозе, зимой на лесоповале. Ездил два года назад рыть окопы под Москвой на три месяца, застудилась, потом болела, но теперь ожила. Вроде как дочка мелконьякая есть, а муж погиб еще в 41-м. Голодают сильно. А так всё как прежде, только мужиков в деревне ни одного не осталось...»

Евсеев попытался представить Галю, на сей раз держащую за руку девочку, как две капли похожую на нее, и стоящую у реки на тех самых мостках, где они когда-то вечером сидели вместе... Он видел их только сзади, но точно знал, что девочка рассказывает ей о чем-то своем, девчачьем, а Галчонок-мама стоит и молча улыбается.

Евсеев вскочил и сел на чурбак перед столом. Достал бумагу из своей полевой сумки и глубоко вздохнул. «Здравствуй, дорогая и любезная Галя! — написал он с ходу. — Пишет тебе это письмо Анисим Евсеев. Помнишь ли меня? А если не помнишь, то скажу, что мы с тобой вместе учились в школе, даже дружили. Мне написала о тебе в письме тетя Люба. Ее ты должна знать, потому что их с мужем Василием дом стоял напротив вашего. Теперь, после того как их выслали, они живут в Трудпоселке на сибирской реке Чулым... Два года назад летом я был у них в гостях и...» Евсеев скомкал лист. Получалось многословно и не о том. Он с досадой сощелкнул паучка, суетливо перебежавшего по столешнице. Достал другой лист и написал: «Здравствуй, Галина!» Отложил карандаш и задумался: «О чем писать? Не о прошедших же годах — тут целой тетради не хватит. О теперешнем своем положении? Но какой ей до этого интерес?..»

Так ничего и не надумав, Евсеев снова лег на тюфяк. «Не буду писать, — наконец решил он, покурив. — Надо самому ехать в деревню, посмотреть, что да как. Вот в ближайший же отпуск и поеду». Он еще раз перечитал письмо тети Любы и закрыл глаза. Где-то вдалеке бухали взрывы — за время, пока он находился в блиндаже, мины как будто стали класть ближе. Прислушался: теперь это были уже прилеты не только из минометов, били из гаубиц. «Странно, — подумал Евсеев, — если готовят наступление, то зачем по тылам лупят? Может, “рама” где-то летает, нас заметила? Разведка докладывала обстановку, что все должно быть тихо, передвижений у противника не замечено». Евсеев решил, что это обычная беспокоящая стрельба, к которой он давно привык, как к жуужанию насекомых: если не жалят, спать можно спокойно.

Он лег, но едва отвернулся к стенке, как тут же перед глазами поплыли сонные картины. Вот он идет по бескрайнему полю спелой ржи — и вдруг навстречу ему мама, за руку держащая Галю. «Вот познакомься, это Пчелка», — говорит мама голосом тети Любы. «А мы уже знакомы», — отвечает Евсеев. Тут появляется Филька верхом на статном скакуне. Он похлопывает жеребца по шее: «Смотри, Буян нашелся!» — и протягивает руку Галине. Она садится на коня рядом с ним. «Вы куда?» — окликает их Евсеев. «Домой», — отвечает Семенов. «Ты разве не умер?!» — удивляется Евсеев, но ответа нет. Мама берет коня за повод, ветерок качает колосья и васильки, развеивает гриву, играет в темных

прядах Галчонка. Все втроем они медленно уходят. «Я с вами!» — кричит он им вслед. Мама оборачивается и хочет что-то ответить ему... Но тут сон прервался, потому что в блиндаж кто-то вошел.

— Товарищ старший техник-лейтенант!

— Чего тебе? — не поворачиваясь, ответил Евсеев и посмотрел на часы: он спал всего минут пять. — Поспать не даешь!

Это был сержант Буряк из третьего взвода.

— У нас тут ЧП! — бойко затараторил Буряк. — Вот я привел вам его!

— Кого «его»? — буркнул Евсеев, вставая.

Сержант стоял в проеме тамбура и крепко сжимал запястье молодого бойца. Суть дела, как оказалось, заключалась в том, что этот паренек нашел на болоте упавший «Юнкерс» и у мертвого летчика взял все, что только смог. Основательно насобирав себе сувениров, спрятать не успел — кто-то донес.

Буряк доложил Евсееву о происшествии и, закончив доклад хлестким: «Мародерствовал! Такие, как он, позорят Красную армию! Его под суд надо...» — подтолкнул молодого в спину и положил на стол тряпицу с «добычей» юнца. Евсеев спросонья досадливо уставился на молодого воина:

— Ты кто?

— Рядовой Семенов!

— Семенов?

— Так точно.

— Хм... — Евсеев внимательно оглядел его.

Нет, внешне он был совершенно не похож на Фильку. Тоже совсем молодой, но только уж совсем-совсем: худой и голенастый, еще не набравший мужицкой плотности, да и по движениям, по голосу еще ребенок. Но что же зацепило в его облике? Ага, вот что: этот взгляд немного напуганного, но самоуверенного волчонка. «Вот взгляд-то у него, как у Фильки», — понял Евсеев.

Он развернул тряпку с добычей рядового Семенова, и из нее вывалились наручные часы, складной нож, портсигар...

— Зачем снял часы? Что за... что за барахольство? — Евсеев нарочно не стал называть произошедшее страшным словом «мародерство», за которым неизбежно следовало признание преступления, а значит, требовалось наказание.

— Свои разбил, товарищ капитан! — ответил Семенов бодрячески, но дрожащим голосом. — Нам, саперам, они очень даже нужны.

— Под суд захотел? — раздраженно рявкнул Евсеев, особенно рассердившись на то, что провинившийся услужливо и сознательно «повысил» его в звании. — Со следователем не встречался? К штрафникам захотел?

Евсеев говорил все громче, а рядовой все больше вжимал голову в плечи.

— Ладно, Буряк, ты ступай, я без тебя разберусь. — Евсеев махнул рукой конвоиру. Тот взял под козырек и уже собирался было идти, но Евсеев остановил его: — И вот что. Если кто узнает... за срыв задания по доставке мин на прошлой неделе под трибунал пойдешь ты. Все понятно?





Буряк испуганно-обиженно кивнул. Несколько дней назад у него заглох мотор на его ЗИС-6, загруженном противотанковыми минами, он так и не доехал до позиций — пришлось перегружать боеприпасы на другую машину.

— Можно идти?

— Иди, — хмуро сказал Евсеев и повернулся к Семенову. Тот стоял в неподвижном окаменении. — Откуда ты такой взялся? Какого года рождения?

— Двадцать пятого. Я с запасного полка, из Вологды...

— Комсомолец?

— Так точно.

— Что ж ты, комсомолец, земляков-вологжан позоришь? У меня тут их много служит...

— Вообще-то я не из Вологды, я с Архангельской области.

«Ого!» — подумал Евсеев, но остановил себя, переспрашивать уточнять не стал. Он и без уточнений знал, что именно через такие вот случайные совпадения Бог разговаривает с человеком. Теперь важнее было, что же Он хочет ему сказать. А для этого география была уже не нужна.

За этими мыслями раздражение из-за того, что ему так и не дали поспать, развеялось.

Среди всякой мелочи рядом с костяным мундштуком лежал нагельный крестик.

— А крест-то зачем с него снял? — уже спокойнее спросил Евсеев.

Паренек потупил взгляд:

— Я не снимал, он в портсигаре лежал.

Евсеев, расхаживавший между столом и нарами, заложив за спину руки, остановился и прислушался. Где-то невдалеке раздался взрыв, так что в блиндаже все затряслось. Евсеев взял крестик и стал разглядывать: простенький, по-видимому медный, как у православных, только на обороте ничего не было изображено и написано.

Евсеев снова замер и прислушался. Донесся долгий, тягучий, все усиливающийся вой...

Мгновение спустя крыша блиндажа рухнула и внутрь влетел снаряд от гаубицы — он прошел по наклонной, разнес вдребезги стойку в тамбуре и, прошив нары, на которых только что лежал Евсеев, воткнулся в грунт, не разорвавшись. Бревна настила жирно захрустели, сверху посыпалась земля, и накат стал оседать. Евсеев, краем глаза заметив, что одно из бревен придавило ноги упавшего Семенова, метнулся к стене, но запнулся и увернуться не смог — еще одно бревно обвалилось точно на него... Дальше была черная яма.

Очнулся он наполовину заваленный песком и обломками бревен. В крыше штабного укрытия зияла дыра. Топчан, на котором он недавно лежал, был засыпан землей. Вокруг суетились солдаты с лопатами. Неразорвавшийся снаряд, по-видимому, уже вынесли. Семенова тоже рядом не было. Евсеева осторожно обкапывал саперной лопаткой какой-то солдат. Он по чуть-чуть как будто скалывал скорлупу вокруг

него — и внутри этой тяжелой массы, сковывающей дыхание и малейшее движение, у Евсева болело все: ноги, спина, особенно грудь. Запечатанный грунтом, оглушенный, он, словно только что родившийся цыпленок, выбирался из яйца на свет божий. Сознание понемногу очищалось. Когда он смог наконец выдернуть руки из земли, разжал ладонь: в ней оказался зажат крестик. Не сразу вспомнил, откуда он взялся. Спросил:

— Что там с Семеновым?

— Ничего страшного, — ответил сержант. — Перелом обеих ног, его уже отправили в медсанбат.

Вечером приехал полковник из штаба готовить визит генерала на передовую. Ему было под шестьдесят, его тщательнейше выбритые щеки отдавали синевой, как и его холодно блестящие сапоги. Но полковник оказался не привычным злобным матерщинником-дровосеком, от которого щепки разлетаются в разные стороны, — он матерился на удивление мало, зорко приметил кучу всяких недочетов, а когда увидел хранящиеся рядом мины и химические запалы — что, конечно, не дело, — то ругаться не стал, а подозвал командира батальона и задал вопрос из бородатой шутки о саперах:

— Чем отличается сапер от десантника?

— Летают в противоположном направлении, — испуганно, без улыбки ответил капитан, не зная, чего ожидать дальше.

— Вот и ты у меня полетишь, если такое еще раз увижу, — с усмешкой сказал полковник.

Обойдя расположение, он вызвал к себе Евсева и стал спрашивать о его самочувствии. Евсеев старался отшучиваться, но совсем не морщиться от боли в груди не получалось. Это не ушло от внимания начальника. Вызванный медик, когда ему полковник дал слово, рассказал о подозрении на перелом ребер и пожаловался, что Евсеев отказывается ехать в госпиталь. Евсеев попробовал снова пошутить, но полковник оборвал его:

— Шутки тут неуместны. Завтра едете со мной на рентген в эвакогоспиталь.

На следующий день по дороге в штаб дивизии Евсеев живо общался с полковником. Говорили о минно-взрывном деле, в котором полковник был не очень силен, так как лишь недавно его перевели в инженерные войска из радиийщиков. Узнав об этом, Евсеев начал рассказывать о дистанционных радиоминах Ф-10, с которыми их учили управляться еще в партизанском отряде в сорок первом.

— Там восьмиламповые блоки могут принимать радиосигнал и дают электроимпульс на три детонатора — отличная штука! Вот только в деле мы ее не использовали ни разу, так и остались они у нас в схроне лежать прикопанными. Антенны тоже, хороший провод немецкий, довоенный еще, аккумуляторы на двенадцать вольт. Конечно, батареи уже сели, но, в принципе, могут быть еще годными, — рассуждал Евсеев безо всякой задней мысли, — если только не испортились от влаги или всё не разграбили.



Полковник неожиданно заинтересовался и стал расспрашивать подробнее — оказалось, что радиоуправляемые мины он только на учебных плакатах видел. Закончился разговор тем, что Евсеев предложил откомандировать его посмотреть этот схрон — вдруг его не тронули? Тем более что до тех мест, где они когда-то партизанили, было немногим более ста километров.

— Если что-то уцелело, я дам координаты, чтоб приехали саперы и забрали всё.

Полковник вроде согласился сначала, но потом сказал:

— Отставить! А как же твои ребра? Нет, не пойдет...

— Жалко ведь, пропадет добро. Опять же — а если кто из диверсантов найдет эти мины и использует их против наших же объектов?

Полковник помедлил, глядя на него, — в этот момент Евсеев подумал, что как раз тут и должно оно решиться. Что именно? Но этого он и сам не знал. Что-то важное.

— Ладно, — согласился все-таки полковник, — валяй. Если что накопаешь, знаешь, где меня найти. И это... после госпиталя подпишу тебе отпуск на четырнадцать дней. Продышишься хоть...

Евсеев не сомневался, что найдет свой будан возле Чертова болота, и был уверен, что что-то в нем наверняка осталось — не очень-то просто туда попасть. Неслучайно ведь разгромили фрицы его из артиллерии и минометов, но не захватили. Значит, не смогли пройти через гать... Но мысли у Евсеева уже стремились дальше: он понял, что судьба предоставила ему редкую возможность снова побывать в тех местах, где он потерял Фильку Семенова. «Я же обещал тете Любе узнать место, где похоронен ее сын, — и вот он, случай! А как я узнаю про могилу? Лишь бы только тот Мыкола Пинчук еще был жив. Да что с ним сделается, сидит дома, сволочь. А если мобилизовали? Тогда жена должна знать... Или дочь. Главное, чтоб не разбомбили их... Вот надо же, дожил — придется заботиться о гитлеровских прихвостнях!...»

Так думал Евсеев, подпрыгивая на ямах в кузове грузовика с солдатами. Это был уже третий грузовик, который ему пришлось сменить, — на каждом ему удавалось попутно проехать лишь небольшой отрезок пути. Оставалось совсем недалеко, километров пятнадцать, о нормальной дороге не приходилось даже мечтать — в грузовике всех трясло, словно мелочь в кармане на бегу. Евсеев предпочел спрыгнуть и дальше идти пешком.

Километров через пять он вышел к реке — той самой, по которой они с Филькой сплавлялись на лодке без весел. Теперь, летом, ее было не узнать: если б не болотистые подступы, ее, обмелевшую, можно было перейти вброд. Евсеев пошел по едва заметной тропке вдоль берега. Рыжие карандаши сосен местами подступали к урезу воды, и под ногами мягко хрустело волнистое одеяло беломошника — ничего этого он не замечал, когда они пробирались с Семеновым по другому берегу. Кажется, вон там, продравшись через ивняк, они наткнулись на лодку. Дальше плыли по течению...

Забрел в березовую рощу, где белые стволы стояли под наклоном в сторону реки, похожие на стрелы с опереньем, вонзившиеся в землю после обстрела с того берега. И эту рощу он почему-то не запомнил, хотя, судя по всему, деревня была уже совсем рядом. «Что-то стал задыхаться», — отметил про себя Евсеев и остановился, прислонившись лбом к стволу березы.

...Надтреснутые ребра снова заняли. Он двинулся дальше. Дошел до того места у реки, где вдвоем с Семеновым они прятались под водой. Теперь здесь река обмелела так, что было видно дно, а желтые кубышки на своих длинных шеях высоко поднялись над водой. Все было не так, как осенью сорок первого.

Здесь, на берегу, Евсеев лег на спину. Нужно было, чтобы притупилась боль в груди. Но главное — это было место, где он должен был помянуть Фильку. Именно тут лежал замерзший, бесчувственный Семенов, а Евсеев держал его голову на своих коленях, пытался растормошить. В этом месте — теперь он это понимал — всего за несколько часов до гибели Семенов стал его братом, нет, даже больше — сыном. И с той минуты, когда оба они были так близко от смерти, их не могли уже разделить ни возраст, ни язвительные шуточки. «Теперь я — Семенов», — подумал он.

Евсеев повернулся на бок, расстегнул гимнастерку. Из-под нее выглянуло тело, все в синяках и ссадинах после того, как его, полуживого, откопали в обвалившемся блиндаже. Он подумал, что в его возрасте в деревне у мужиков уже были взрослые сыновья и, быть может, именно поэтому как сына воспринял он Фильку — отцовский инстинкт. Непослушного волчонка, отстаивающего на каждом шагу право на самостоятельность, но в глубине души любящего и готового подражать матерому и учиться у него жизни.

Что-то шерохнулось поблизости в кустах. Евсеев вскинул глаза и опытным взглядом охотника с юности увидел притаившегося за кустом русака. Тот сидел, шевеля носом и глядя на Евсеева, и они на мгновение встретились взглядами. Или это только так показалось ему. В следующее мгновение заяц отскочил назад, не поворачиваясь, словно на пружинке, и исчез.

Он прикинул, успел ли бы вытащить двустволку на зайца, если бы она у него была. Пожалуй, нет. Все-таки охота — это другое. В ней есть правильность, потому что человек становится частью этого лесного мира. Здесь, в лесу, всюду опасность, но нет врагов. Волк зайцу не враг, сова не мстит и не мучает мышь. Между ними нет ненависти. Война — вот безразборчивое убийство вслепую, основанное на ненависти. И не потому, что люди переполнены злом, а потому, что без ненависти машина войны не работает. Это ее топливо. Вспомнилась ему история с деревенским кузнецом Демидом, потерявшим своего жеребца. Единственный за много лет удавленник, а зла, которое он принес своей смертью, хватило на всю деревню на годы. А сколько ж зла надо людям произвести, чтоб смертоносным пеплом, как из вулкана, засыпало всю Европу.





Евсеев закурил и задумался без мыслей. На другой стороне реки дважды прокуковала кукушка. Здесь, вдалеке от фронта, он еще чувствовал войну, она была во всем, что он с собой нес: в черноте под его ногтями, в ссадинах под его гимнастеркой, на сбитых каблуках его обуви, — и потому здесь еще не было мира. Но снова, как тогда, незабвенным утром у бани, чувствовал он, как волны мира — пока еще слабого, голодного, усталого — накатывают откуда-то с востока и несут покой. Эти прикосновения покоя кутали его в сон — не окопный, когда проваливаешься в яму в полном бесчувствии или же, наоборот, как бы висишь в зыбком настороженном забытьи, — нет, его сносило в тот живительный сон, когда словно подключаешься к подземным целебным родникам, чтобы проснуться обновленным и свежим. Но тут в кустах рядом вдруг поползень издал три сигнальных крика... Евсеев вышел из оцепенения и открыл глаза. «Хватит уже нежиться!» — одернул он себя, встал и направился к деревне.

Вот и тот злополучный дом на окраине села показался. Евсеев подошел к погребу на краю огорода, где они с Семеновым мучились на каменном полу в ожидании сумерек. Подойдя к леднику, он дернул за дверцу — она оказалась заперта. Заглянул в щель: весь погреб был заставлен бочками не то с рыбой, не то с кислой капустой, потому что пахло оттуда тем и другим одновременно.

В душе у Евсеева появилось какое-то неопределенное беспокойство — в предвкушении ли встречи с врагом Мыколой, которого он теперь не опасался, напротив, легко мог представить выражение лица вражины, когда тот увидит его в офицерском кителе... Нет, не только это беспокоило его. Подбираясь к деревне, он все чаще трогал кобуру пистолета на боку — мысль о расплате за Фильку сильнее и сильнее овладевала им. Он хорошо запомнил тот незавершенный спор с тетей Любой в деревне — о мести, возмездии и прощении. Помнил ее просьбу не трогать изверга. Но то были просто рассуждения, не привязанные к жизни, — а жизнь повернулась так, что ему представился уникальный шанс расплатиться за ее сына, и другого не будет. Два года жизнь текла так, что некогда было особенно и вспоминать прошлое — а всё вперед и пригнувшись: приказ получил, приказ отдал... И поэтому в какое-то время он даже начал думать, что старое надо просто оставить; то, что прожито, ушло, а потому и забыто, в конце концов его душа не безразмерна, чтобы все хранить, а жить надо настоящим и будущим. Но прошлое, оказалось, никуда не делось, оно только ушло из его блиндажа в какие-то боковые окопы...

Евсеев поднялся на крыльцо и прошел в сени. Было тихо, как и в тот октябрьский вечер сорок первого. Выдохнув, он толкнул дверь, нагнулся и переступил порог горницы. Там было пусто, слабый свет виднелся лишь в дальней комнате, и оттуда доносились женский голос и плач ребенка. Заглянув в комнату, он увидел ту самую женщину, что и в прошлый раз, — только, кажется, она сильно постарела. Она качала в люльке младенца и что-то сонно напевала себе под нос. Увидев темную фигуру, она вздрогнула всем телом и встала.

— Вам кого? — испуганно спросила она.

— Здравствуйте, Олеся. — Евсеев внимательно посмотрел на нее. Он вспомнил эти ее кошачьи черты лица. — Мне нужен Мыкола Пинчук. Где он?

— Он скоро должен прийти. А вы кто?

Евсеев не ответил. Он видел, что она его не узнала, значит, можно сказать что угодно. Но в самом деле, кто он? Представитель правосудия? Ангел мщения?

Отвечать он не стал, сказал только:

— Я здесь подожду. Занимайтесь своими делами.

Сел на стул, а женщина продолжила нянчиться с ребенком — но даже по ее спине Евсееву было ясно, как сильно она напугана. Почувствовав этот ее страх, младенец залился ревом. Евсеев вышел в кухню и сел за стол, тот самый, за которым они вместе с Семеновым сидели напротив Мыколы. Ничего не изменилось: только икон в углу стало, кажется, меньше и появилась трещина на беленой печи. Успокоив ребенка, женщина вошла в кухню и стала мыть посуду в тазике, время от времени косясь на Евсева.

Наконец за дверью послышались шаги. Олеся вскинула голову и хотела было что-то сказать, но Евсеев строго приложил палец к губам, и она села на лавку, не домыв тарелки и бессильно уронив руки. Пригнувшись, в дверь вместе с запахом реки и рыбы ввалился Мыкола — стрельнул взглядом в сторону Евсева: узнал его и сразу все понял. Сел на то самое место на противоположном конце стола, где сидел и в прошлый раз. Упер руки в колени, готовый к тому, что сейчас последует команда на выход.

— Пойди займись ребенком, — кивнул он жене, и она вышла.

Евсеев мысленно подивился: говорил Мыкола в этот раз почти на чистом русском, без «словечек» — и когда успел научиться?

— Убивать пришел? — глухо сказал он, и Евсееву показалось, будто из его рта вырвался серый клуб пыли.

— Руки на стол, чтоб я их видел, — спокойно произнес Евсеев, достал наган и положил на край стола. — Расстрелять тебя пришел, Мыкола Пинчук, за предательство. Но сначала буду судить.

Мыкола положил руки на стол. Они сильно дрожали, на его лице красными пятнами проступил испуг.

— То ж не я стрелял, это они...

— И кто это «они»? — уточнил Евсеев ровным голосом, хотя сдержаться себя ему стоило больших усилий. При виде убийцы первым желанием у него было максимально медленно, пулю за пулей выпустить в него всю обойму: сначала в ноги, чтобы он заверещал, как хряк, потом в живот или чуть ниже и, наконец, в лоб... Но волна схлынула, и теперь, глядя на перепуганного до смерти бугая, он чувствовал только брезгливость и желание поскорее закончить дело. Вот только каким должно быть это дело, он для себя до сих пор не решил.

— Та то ж у нас в селе наши стояли, бульбовцы, хохлы, они ж за нас... — дрожащим голосом лепетал Мыкола.

— Ты про этих фашистских прихвостней? Привечал, значит, их... — Евсеев хотел было что-то сказать про бульбовцев, но только бессильно



выдохнул, увидев, что Мыкола Пинчук от страха ничего не поймет, да и, пожалуй, не услышит даже. С бульбовцами их отряду приходилось встречаться в Полесье, как-то раз даже стояли на разных берегах реки, но в перестрелку вступать не стали. Запомнил, как они пели у костра — намеренно громко, чтоб их слышали партизаны: «Гей-гей, час приходит, будем бити москалѐв».

— Я готов ответить по всей строгости закона. — Мыкола опустил голову и всхлипнул.

И эти нелепые в их ситуации слова, и детская интонация, с которой это было сказано, так плохо совмещались с его грузной мужицкой фигурой, что Евсеев хмыкнул:

— А в чем строгость закона военного времени, ты знаешь, ёж твою медь? Это означает к стенке! — Евсеев положил руку на пистолет.

— Не убивайте мене...

— На фрицев работал, убивал! А тебя, значит, не убивать? В Бога, говоришь, веруешь? — Евсеев глянул на божницу. — А про Иуду слышал?

— Слышал. Та я не Иуда, я — Мыкола...

— Доставай свою мосинку.

— У мене не мосинка, у мене берданка переробленная. Еще перед войной купил.

— Вытаскивай!

Наставив на Пинчука пистолет, Евсеев проводил его в соседнюю комнату, где тот залез в подпол и протянул оттуда берданку.

— Патроны давай!

— Патронов немає...

— Вьлезай!

Евсеев осмотрел несмазанное ружье с перепаянным прицелом: видно было, что из него не стреляли много лет. «Может, действительно, не он стрелял?» — подумал Евсеев. Но ведь он же явственно слышал тогда выстрел не этой древней берданки, а мосинки... Он вынул из ружья затвор и положил в карман, само ружье поставил в угол возле печи. Они снова сели за стол друг напротив друга.

— Рассказывай, где Фильку похоронили, — сказал Евсеев и поправился: — Рядового Семенова.

— Шо?

Евсеев выматерился и снова наставил на хозяина пистолет:

— Мне повторить?

Мыкола точно очнулся, суетливо забормотал:

— Так это, на могилки увезли, там закопали... Около самого яра. Снаружи забора. — Он испуганно покосился на Евсеева. — Я не маю, мне где сказали, там и выкопал. Я ж не сам, мене заставили.

— Кто тебя заставил?

— Так они же... Я могу показать место, если хотите. Вы сами не найдете, потому что никакого знака там не поставили. А я знаю, тому що сам копал.

Евсеев еще раз подумал, что вот удобный случай: пойти вместе на кладбище, там его шлепнуть и оставить на съедение лисам... Искушение

было слишком велико, а дело столь простое, что в этом направлении после паузы Евсеев запретил себе думать.

— Возьми лист и рисуй схему, — сказал Евсеев и поморщился — видно, от волнения давали о себе знать потрескавшиеся ребра.

— Мамка! — позвал Мыкола. — Неси карандаш и листочек!

Жена зашла через минуту с окаменевшим лицом, боком, в одной руке держа младенца, в другой зажав школьную тетрадку с вложенным в нее карандашом. Она слышала их разговор и все поняла.

— Иди-иди! — вытолкнул ее муж и, посплюнявив химический карандаш, принялся чертить что-то на листке.

В этот момент неожиданно за спиной у Евсеева открылась дверь. Он резко обернулся: в проеме дверей, не решаясь перешагнуть, оставилась девочка, по-видимому дочь Мыколы. Неуклюжий подросток с очень худыми ногами и рябым от веснушек лицом.

— Зачинай дверь! — прикрикнул на нее отец и продолжил рисовать с усердием, высунув кончик языка, испачканного синим карандашом.

Дочь медленно прикрыла за собой дверь, села на порог, положила подбородок на острые коленки и зажмурилась.

— Иди к матери, — тихо сказал ей Евсеев, но она то ли не услышала, то ли ждала команды отца — осталась сидеть неподвижно.

Наконец Мыкола справился с заданием, придвинул листок Евсееву через стол и указал пальцем:

— Где крестик, там и заховали. Там неглубоко. Рядом я рисочку провел, то забор, а где заштриховано — там яр.

Евсеев глянул мельком и понял, что овраг тот самый, по которому он убежал тогда, осенью сорок первого. Отодвинув лист, он уставился на доски стола, не двигаясь, немотствуя, будто желая уловить в этой тишине, что кто-то нашепчет ему, как поступить.

Разбираться дальше и тем более выносить приговор ему хотелось меньше всего: «Какой я, к дьяволу, судья? Я — солдат. Я выполняю приказы. Приказа расстрелять этого паскудника не было. И потом, что я понимаю в жизни этих людей?.. За убийство надо платить смертью. А если в самом деле не он? По масляным глазам-шелкам видно, что врет, ну а вдруг?.. — Не без удивления Евсеев снова поймал себя на том, что скорее готов быть не обвинителем, а заступником. — Он хочет жить и защищается, как может. Создал мирок, в котором нет ни войны, ни смерти. Собирает пищу, потомство плодит... Так что же с ним делать?..»

Но на самом деле он уже все решил.

— Не буду я тебя расстреливать, — сказал Евсеев. — Руки об тебя марать не хочу. По твоей шкуре пусть разбирается трибунал. И если ты хочешь, чтоб тебе послабление сделали, завтра же сам пойдешь в комендатуру и все расскажешь. Ясно?!

— Я все зразумел, как скажете, обязательно пойду. — Глаза у Мыколы заблестели: он понял, что расстрела на месте удалось избежать.

Евсеев махнул устало рукой, посмотрел в окно и подумал: «Что толку говорить. Такие выродки есть и будут всегда. И с ними рядом придется как-то жить и после войны».





Он обернулся к сидевшей на пороге девочке:

— Тебя как зовут?

Она вопросительно посмотрела на отца. Он кивнул ей, и дочка ответила чуть слышно:

— Алена...

Евсеев хотел было спросить ее, в самом ли деле она бегала в тот вечер по указке отца, но передумал: «Разве она помнит, а если и помнит, какая разница? Фильку не вернешь. Пусть с этим суд разбирается, а я что хотел — узнал. Эту схему прямо и вложу в письмо тете Любе, пусть у нее будет». Он согнул листок с планом захоронения, засунул его во внутренний карман и там наткнулся на что-то металлическое: это был тот самый крестик, который он непроизвольно забрал у Семенова, — потрогал его пальцами и оставил на месте, в глубине кармана.

Евсеев резко встал.

— Так вас проводить? — услужливо предложил Мыкола, увидев, что Евсеев собрался уходить. — Можя, повечеряете? У меня рыба есть...

Евсеев свирепо глянул на него и заметил, что лицо Мыколы прямо на глазах стало покрываться красными пятнами. Тот сам почувствовал это, и оттого глаза его сделались злыми.

Но Евсеев не испытывал уже больше к нему никаких чувств. Нет, он не простил. Он отпустил. В эти самые мгновения в нем произошло нечто важное: словно каменная птица, крепко вцепившаяся в плечи и долго-долго давившая его, наконец, оттолкнувшись, спикировала восвояси, в свою мрачную страну. Теперь-то он отдохнет от бесконечной тревоги, жившей в нем. Ему сделалось легко, так легко, как не было, наверно, с самого детства. Евсеева даже потянуло улыбнуться, но он удержался.

Девочка замерла в проеме дверей, и Евсеев, проведя заскорузлой ладонью по ее жиденьким русым волосам, осторожно отстранил ее с дороги, чтоб пройти. Выйдя на крыльцо, остановился. «Ну и ладно, ну и хорошо, вот и все теперь, — выдохнул он. — Поеду после госпиталя на Вагу, а рапорт уж по возвращении напишу, никуда этот Пинчук не денется». Он огляделся и попробовал вспомнить тропку, по которой они с Филькой уходили тогда. «Кажется, вот она, — решил он, глядя на ведущую к оврагу совсем заросшую стежку. — Дойду до того места, где Филька Богу душу отдал, попрошу там у него прощения еще раз. Может, душа услышит». На самом деле Евсееву скорее хотелось самому что-то услышать — какие-то, быть может, придут в голову слова оттуда, из запредельного мира, если он, конечно, существует, — что-то главное, что может понять только он, ведь они же были больше чем друзьями. Что-то такое, о чем даже не нужно спрашивать — Филька это знает там, что ему, Евсееву, нужно услышать и с чем жить дальше, до самого конца, и сможет это знание каким-нибудь способом ему, Евсееву, сообщить. «А потом на кладбище надо сходить, могилу найти. Проверю этот его чертеж. — Уже шагая в сторону оврага, Евсеев нащупал бумажку в кармане. — Если наврал Мыкола, вернусь за ним и вместе пойдем искать. Потом схрон гляну. Потом в госпиталь. Надеюсь, надолго меня там не задержат. А потом поеду на Вагу...»

Он вдруг явственно представил, как Галчонок босиком бежит ему навстречу: мокрые волосы, сверкающие голубые глаза, капли на щеках. Как будто немного хмельная.

— Успела!

— Ты только из бани?

— Да...

Она взметнула струи своих волос, ее лицо расплылось в улыбке, и он увидел ее знакомый лукавый прищур.

— Ты совсем не похожа на галчонка, — сказал Евсеев. — Сегодня ты — лисичка.

— Подожди! — И в это мгновение ее взгляд сделался очень серьезным, даже строгим — стало ясно, что ей не до дурачеств: она с тревогой посмотрела куда-то ему за спину. Но страха на ее лице не было. Только отблеск вечернего солнца мелькнул в капле, выкатившейся из глаза.

— Что это у тебя? — Он вытер ее слезу и обернулся. Сквозь сумрак заметил, что на крыльце появилась чья-то тень с винтовкой в руках.

— Осторожно! — прохрипел Евсеев, сгреб ее обеими руками, стараясь прикрыть собой. Раздался выстрел, и вместе они повалились наземь.

В это мгновение ее влажные глаза в обрамлении длинных черных ресниц приблизились настолько, что он с необыкновенной четкостью увидел переливы голубой радужки, — и вот уже тысячи ручьев подхватили его и стремительно понесли в своих водах к величайшей тайне мира, что закрыта от нас черным диском зеницы, в таинственный колодец, куда от начала и до окончания веков стекают все впечатления мира.

И страх, когда падаешь и летишь в темноте, длится только одно мгновение, а дальше, словно за отдернутым занавесом, все изменяется во мгновение ока и начинается сначала: святой аист, молча парящий в небе, три предначинательных луча с востока и туманная долина, пронизанная золотым светом.



А ночью засветится тайнами
яблони облетание.

* * *

Когда не надо, все приходит сразу же:
автобусы, хорошая погода.
На улице то солнечно, то радужно,
но некогда идти куда угодно.

Когда не ждешь — заваливают письмами,
звонят для разговоров задушевных.
Несутся вести всполохами лисьими
по белой тишине моей волшебной.

Сидишь один, тоску спокойно празднуя,
вторая чашка — лишняя посуда.
И в прошлом видишь только распрекрасное,
а за окном — сиреневое чудо

пустых небес. И прочерк золотой...
Не за моей ли быстрою звездой?

* * *

Большая Медведица
сияет по контуру крыши
моего пристанища в Балыктуюле.
Морозный ноябрь!

Охотник,
морщинистый теленгит,
попросил меня сочинить
«Плач кедра».
В углу зимовья
зловеще башней торчит колотушка —
надо же как-то жить...
Но кедры плачут.

Балыктуюльский щенок —
серый пушистый комочек —
радуется мне
до визга, до дрожи, до голого брюха —
гладь!
Бросается под ноги,
варежки крадет и грызет,
но в дом не заходит.





Вырастет —
будет матерый охотничий пес,
а не комнатная собачонка.

Конь,
пойманный для меня
на балыктуюльских пастбищах,
где недавно
копытил он снег,
добывая траву,
этот мохнатый
коренастый гнедой —
Каря, Каря...
Не понимает сахара
и какие-то там шенкеля.
Отпускаю поводья...
Быстрым галопом по снегу, по снегу,
несет он мою зазвеневшую душу
навстречу Хану Алтаю.

В Чемале

Солнце все ниже и ниже,
склон выбирает — скатиться,
сосны оранжево лижет
выше чемальской больницы.

Даром не надо беспечной
жизни, но все же, но все же,
вечно бы жить на Бешпекской,
быть бы душою моложе.

Имя горы повторила
улица с краю Чемала,
где я мечтала, любила,
к звездам глаза поднимала.

В гриве сосновой Бешпека
скрылась от этого века.

Суетно что, а что важно —
в поезде вычислю скором.
Даже и сгинуть не страшно,
если за солнечным бором.

На Нижней Катуни

Настроили, нагородили —
не подойти к Катуни близко!
Себе местечко откупили,
а ты? Ты вычеркнут из списка

тех, кто коснется бирюзовой,
на камни теплые приляжет...
Здесь будет кластер образован.
(Вершины гор еще в продаже!)

Земля... Родимая, святая...
Но бизнес прибыльный в фаворе.
И будешь ты, певец Алтая,
отыскивать дыру в заборе.

* * *

Встречи назначенной чудо
в гуще вокзального гула...
Из никуда в ниоткуда
облако проскользнуло...

А ведь могли разминуться!
Страшно подумать — могли бы.
За облаками несутся
тени, быстры и пугливы.

К вечеру небо пустое.
Рощи качается веер.
Пепел дорожных историй
ветром событий развеян.

Все же не вечно дорогам
грохать да клацать плацкартно.
Хочется очень немного:
просто вернуться обратно.

Чтобы любили, встречали.
Чтобы приветное слово
над почерневшей печалью —
белое облако словно.

Сергей МЕЛЬНИКОВ

ЧЕРНАЯ СОПКА¹

Р а с с к а з

1.

В конце августа ударили заморозки, а уже в середине сентября на пожухлую, желтую траву лег первый снег. Зима в этих широтах приходит рано. Только-только выкопали картошку, но в полях еще сидели капуста, свекла, морковка. Когда чуть потеплело, жители поселка вышли на подхозное² поле убирать последний урожай. Разговоры велись в основном о хлебе — муку в Подъемный не завозили уже с месяц. У людей, конечно, были запасы круп: гречки, пшена, риса... Хлеба не было. Частенько вместо него пекли драники из картошки.

Слухи в поселок проникали один противоречивее другого. По всем меркам, в Подъемном не должно было случаться перебоев с продовольствием, ведь район обеспечивал край, да и всю страну лесом, золотом, богатством сибирской тайги. Краевое начальство давало разгон районному. «Илимками³ вывозим лес и пиломатериалы, а муку завезти не можем!» — бушевали в крае. По радио передавали о чем угодно, только не о жестокой засухе 1963 года. Целину подняли, но хлеба в СССР не хватало. Списывали это на происки империалистов. Народ же валил все на Никиту Хрущева, на его авантюру с кукурузой. По весне как-то завезли в поселок кукурузную муку и прошлогодние початки, но многие скормили все скоту — не привык наш народ к кукурузе.

— Тонька, а Тонька! Худоногова!

— Чего орешь, Матвей Иванович? Слышу я...

Матвей Иванович, бригадир подхоза, сворачивая самокрутку с махрой, крякнул и отдал приказание:

— Давай бери двух-трех бабенок, и шуруйте дергать свеколку! Не оставлять же это добро на зиму. И свово японца зови — поди, навозил уж воду в больницу... Антонина, слышь-ко, где твой японец?

¹ Из историко-художественного цикла «Русский исход». — *Примеч. авт.*

² *Подхоз* — подсобное хозяйство при промышленном предприятии. — *Здесь и далее примеч. ред.*

³ *Илимка* — большая лодка для перевозки грузов в периоды навигации.

Неподалеку в земле ковырялся Миша-китаец. Почему китайцы или японцы проживали у нас с именем Миша — неизвестно. Может, русская традиция такая — всех азиатов величать Мишами или Ванями. Ваня-китаец в поселке тоже был, развозил хлеб по магазинам, а в остальное время никому на глаза не показывался. У него был принцип: работы нет — сиди дома.

Миша-китаец имел характер скрытный, угрюмый, был жаден до денег и никому так просто в долг не давал. Говорили, что он еще в конце тридцатых годов перешел советско-маньчжурскую границу с отрядом хунхузов, а потом то ли отстал от них, то ли специально сбежал и завербовался на золотые прииски. После по болезни ушел оттуда и стал работать конюхом в Подъемном — на конном дворе, где насчитывалось около двухсот лошадей, которые являлись основной тягловой силой в поселке. Разговаривал Миша-китаец с причмокиванием, оголяя длинные, как у лошади, плоские, пропитанные махоркой зубы, и намеренно коверкал русские слова. Чай пил строго китайский, черный или зеленый; краснодарского не признавал, а от грузинского страшно плевался, называл его грузинским навозом. Потихоньку попивал русскую водочку, но пьяным его никто не видел.

Тонькин же японец, тоже Миша, по-русски говорил чисто, одевался опрятно, от работы не отлынивал — он возил на грузовике воду в больницу и кочегарку, которая эту больницу отапливала, — и в жадности замечен не был. В Подъемном его уважали, хоть и считали чужаком, как всякого иноземца.

Когда в октябре по речке пошла осенняя шуга, в пекарню пришли три машины с мукой. Уже в пятом часу утра у дверей образовалась очередь, и плохая погода не помешала. Здесь была и Тонька Худоногова со своим японцем, неподалеку пристроился в очереди и китаец. Вышла заведующая пекарней Танька Лопатина, объявила, что «с дверей» хлеб продавать не будет, не имеет права, и заверила, что в поселок идет еще несколько бортовых машин с разносортной мукой. Тонька просяще посмотрела на Татьяну. Та, поймав этот взгляд и заметив замерзшего, скукожившегося Мишу-японца, подошла к ней и взяла клеенчатую сумку из холодных рук.

В дверях пекарни появился здоровый, коренастый Федор Лопатин, законный Танькин муж. При виде Федькиной фигуры у Миши-китайца вдруг отвалилась челюсть, он жалобно что-то замычал. Федор бросил в рот папиросу, подошел к китайцу, хлопнул его по плечу:

— Ты, дядь Миш, шел бы лошадь запрягать. Хлебушек-то возить некому. Петруха Соловьев вчерась жрал водку до посинения, дак он седни не может возить, может нарушить правила дорожного движения! — и громко расхохотался.

Миша-китаец начал разводить руками, что, мол, сегодня и он не может возить.

Миша-японец дрожащими руками взял сумку с хлебом. И сжалился — протянул китайцу свежую буханку. Тот схватил ее обеими руками,



начал рвать своими длинными зубами, задыхаясь и роняя крошки в грязь. Иногда останавливался, смакуя вкусно пахнущий свежий, только что из печи, хлеб.

Из-за лесистой сопки нехотя вставало осеннее солнце, разгоняя острыми лучами мрачно-стальные тучи, и вдруг Миша-японец разглядел вдали на востоке гору не гору, сопку не сопку — какую-то возвышенность, что-то смутно ему напоминающую. Солнце поднялось еще выше — и та гора засияла, заискрилась, ослепительно загорелась миллионами звезд и рассыпалась мелкими блестками по небу...

Японец открыл глаза. Он спал стоя, всего мгновение.

Весна была ранней и дружной. С юго-запада Казахстана повеяли теплые ветры. В Подъемном совсем по-другому забурлила жизнь. Женский день отметили с размахом — в стареньком местном клубе, с плясками и песнями под гармошку, гитару и мандолину. В кинозале крутили узкоформатное кино, широкого экрана еще не было. У многих в домах имелись радиолы «Латвия», «Урал», у кого-то — старенькие «Даугава», «Заря», «Кама». Радиолу ставили на подоконник, на диск водружали пластинку, открывали окно — и улица взрывалась музыкой. И казалось, нет никакого горя и быть не может!

Федька Лопатин кинул самодельную антенну на крышу, и его радиола ловила на коротких волнах не только Москву и Красноярск, но и зарубежные радиостанции. Помог Федька и своему соседу Матвею Ивановичу в установке радиоантенны, и Матвей Иванович скрипуче смеялся, когда слышал иностранную речь. Телевидения в поселке не было, одна забава — кино да музыка.

Жили люди, жили и работали. Ремонтно-механические мастерские выполняли заказы для приисков и дражного флота. Вела исследования геологоразведка, работал кирпичный завод, пилорама. Подсобное хозяйство выращивало в полях картофель, капусту, свеклу, в парниках в небольшом количестве зрели огурцы и помидоры. Когда по весне вскрывались реки, из центра приходил караван барж с продуктами, топливом, техническим оборудованием. С предприятий района собирали бригады крепких мужиков и отправляли разгружать баржи. После грузы развозили по поселкам, приискам и драгам.

И внезапно, как гром среди ясного неба, пришла молва — с советско-китайской границы в район привезли трех военнослужащих в цинковых гробах. Пограничные стычки на границе начались задолго до конфликта на Даманском. Мужики, которые были в запасе, посмурнели, забеспокоились. Как-то враз умолкла музыка, народ ходил угрюмый и задумчивый.

У Миши-китайца, чей транзисторный приемник «Альпинист» свободно ловил на коротких и средних волнах китайские станции на русском языке, как-то враз выровнялась впалая грудь, разгладились на желтом лице морщины. Он стал чаще улыбаться и здороваться, даже денег давал в долг и говорил при этом:

— Когда будут — отдашь.



У Миши-японца в кадучке, где Тонька когда-то держала фикус, раскрылись бутоны на молодой вишенке. Тонька с Мишей пытались высадить вишенку в огороде, но она не прижилась, а вот в доме — засияла, зацвела и заблагоухала. Японец мог часами наблюдать за ее цветением. Нежные бело-розовые цветы напоминали ему далекую родину. В Японии, когда зацветает сакура, об этом даже сообщают по радио. Глядя на деревце, Миша мог забыть про работу, про свою «ласточку», про больницу. Очнувшись от красивого видения, доставал из ледника рыбу-чавычу, резал пластиками, наливал в рюмку самодельного sake, вешал на стену картину с видом горы Фудзиямы, расстилал голубой коврик, закрывал глаза и что-то напевал про себя. Тонька в это время старалась его не трогать и не занимать хозяйственными делами. Знала — бесполезно.

Миша-японец поднялся с коврика, поклонился Тоньке в пояс и протянул ей блюдце с нарезанной рыбой и стопкой домашнего sake.

— Выпей и закуси! — резко и гортанно бросил он.

Тонька в ответ тоже поклонилась:

— Благодарю тебя, Мариока-сан...

— Не повторяй больше этого имени, — с угрозой в голосе произнес Миша-японец. — Никогда! Слышишь?..

Было около десяти часов вечера, когда со двора послышался звук падающей поленницы. На пороге вырос Петруха Соловьев, возчик хлеба, за ним маячили еще две фигуры. Тех двоих Миша-японец уже видел, но не помнил точно где.

— Здоров, дя-я Миш! — громко рявкнул Петруха. — Привет, Антонина...

— Здорова, Петька, здорова! Чего нада?

— А че есть? — прищурился Петруха. — Мне б, дя-я Миш, денежек... рублишка два, а? С аванса ей-бо отдам...

— Два рубля дам, больше не дам! — быстро проговорил Миша-японец. — Получку-то пропил?

— Не-а, в дело пошла, — заверил его Петруха. — Вот, поиздержался весь. Да и каки таки деньги — так, мелочовка...

— Хорошо работать нада!

Миша полез в кошелек за деньгами. Из-за Петрухиного плеча появилось угреватое, с отеками щеками, лицо приятеля. Тот с некоторым удивлением уставился на тугой кошелек хозяина. Тонька сразу поняла, что дружки искали на опохмелку.

Миша-японец протянул Петьке два рубля: один бумажный, другой железный, с изображением Воина-освободителя со спасенной девочкой на руках. У Петрухиного приятеля аж глазенки заблестели. Тонька насторожилась. Лохматая рыжая лапа потянулась к семейному капиталу.

— Можя, ешшо дашь, а, дя-я Миш? Хоть рупь, а? — сделал жалостливое лицо Петруха.

— Нет, — заупрямился японец. — Нам вещи покупать нада.

— «Нада-нада»! — передразнил японца Петрухин приятель. — А нам выпить «нада»!

— Магазины закрыты, где возьмете? — влезла Тонька.

— Бражки с самогонкой у Петровны купим, — сказал Петруха.

— А не облюуетесь? — ехидно спросила Тонька. — Ты лапу-то опусти!.. Третий мужик встал в дверях, закрыв собой весь проем.

— Скока там у него? — угрюмо спросил он.

У Петрухи Соловьева вдруг забухало сердце. На явный грабеж они не договаривались. Он заканючил, загундосил:

— Вот... ребята приехали с вахты... с прииска «Блуждающий»... Завтра у них получка, завтра и отдадут...

Миша внимательно следил за каждым движением незваных гостей.

— У мужиков колосники горят. Дя-я Миш, добавь еще, а? — плаксиво упрасивал упрямого японца Соловьев.

— На! Больше не дам, — прорычал Миша и кинул в потную Петрухину ладонь замусоленный бумажный рубль.

Здоровяк внезапно перехватил кисть японца, сжал ее до синевы и потянул на себя. Узкое Мишино лицо побагровело, глаза стали совсем темными, в них заиграли бесы. Тонька наклонилась к топившейся печке за поленом, японец же сбросил домашние тапочки...

Тонька не поняла, что произошло. Она еще никогда не видела своего японца таким злым и таким сильным и яростным. Миша подпрыгнул на высоту своего роста — и здоровяк пал на колени, натужно хватая воздух, удивленно вращая поросычьими глазками. Но кошелек с деньгами из рук не выпустил. Потом он сделал глубокий вздох, опрокинулся на спину и задергал, как в припадке, обеими ногами.

Второй Петрухин приятель своим весом на лету вышиб дверь, что-то сбил в сенях, пересчитал ребрами ступеньки крыльца и ткнулся носом в застывший наст. Из его носа ручьем хлынула кровь.

Японец оглянулся на Соловьева:

— Еще рубль?!

У Петрухи враз куда-то ушло похмелье.

Здоровяка еле откачали. Зажав в кулаке данные японцем три рубля, собутыльники быстро ушли.

И все бы этим и кончилось, если бы слухи о стычке не дошли до ушей участкового милиционера Славки Богинского. Славка часто участвовал в межрайонных соревнованиях по боксу в полутяжелом весе и брал первые места. Он вызвал Мишу-японца к себе в кабинет в поссовете и долго разговаривал с ним. О чем — неизвестно. Но по поселку поползли слухи, что Миша учит Славку приемам японской борьбы карате.

Навозив воды в больницу и кочегарку, Миша-японец пошел в магазин купить хлеба. В очереди стоял Миша-китаец и чему-то бессмысленно улыбался — его щеку пересекал свежий кровавый рубец. Оказывается, это Тонька съездила его скрученной сеткой-авоськой по лицу. За что? За то, что он в очереди открыто заявил:

— Сора наша придет!

Ему напомнили в ответ: ваши, уж если и придут, то передохнут от жестоких пятидесятиградусных морозов.

Миша-китаец в ответ:

— Мы русских баб на утеплители для шуб пустим.

За что и получил от Тоньки по плоской морде.

На дворе был апрель 1969 года.

Невыносимое для сибиряков знойное и душное лето 1975 года.

В поселок Подъемный привезли фильм-катастрофу «Гибель Японии». Народу, что удивительно, собралось немного. В фойе ждал начала сеанса бодренький Миша-японец и с ним — изрядно постаревшая Антонина Худоногова. В зале Миша-китаец, иссохший, полусогнутый, с палочкой, примостился на сиденье с краешка.

Фильмы такого жанра почти не попадали на советский экран. Мощное цунами смывало города, взрывались цистерны на железнодорожных станциях, проваливались в бездну автомобили, падали небоскребы, корежилась и горела земля, и везде — огонь, черный дым, кровь и смерть под обломками...

После сеанса Миша-китаец подошел к Мише-японцу и сказал вкрадчиво:

— Скорая-скорая наша придет...

Миша-японец резко вскинул руку, сказал быстро и твердо:

— Скорее Токио скроется под водой, чем *ваши* в СССР придут! Погибнет Япония — сгинет и Китай... А там — и весь мир!

В марте 1979 года в поселок пришло телевидение, но люди все равно ходили в кино, так как по телевизору мало что можно было посмотреть — в Подъемном антенна брала только одну программу. Народу быстро поднадоели ударники коммунистического труда и шамкающий на трибуне Леонид Ильич Брежнев. Киносеанс в клубе теперь начинался в двадцать один час десять минут — сразу после телефильма — и длился до программы «Время».

Миша-китаец ушел в мир иной как-то незаметно и тихо. На следующий день его по-быстренькому похоронили. В загашнике у него нашли несколько тысяч рублей, почти половина ушла на похороны, остальные — неизвестно куда.

Миша-японец вышел на пенсию с пятьюдесятью двумя рублями в месяц, но работу не оставил и продолжал возить воду в больницу.

В середине семидесятых из продажи начали исчезать некоторые продукты: колбасные изделия, тушенка со сгущенкой, мясо. Говядину и свинину теперь продавали строго по прописке в паспорте. При этом никакого «застоя» в поселке не наблюдалось. Все так же дымили механический и кирпичный заводы, работал дражный флот, изысканиями занималась геологоразведочная партия, в подходе выращивали богатый урожай. Новая, построенная недавно скотоферма давала всему району молоко. Правда, местную теплоэлектростанцию закрыли, и теперь электричество получали из края. Частыми стали перебои со светом. Однажды



в Новый год поселок просидел без электричества двое суток. В таких случаях говорили: «Медведь поднялся из берлоги почесаться о столб».

В мае 1985 года Миша-японец серьезно заболел. И Антонина сдала, постарела. Ее однажды чуть не задавили в дежурном магазине в очереди за водкой. Она настаивала на водке лечебные таежные травы и поила этой настойкой своего японца. К началу лета ему стало получше и он стал чаще выходить на улицу — посидеть на завалинке, погреться на ярком, но еще совсем не летнем солнышке. А на дворе-то — июнь!

Девятого июня внезапно пошел снег, перейдя затем в мелкий и противный дождь. А десятого было уже плюс двадцать девять! Вот и пойми эту погоду...

Миша-японец не мог долго работать в огороде, так что пласталась теперь одна Антонина. У Миши болели ноги, болело сердце, болела душа, предвещая что-то нехорошее. Он вешал на стену картину с видом Фудзиямы и долго смотрел на нее, вспоминая что-то.

— Говорят, караван большой из Красноярска пришел с вином и водкой, будут в «дежурке» давать по две бутылки портвейна и по две — водки в одни руки, — по-молодому, без умолку тараторила Антонина. — Можя, купить?

Миша-японец только кивнул.

— «Кавказ» иль «Три семерки»?

— Все равно.

— А на улке-то теплынь... Плюс восемнадцать градусов, — продолжала Антонина. И вдруг тревожно спросила: — Ты куда-то собрался?

— Пройтиться мне нада... Плохие сны стали сниться что-то...

Антонина поняла, что ее Миша болен серьезно.

Вокруг мехмастерских по всему периметру тянулся высокий дощатый забор с проржавевшей колючей проволокой. Посередине завода — стальная, метров сорок с лишком, труба котельной. На фасаде первого корпуса мастерских из белого кирпича было выложено: «1949». Напротив завода, через грунтовую дорогу, — открытый карьер, где брали глину для кирпичей, а на вершине того карьера, на горе, в густом ельнике — заброшенное кладбище японских военнопленных, живших и работавших когда-то в Подъемном. Могилы с погнутыми и раскуроченными памятными знаками заросли и провалились, на поверхности валялись сгнившие доски гробов, человеческие черепа, разрозненные кости. Сюда частенько наведывалась местная шпана, разрывала могилы, надеясь на какую-нибудь ценную находку.

Здесь где-то была могила Сато Юкио, капрала пехоты императорской армии Японии. Миша старался никогда не вспоминать прошедшие годы, но память гнала его сюда все чаще и чаще. Загадочная память человеческая...

Если бы не Тонька Худоногова, лежать бы Мише, лейтенанту Мариоке, рядом с капралом.

Сидел он на ярком солнышке, расстелив на гладком, будто отполированном, валуне газету, с бутылкой водки, свежей черемшой,

раскрытой банкой сайры, хлебом. С этой точки был виден почти весь поселок Подъемный. Миша-японец всматривался в таежный горизонт, смотрел на восток, где каждое утро вставало красное солнце. Жизнь-то, она дорога дальняя — то прямая, то с неожиданными поворотами. Давно, очень давно отцвела и погибла его сакура у подножия горы Фудзиямы...

Он вдруг внутренним чутьем почувствовал сзади опасность и медленно, как его учили в императорской армии, повернул голову. Боковым зрением заметил: на него прет настоящий таежный волк. Японец хорошо рассмотрел его ребра — округлые, выпирающие. Голодный и здорово вылинявший зверь, однако, не нападал на человека, будто чего-то выжидая. Он лег на свежую, пахучую траву, положил морду между передних лап. И неожиданно, заскулив, стал покусывать травку и медленно подползать к человеку.

Японец успокаивал себя: нет, такой отощавший зверь вряд ли нападет. Волк поскуливал и голодными желтыми глазами как бы укорял Мишу. Он просил помощи! Слабых гонят из стаи, ведь они не приносят добычи. Миша бросил в его сторону кусок хлеба — и волк, подпрыгнув и поджав хвост, стремительно скрылся в тайге. Вот вам и волчья слабость!

По косогору поднимался человек. Миша в последнее время плохо видел, глаза стали подводить, но эту фигуру он узнал бы из тысячи.

Иван Будник, заметив японца, как бы споткнулся, стал сучить пальцами в кармане, никак не мог достать пачку «Беломора».

«Грехи замаливать пришел», — подумал Миша. А может, Будник увидел, что он поднимается к кладбищу японских военнопленных, и пошел за ним, надеясь на опохмелку? Пил Иван по-черному, особенно после горбачевско-лигачевского указа. Крохотную пенсию пропивал начисто, иногда забывая купить продуктов в дом, сидел без денег и без хлеба. И это несмотря на то, что водку было трудно купить — ежедневно к часу дня у дежурного магазина уже выстраивалась очередь жаждущих и страдающих человек в пятьдесят.

— Здорово, самурай! — небрежно и недоброжелательно поздоровался Будник.

— Здорова, Ванька... Чего нада?

— Сначала налей.

— Пей, мне не жалко. — Японец налил ему «Пшеничной» в граненый стакан, больше половины.

Будник быстро опрокинул водку, погладил себя по животу, произнес тихо:

— Пошла, родимая...

— Чего пришел, Иван? Совесть заела?

Сколько жил Иван Будник в Подъемном, всегда старался обходить японца стороной и не смотреть ему в глаза.

— Сны стали страшные сниться... почему-то...

— Водку нада жрать меньше, — с укором в голосе сказал Миша-японец.

— А ты чего притащился сюда? — Будник начал приходить в себя.



— Товарищей по лагерю вот вспоминал. И тех, которых ты, Иван, лично расстреливал.

— У меня приказ был.

— Не ври! Как это у вас, у русских, говорят: умел сплеховать — умей и ответ держать?

— Ишь ты, смелый какой! Да ежели бы не Тонька Худоногова...

— Не трогай Тоньку! — грозно рявкнул Миша-японец. — Не тебе, собаке, судить ее!

По вершинам деревьев прошелся сухой и теплый ветерок, от поселка запахло дымом. Из тайги выскочила большая стая тощих и облезлых, вылинявших волков.

2.

...Медленно краснел восток. Морозный туман покрывал все пространство. Рассвет почему-то долго не приходит. Может, он вообще не придет и люди будут жить в темноте?

Чем дальше удалялся состав на запад, тем медленнее вставало багровое солнце. Сквозь узкую щель скрипучего, разошедшегося вагона он почти ничего не видел в бескрайней темной ночи. На станциях мелькали одинокие огоньки, раздавались окрики и команды конвойных, лай злющих овчарок. Пленных везли в неизвестность. Печки, сделанные из железных бочек, вагон не обогревали. Японские солдаты и офицеры жались друг к другу, стараясь сохранить остатки тепла. В Иркутске умерли сразу десять человек: заснули и не проснулись. Окоченевшие тела конвойные вытаскивали уже в Тайшете, свалили прямо на рельсы, потом побросали в грузовик и увезли.

Кацу Мариока, военфельдшер, осматривал каждого в своем в вагоне. Его очень беспокоил капрал Сато Юкио, кашлявший кровью. Но после осмотра выяснилось — у капрала просто кровоточили десна и выпадали зубы.

На одной из станций в вагон бросили зачерствевшую буханку хлеба, головку чеснока и несколько луковиц:

— На, лови, япона мать!..

Мариока очистил один зубчик чеснока и дал капралу, наказав, чтобы тот сразу его не глотал, а положил под язык и стараться высасывать сок.

Кацу Мариоку призвали с медицинского факультета Токийского университета, где он учился на фельдшерском отделении. Забрали в начале 1945 года, можно сказать, прямым с лекции. Попал он в спецбатальон, который гулял по китайским тылам, взрывая мосты, устраивая засады, уничтожал китайских командиров и при удачном исходе дела выходил к своим. Мариока вытаскивал из раненых пули, извлекал осколки, вскрывал гноящиеся раны, отпиливал ноги и руки. К лету в их батальоне насчитывалась едва ли сотня человек.

В начале августа, после пополнения, батальон перебросили в Маньчжурию. И девятого августа утром такое началось!.. Пришлось им всем забыть о диверсионных операциях и драться как обыкновенным





пехотинцам. Каким-то образом русские танки оказались в тылу батальона, и здесь Мариока впервые увидел русских солдат. Он убил двоих, а на третьем выстреле «арисаку» заклинило. Кацу еще успел выхватить из кобуры восьмизарядный «намбу» и сделать несколько выстрелов. Но тут его сзади ударили прикладом ППШ и оглушили.

Потом его, бесчувственного, куда-то волокли по земле. Было совершенно нечем дышать, пыль забивала легкие, и он вскоре очнулся от собственного натужного кашля.

Русские кормили пленных хорошо: в обед давали горячее, в остальное время — воду, хлеб, комковой сахар, курящим — папиросы. Во Владивостоке военнопленные узнали об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. В группе, где находился военфельдшер Мариока, были солдаты и офицеры из этих городов. Они очень тяжело переживали случившееся, и некоторые пытались сделать себе харакири. Их останавливали другие пленные, восклицая:

— Кто же будет восстанавливать и отстраивать Японию после войны?! Мы в плену, но мы живы! Мы должны вернуться!..

Колеса состава снова медленно и равномерно застучали на стыках. Рассвет удалялся, и солнце никак не хотело показываться на горизонте. Будто солнца и не было вовсе. Снаружи стояли морозы за минус тридцать. Мариока и представить себе не мог, что в Сибири так жутко холодно. Однажды в части они рассматривали карту мира, и на ней Великая Япония простиралась до Байкала. И вот — Байкал уже проехали. Сержант из конвоя проговорился, что они подъезжают к городу Канску.

Тяжело, со скрипом, открылась дверь вагона. Конвойные осветили внутренность фонариками.

— Дохлые есть?

Японцы не сразу поняли вопрос.

— Умершие есть, япона мать? — рявкнул мордатый сержант.

Мариока знал, что такое «япона мать»: он уже сносно понимал по-русски и говорил, хоть и с сильным акцентом. Он отрицательно замотал головой.

— А жаль! — оскалился мордатый. — Я бы вас всех...

Мариока выступил вперед.

— Я — лейтенант медицинской службы, военный фельдшер, — заторопился он. — Нам бы отвара из лука или чеснока...

Сержант его понял.

— Передам начальству, — буркнул он и задвинул дверь вагона.

За Канском состав снова остановился. Пленным в вагон успели забросить два ведра угля и сломанные деревянные ящики. Японцы быстро растопили железную печку. От тепла Мариоку потянуло в сон. Приснилась гора Фудзияма с подножием, которое все было покрыто цветущей сакурой. Мариока чувствовал дыхание и запах Фудзиямы.

Спал он всего ничего, проснулся от резкого толчка. О, богиня Аматаэрасу!⁴ Солнце, его красное солнце показалось над сибирскими горами!

⁴ Аматаэрасу — японская богиня солнца, божество синтоистского пантеона.

Завизжала-заскрипела дверь.

— Начальство разрешило выйти поразмяться, — сообщили неожиданную новость конвойные. — У кого есть ценные вещи, их можно обменять на продукты. У кого деньги — вон магазин.

Денег, понятно, ни у кого не было, про магазин нечего было и думать. А есть, конечно, хотелось здорово.

У вагонов стали потихоньку собираться местные жители. Они с опаской косились на военнопленных. Кто жалел изможденных бедолаг, кто открыто презирал.

Из ценных вещей у Мариоки были только наручные часы, бензиновая зажигалка и... все. Ему за них дали объединенную крысами свеклу, немного мерзлой картошки, хлеба, сахару, головку чеснока и две большие луковицы. Мариока разжевал чеснок и дал капралу Сато Юкио — у того по-прежнему гноились десна, и он без конца сплевывал кровавую слюну. Вдобавок капрала знобило, и Мариоке пришлось просить лекарства у дежурного фельдшера состава. Получив пару пакетиков с порошком желтого цвета, Мариока развел снадобье водой и дал выпить капралу. Вскоре Сато Юкио успокоился и уснул.

Морозный туман стоял над тайгой. Поседевшие горы отливали красно-фиолетовым, деревья закуржавели, и куржак осыпался, лишь когда на ветки садились передохнуть вороны, громко каркая, предвещающая кому-то беду. Хоть картину пиши, думал Мариока, глядя на эту первозданную красоту сквозь узкое окошечко вагона. Будучи еще подростком, он увлекался рисованием и живописью и теперь старался запомнить зимний русский пейзаж.

...Три месяца шел по Транссибу от Хабаровска до Красноярского края состав с японскими военнопленными. Сколько на этом пути было похоронено японцев — неизвестно. Если где-то и есть данные, то наверняка неполные. Питались по пути тем, что давали местные жители, — русский народ отходчив и к побежденным жалостлив. К тому же в Сибири не было такого голода, как в Центральной России, которая после войны лежала в руинах.

Состав вдруг резко затормозил, и от этого толчка чуть не сошла с кирпичей железная печка. Конвойные приоткрыли дверь, чтобы проветрить вагон. Мариока уже не только понимал разговорный русский, но и знал некоторые буквы, умел складывать их и читать по слогам. Прочитал вывеску на станции: «Зыково». Подняв голову, он остолбенел — перед ним встала новая Фудзияма, только в уменьшенном размере. На этой горе почти не было снега, он лежал лишь местами. Может, это сибирский вулкан? На склонах преобладал темный цвет, силуэтом и очертаниями гора здорово напоминала символ Японии.

Несмотря на мороз, здесь тоже стали собираться люди, с удивлением присматриваясь к иноземным солдатам.

— Худющи-то каки, ужась!

— Не кормили их, што ля?

— Э, навоевались, видать, бедняги! Зачем они здесь-то нужны?

— Работать их везут и... подыхать.

— Ндравятся тебе японцы, Валюха? Вот выйдешь замуж за японца, будешь одних япошек рожать! Га-га-га!

— У меня скоро муж с Германии приезжат, недавнось письмо получила, — степенно отвечала Валюха на дерзкие вопросы.

— Ну-ну!

Веселые, видать, местные жители. И ничего их не берет: ни голод, ни мороз, ни война, ни полуголодное житье.

— Эй, японец! Жрать хошь?

Мариока вздрогнул, повернул голову. Жестом дал понять, что плохо знает русский, и рукой показал на гору.

— Хочешь, значит, пройтись на Черную сопку? А че тебе там надо? Подснежникам еще рано, — ворковала Валюха, с интересом присматриваясь к Мариоке. А потом спохватилась: — Люди, да подайте им чего-нибудь, они же голоднющие! И замерзли все, глядите-ка! Помрут, пока доедут...

Тащили кто что мог: драные полушубки, рваные вязаные свитера, стоптанные валенки — и хлеб, квашеную капусту в банках, соленую черемшу. Какой-то мужик бросил в вагон нечто похожее формой на гранату, завернутое в широкий шарф. Когда развернули, оказалось, что в шарфе пузатая бутылка с мутной, молочного цвета жидкостью. Мариока сразу спрятал ее за печку и прикрыл тряпьем: прознают конвойные — худо будет.

Он кланялся и все приговаривал:

— Ариготэ, ариготэ! Онэгай симасу...⁵

И вдруг не стало у него голоса. Только обветренные губы шептали слова благодарности.

Солдат-японец лет пятидесяти, рядовой второго класса, дал Мариоке тридцатиграммовую мензурку. Фельдшер поблагодарил его кивком головы. Налил самогонки в мензурку, потом из нее — в алюминиевую чайную ложечку и дал капралу. Сато Юкио натужно закашлял, вытаращил глаза и неожиданно для всех стал непотребно ругаться.

— Еще? — спросил Мариока.

— Совсем... как наше сакэ... лейтенант! — выдал из себя капрал.

— Значит, жить будешь.

Мариока еще в Хабаровске пытался выведать конечный путь назначения у начальника состава. Но тот, по-видимому, тоже не знал, где их высадят, только напомнил, что они едут не на прогулку. Оказалось, что остановка на станции Зыково была вызвана расстыковкой рельсов и ослаблением болтов на стыках. Из города приехало начальство, думали-гадали — не диверсия ли? Но от таких морозов и рельсы будут гнуться — ночами ртуть в термометрах опускалась ниже сорока градусов.

...И вот он, большой сибирский город, скрытый в густом морозном тумане. Состав тянулся медленно, неуклюже. Японцы тревожно прислушивались к звукам, доносившимся снаружи. Вскоре послышались окрики конвоиров и злобный, захлебывающий лай волкодавов. И тишина почти на сутки.

⁵ Спасибо, спасибо! Вы очень добры... (яп.)



Пленные съели все, что у них было, лишь вода во фляжках еще оставалась. Потом выяснилось, что несколько вагонов отцепили и согнали в тупик, что встревожило еще больше. По вагонам начали ходить люди — военное и гражданское начальство пересчитывало и переписывало приехавших. Трудным и хлопотным оказалось это дело. Переводчики путались в японских выражениях, а пленные почти не знали русского, за исключением нескольких дежурных фраз. Сато Юкио еле-еле подняли с пола. Записывали поименно, спрашивали у каждого год рождения, где воевал, род войск, гражданскую специальность и не стрелял ли он в русских солдат, чем переболел в детстве и не имеет ли в настоящее время заразных болезней.

...В накуренном помещении за столом с кипами бумаг сидел смуглый капитан, напротив был еще один стол, где стояла пишущая машинка и лежали листы с уже напечатанным текстом. Тускло горела электрическая лампочка, в сложенной из кирпича печке трещали березовые поленья, на припечке примостился пузатый чайник с кипятком, возле него — две большие алюминиевые кружки. От них пахло сладко и приторно, Мариоку чуть не затошнило от этого запаха.

За пишущей машинкой сидела женщина неопределенных лет, с черным пушком над верхней губой, вида весьма строгого. Мариоке она не понравилась. На левой стороне ее гимнастерки блестели три медали, на правой — орден Красной Звезды и желтая нашивка за ранение. Мариока понял, что эта женщина где-то воевала, раз имеет награды. На плечи ее была накинута новенькая — видать, только с вещевого склада — фуфайка, на ногах — высокие, до колен, валенки.

Женщина вставила в каретку пишущей машинки два листа с копиркой между ними, нервными пальцами вскрыла пачку «Казбека» и сунула длинную папиросу в рот.

— Отвечать на вопросы четко, ясно и понятно, — сказал капитан и раскрыл папку с чистыми листами. — Наш с вами разговор будет фиксироваться печатно и письменно.

И неожиданно для Мариоки посыпались вопросы на его родном языке. Оказывается, усатая женщина неплохо говорила по-японски.

Где-то в середине разговора Мариока прервал капитана:

— Это допрос? Я вижу у вас бланки с графами...

Капитан направил свет настольной лампы в лицо японца.

— Это пока опрос, а не допрос. Беседа, так сказать... Итак, стреляли ли вы в советских солдат?

Что он мог ответить?

Капитан чесал затылок и бесконечно зевал.

— Ну куда же мне вас определить, военфельдшер? На юг поедете или на север? Сейчас в городе образуются два лагерных управления, и все будет решать спецкомиссия...

При слове «север» Мариока вздрогнул. Он уже познал погодные условия Сибири. Получается — еще севернее повезут?!

— Лес, лейтенант, валить некому, понимаете? Производство восстанавливать. Много русских мужиков с фронта не пришло. Скоро вас помогут, побреют, подстригут... и по лагерям.

— Я никогда не вернусь в Японию? — беспокоился Мариока.

— О возвращении вас на родину решается не мной, а там... — тыча в потолок пальцем, устало сказал капитан.

Три вагона, отцепленных от состава, таким образом оказались временным жилищем для рабочей роты японских военнопленных. В этой роте оказался и Мариока — в качестве доктора. Привозили пиломатериалы, строили дощатые бараки с высокими, двухрусными нарами. Два барака было построено за неделю. Их в два периметра оцепили колючей проволокой, поставили по углам вышки с охранниками, вооруженными ручными дисковыми пулеметами Дегтярева.

Вскоре Мариока добился, чтобы Сато Юкио перевели в городской госпиталь. Оттуда в морозную и ясную погоду была хорошо видна вершина Черной сопки.

Перед Новым годом морозы чуть отпустили и в лагере начали строить отдельный, утепленный барак для пленных японских офицеров. За зиму японцы построили несколько брусовых и кирпичных двухэтажных домов для рабочих двух местных заводов. Умерших военнопленных заменяли вновь прибывшими. Кладбище располагалось рядом, за периметром лагеря.

Рабочая рота в связи с пополнением переросла в рабочий батальон. Здесь появился новый начальник с баронским титулом — подполковник Такеши Курода, пехотный офицер, на гражданке занимавшийся геологоразведкой на Южном Сахалине. Барон Курода гордился тем, что он первым открыл там несметные залежи нефти.

Ему говорили:

— Но ведь сейчас Сахалин находится в руках русских!

Барон спесиво отвечал, что русские не смогут распорядиться нефтью и что у них в настоящее время экономическая база ни к черту. Русские вообще не умеют мыслить экономически и смотреть далеко вперед.

— Но все равно, — говорил барон, — я русских уважаю — как храбрых и смелых воинов. Они выиграли эту проклятую войну.

Постепенно милитаристский дух у Куроды начал испаряться, и как-то он заметил:

— Пока жив Сталин, русский народ будет силен, а дальше — время покажет.

«Он еще и философ», — подумал Мариока.

Барона поставили во главе рабочего батальона. Теперь он каждый вечер отчитывался перед начальством о выполненной за смену работе.

Батальон разбили на роты, взводы, отделения и звенья. Весной начали строительство кинотеатра под названием «Радуга». Когда закончили, японцев сводили на фильм «Волочаевские дни». После небольшого перерыва показали немой фильм «Броненосец «Потемкин»».

По возвращении из кинотеатра их ждало многочисленное пополнение. Новеньких даже некуда было размещать — все нары были заняты. Пришлось дополнительно сшивать еще одни — посередине прохода, где стояли железные печки.





Пришла та самая усатая женщина и переписала новоприбывших. Мариоке она приказала осмотреть их всех на наличие болезней. К вечеру Мариока в сопровождении конвоя повел новичков в русскую баню. У одного на теле он разглядел странные волдыри красноватого цвета, совсем непохожие на обыкновенные фурункулы или, как их называют русские, чирьи. Впрочем, чувствовал себя этот пленный сносно и ни на что не жаловался. Опасны ли эти пятна и каково их происхождение, Мариока не знал. А через два дня за этим пленным приехали из городского военного госпиталя. Мариока начал догадываться — возможно, солдат был подопытным в исследовательском центре «Отряда 731»⁶.

Вскоре нагрянула большая медицинская комиссия. Выгнали всех на построение и заставили раздеться до исподнего. Среди японцев пронесся слух, что их готовят для каких-то опасных экспериментов, связанных с секретным бактериологическим оружием. Барон Курода попросил личной встречи с комендантом, капитаном Новиковым. Тот его успокоил — у комиссии и в мыслях не было делать отбор пленных для опытов.

Медики ходили по баракам, переворачивали соломенные матрасы, посыпали хлоркой и опрыскивали дезинфекционным раствором стены и полы. Старший лагерный врач записывал распоряжения комиссии в особый журнал. Капитан Новиков, нервный и злой, покрикивал на подчиненных и жадно курил.

Хотя условия на стройке были наитруднейшими, а техника безопасности почти не соблюдалась, все же, кроме пневмонии, цинги и обычной простуды, у обитателей лагеря ничего выявлено не было. А к весне начальство постаралось улучшить им питание, закупая овощи у местных жителей.

Сибирь в военные годы не испытала такого голода, как Центральная Россия. В пригородных поселках и деревнях выращивали картошку, репу, свеклу, лук, чеснок, капусту. Кустились малина, смородина, облепиха, росли деревца яблонь-ранеток. Кормила тайга, бесчисленные озера и речки были полны рыбы. Многие крестьяне держали коров, овец, гусей, кур. Власть не выгребала у людей последнее, зная: если попросить для нужд фронта — те сами отдадут бесплатно, да еще с прибавкой.

Неподалеку открылся стихийный рынок. Торговали, обменивали одежду, продукты, галантерейные товары, семечки в кулях, а из-под полы — и драгоценности, нехитрую бижутерию, мыло, керосин, спички. В рыночной толпе шныряли подозрительные типы, оценивающе приглядываясь к товару и покупателям.

Однажды Мариока в сопровождении двоих конвоиров — сержанта Будника и ефрейтора Карымова — отправился по приказу капитана Новикова на этот рынок прикупить овощей для лагеря. Делали упор на лук

⁶ «Отряд 731» — специальный отряд японских вооруженных сил, создавший исследовательский центр на территории Маньчжурии, где проводились опыты на людях с целью выявить пределы выживаемости человека в экстремальных условиях и разработки биологического оружия. Подопытных (военнопленных, похищенных местных жителей) морили голодом, замораживали живьем, опускали в кипяток, заражали смертельными болезнями и т. п.

и чеснок. Начальство выделило кое-какие деньги. Мариока попросил дать ему помощника — одному тяжело везти тележку с овощами.

Пошли вдоль рядов. Прямо на сырой земле сидел инвалид с костылями и, раскачиваясь из стороны в сторону, что-то гнусавил о своей трудной судьбе. Сердобольный народ бросал ему в кепку медяки, горбушки хлеба, кусковой сахар. Поодаль другой калека выводил что-то заковыристое на трофейном немецком аккордеоне. Можно было разглядеть в толпе милиционеров, наблюдающих за порядком, здесь же толкался и военный патруль. Мариока прислушивался к русской речи, старался понять разговоры.

— Табачка не хошь, японец? — обратился к нему обросший бородой мужик, протягивая кулек с самосадом.

Мариока оглянулся на Будника с Карымовым. Те позволили.

— Папиросную бумагу еще пожалуйста, но уже за отдельную плату, — предложил тот же мужик. — Газетная бумага, она ведь вредная — в ней и свинец, и цинк... Легкие потом хрипеть будут, вона как!

— Нада табак, нада, — подтвердил Мариока по-русски.

— О, по-нашенски бурчит япошка! — заулыбался мужик. — Вот бы тебя к нам на огород нонче поработать! Дюже вы народ трудолюбивый, слыхамсь...

— Табак нада, курить, — тоже улыбался Мариока.

Но мужик уже повернулся к Буднику:

— Слышь-ко, вертухай! Ежли им не хватает витаминов, пусть они за черемшой в тайгу идут, счас самое время... Натe, вот вам! — И он откуда-то вытащил крупный пучок свежих, остро пахнущих листьев. — Бесплатно отдаю на пробу, а то они у вас совсем без зубов останутся...

— Ну, ты! — оскалился вдруг Будник. — Не лезь куды не следует!

— Ишь та-а! Какой грозна-а-ай! — захохотал бородатый.

Неожиданно в лагерь вернулся капрал Сато Юкио. Подтянутый, порозовевший, он улыбался и, кажется, был доволен жизнью. Мариока осмотрел его и, не найдя противопоказаний по здоровью, дал назначение пока на легкие работы.

В воскресенье снова пошли на рынок закупать овощи. В этот раз Мариока попросил в помощь еще и капрала.

Казалось, что людей на рынке стало больше. Будник с Карымовым не отставали ни на шаг. Тот бородатый мужик куда-то исчез; Мариока хотел в очередной раз разжиться у него табачком — сибирский самосад показался военнопленным особенно вкусным и крепким. Задыхались, правда, кашляли, но курили.

— Капуска, капуста-а-а, квашена-а-ая! Беритя-а-а...

Будник понюхал банку с квашеной капустой у тощей торговки, чуть не задев навес винтовочным штыком, и поморщился:

— С гнильцой капуста твоя.

— Врешь ты все, вертухай! — рывкнула на него баба-торговка. — Сам, поди, никогда в земле не копался... Ишь, харю-то отожрал на харчах казенна-ах!..



Сержант Будник был не готов к такому отпору и от неожиданности отпрянул от самодельного прилавка.

— Пшли дальше! — скомандовал он.

Неожиданно сзади раздались истошные бабьи крики:

— Дяржитя яго, дяржи-и-итя-а! Ахти мне...

Мимо них, расталкивая толпу, протискивались два человека, у одного из них в грязной волосатой руке был зажат револьвер.

— Дорогу, дорогу, сволочи! Застрелю к такой-то матери! — Бандит выстрелил вверх.

У второго налетчика за спиной виднелся большой мешок, по-видимому с краденными вещами.

Толпа завизжала, и людей будто ветром сдуло, образовалось открытое пространство. Будник пытался сорвать винтовку, но это у него не получалось. И вдруг у второго налетчика из кармана посыпались кольца, цепочки, еще что-то из драгоценностей — карманчик оказался дырявый!

— Убью! — дыхнул на Мариоку чесноком первый грабитель, показав прокуренные желтые зубы. А второй быстро-быстро стал запихивать драгоценности обратно в карман.

Рядом истошно завопили бабы:

— Дезертиры из тайги выходят, дезертиры! Им в тайге счас жрать нечего! Весна ведь...

Это слово Мариока уже знал. «Дезертир» значит «изменник, предатель». Сам он, сколько служил в императорской армии, предателей там не наблюдал, ни у кого и в мыслях не было изменить родине и императору.

Народ на рынке орал, визжал и разбегался в разные стороны от греха подальше — не дай бог, привлекут как соучастника. Пуля из револьвера прострелила колено какой-то женщине — та страшно заверещала. Мариока, бросив тележку с овощами, в три прыжка догнал стрелка и особым приемом выбил у него оружие. Револьвер, описав в воздухе дугу, упал на открытый прилавок, отскочил, и его тут же подхватил какой-то бойкий мужичонка. Налетчик согнулся, как в поклоне, упал на колени, и Мариока нанес ему сокрушительный удар ребром ладони по шее, так что у того брызнула кровь изо рта. Второй грабитель куда-то исчез.

Будник с Карымовым замороженно наблюдали за схваткой японца с русским бандитом. Опомнившись, они навалились на последнего и стали заворачивать ему руки назад. И как это худой полуголодный японец справился с крепким таежным мужиком?

— Посчитаемся... Я тебя запомнил! — выплюнув несколько зубов, прошамкал бандит.

— Да они все у нас в лагере на одну морду, — ощерился Будник, держа его под прицелом винтовки, — узкоглазые...

— Да не скажи, вертухай. У него харя-то японская, а глаза — русские.

И действительно, глаза у Мариоки были темно-карие, но не узкие — встретишь такого на улице и не скажешь, что он японец.

Вскоре появились милиционеры и увели связанного налетчика. Будник, покосившись на Мариоку, сказал:

— Думаешь, тебе поблажка какая-то будет? — И сам же пожал плечами. — Не знаю, не знаю...

О происшествии доложили наверх... что на стихийном рынке с помощью двоих конвойных лагеря японских военнопленных был задержан особо опасный бандит. Про японского же «милитариста» даже не упомянули. Вечером в лагере было общее построение — распределяли на работы в понедельник и объявили благодарность за бдительность Буднику с Карымовым. Мариока только поморщился, точно от зубной боли.

Он принес лагерному начальству список легкобольных — просил их освободить от тяжелых работ на стройке и кирпичном заводе. И тут же, при нем, пришла разнарядка сверху: жители окрестных поселков просили выделить благонадежных пленных им в помощь для копки огородов и постройки теплиц.

Мариока не захотел сидеть в медицинском кабинете и попросил Новикова отправить его в поселок.

— А не убежишь? — Новиков кольнул фельдшера взглядом.

— Некуда бежать. Далеко, — коротко ответил Мариока.

— Я тебе доверяю, господин лейтенант, — неожиданно признался Новиков. — Тебя отвезут в поселок Торгашино, там хозяевам надо вскопать огород и посадить картофель. Но к десяти часам, к вечерней поверке, чтоб был как штык, понял?

— Понял, господин капитан!

Хозяева, к которым отправили Мариоку, жили в достатке, несмотря на недавно прошедшую войну. Японец оценил это с первого взгляда. Бревчатая изба, хозяйственные постройки, домашний скот: корова, несколько овец, куры, гусиный выводок. Ухоженный двор — видна заботливая хозяйская рука. Возле избы неприметно прилепилась банька — не отличишь от жилой пристройки.

Хозяин, Яков Иванович Злобин, сидел на длинной лавке, усталой вязаными ковриками, и смолил самокрутку. Мариока с Будником чуть не задохнулись от горьковато-сладкого дыма самосада. Фельдшер уперся взглядом в давно не крашенный пол, чувствуя себя здесь неудобно. Ведь он им все-таки враг... Но через пару минут неловкость стала пропадать, он принялся осторожно, точно вор, обшаривать глазами внутреннее убранство избы. По-видимому, недавно сложенная печь с чугунной плитой, кружками и припечком. Посередине большой комнаты — чистый ножом до блеска стол без скатерти. На столе — обыкновенный графин, пустой. На восточной стене, в углу под потолком, — несколько икон со святыми. Над ними свисает лампада.

— Накурил-то, хучь колун вешай в избе! Ты чего, старик?..

Пришла хозяйка — невысокая сухонькая женщина в наглухо завязанном платке, из-под которого выбивалась непокорная седая прядка. Старушка была одета в рваную и прожженную в нескольких местах фуфайку, на ногах — стоптанные кирзовые сапоги.



Мариока учтиво поклонился, коснувшись ладонями своих колен.
— Драсьте-драсьте, добры люди! — поздоровалась хозяйка. И сходу: — Ну, японец, чего умеешь делать?

Мариока вопросительно уставился на Будника.

— Землю, спрашивает, копать умеешь ли?

— Пушшай в окошко глянет, скоко соток. — Старушка жалостливо покачала головой. — Не помрет от трудов таких?

— Мне бы помощника, — попросил Мариока.

— Ладно, — согласился Будник, — спрошу у начальства.

— Тридцать соток огородец-то вместе с грядками и теплицами... Сдюжит ли тощий японец? — проворчал Яков Иванович. — Ладнось, я тоже помогать буду.

— И не вздумай! — замахала руками хозяйка. — У тя вон ноги больны, отказывают частенько... — Она повернулась к Мариоке: — Вон, вишь, сыновья наши на патретах... Четверо...

На стене висели фотографии молодых парнишек.

— Старшего забрали в тридцать восьмом, второй в Сталинграде сгиб, третий утонул в Днепре... А последнего — в Праге убили, десятого мая сорок пятого...

Яков Иванович стал свертывать новую самокрутку.

— С северов должна родна племянница приехать, подмогнуть по хозяйству, — продолжала его жена. — Вот вместех и будете на огороде робить. Ох, че ж я стою-та? Ведь соловья баснями не кормют... Ах ты, боженьки...

Будник как бы невзначай глянул на японца:

— Чего, свободу почухал, япона мать?

Яков Иванович приподнялся с места.

— И чего он будет с ней делать-то? Ихнее государство далеко, а Сибирь — вот она, рядом. Ты, сержант, не дави на него. Он хоть и в плену, но тоже человек.

— А чего их жалеть? Враг он, как есть — враг!

— Дык ведь враги, сержант, тоже разные бывают. Ты вот, вохра, из каких краев? — И так посмотрел на Будника, что у того отчего-то начали подкашиваться колени.

— Ну, с Западной Украины я...

— Вот. А тут тебе — Сибирь, тайга рядом, и мало ли что с вашим братом-западенцем может случиться... Не любят и не уважают вас здесь. — И вдруг: — Стрелял в пленных?!

— Н-не довелось, — стуча зубами, ответил сержант Иван Будник.

— И не вздумай! — угрожающе рыкнул Злобин, сведя брови на переносице. — Никогда не стреляй в безоружного и беспомощного, будь то японец иль даже немец...

На скобленном столе появились черный хлеб, молоко, добрый шмат сала с мясными прослойками, лук, квашеная капуста. Посередине красовалась бутылка водки, запечатанная сургучом. Мариока едва не задохнулся от крепкого алкоголя, спешно заедая капустой. Будник же налегал все больше на сало. К молоку Мариока даже не прикоснулся — он

ни разу в жизни не пил молоко, — и хозяйка расщедрилась на холодный квас из подполья.

— А можа, ты, вохра, тож лопатой хошь поработать? — с ехидцей спросил Яков Иванович.

— Мне нельзя, я на службе, — с набитым ртом ответил Будник.

— А жрать за моим столом и есть твоя служба? Надось сначала поработать, а опосля брюхо набивать. Знашь, как у нас говорят: с сытой собакой плохая охота. Ладно, японец не понимает... Я вижу, вы в лагере с голодухи не пухнете: гляди, морда-то у тебя какая!

Яков Иванович раскраснелся от выпитой водки.

— Да ты чего, дед? — всплеснула руками хозяйка.

— Не люблю дармоедов! — рявкнул Злобин и стал вылезать из-за стола.

— Ох, смотри, дед, навлечешь на нас беду. Вон, слухи идут — на четвертом заводе чистки опять. От антисоветского элементу, вот!

— К двадцати одному часу приду, — сказал Будник, выковыривая из зубов остатки капустных листьев.

— А зачем? Японец сам дорогу в лагерь не найдет? Здеся все пути ведут только в одну сторону...

Наутро у Мариоки страшно болели руки, спина, в коленях появилась странная дрожь и ноги отказывались идти. Наскоро осмотрев пленных в кабинете, Мариока снова отправился в сопровождении Будника к Злобиным. Но в этот раз Будник сам во двор заходить не стал. Впихнул японца внутрь, предупредив, что прибудет за ним в девять часов вечера.

С возвышенности, где раскинулся большой огород Злобиных, была отчетливо видна Черная сопка. Вскapывая землю, Мариока часто взглядывал на ее конус вдали. Она напоминала ему Фудзияму.

— Куро дэйке... Фудзи-сан, — показывал рукой Мариока Якову Ивановичу. — Куро...⁷

Он вдруг попросил лист бумаги и карандаш. Быстро по памяти нарисовал Фудзияму. Рядом — Черную сопку. Сложил при этом ладони вместе и склонил голову.

— Эх ты, бедолага! — сказал сочувственно Яков Иванович. — То есть, значит, там бог твой?

— Бох-х, да-да, бох-х-х, — впервые за все время заулыбался Мариока.

— Сыновья мои частенько ходили на Черную сопку. Всё клады в пещерах старались найти. Во-он отсюда по логу напрямки можно выйти к ней, через Кузнецову деревню. По осени пойдет ягода — смородина красная и черная, кислица, голубика, брусника...

— Бр-русника, — повторил твердо Мариока.

— Э, да ты по-русски умеешь? — удивленно спросил Злобин.

— Чуть-чуть.

— Вас там в лагере еще не перекрещивают в свою веру, в советскую? Мариока не сразу понял, о чем спросил Яков Иванович. При чем тут вера? А потом дошло. К ним в лагерь с некоторых пор стали привозить

⁷ Черная гора... Фудзияма... Черная... (яп.)



агитационные листки на японском языке, пронизанные коммунистическим духом. Японцев водили в кинотеатр, показывали им советские патриотические фильмы и фильмы о Ленине. Мариока знал историю России и СССР лишь приблизительно, и то в основном по слухам. В императорской армии учили любить Японию и отдавать жизнь за императора. Он знал о русско-японской войне, взятии Порт-Артура, Цусимском морском сражении, о событиях на озере Хасан и реке Халхин-Гол. О советско-японском конфликте высшие офицеры старались не упоминать. Русские обвиняли в провокациях японцев, японцы — Сталина и генерала Жукова. Поразмыслив, Мариока со временем начал сомневаться в непререкаемой правоте императора и его приближенных.

Яков Иванович японцем был доволен. Посадили картошку, рассаду огурцов и помидоров в теплицах. Яков Иванович самолично высадил табак, листочки которого еще в избе взялись желтизной.

Вскоре по лагерю разнесся слух, что некоторых, благонадежных, военнопленных будут отправлять на сельскохозяйственные работы в ближайшие села и деревни. К этому времени Яков Иванович уже научил Мариоку косить траву.

Военфельдшер впервые помылся в русской бане.

— Отошшал-то, милок! — приговаривал Яков Иванович, хлеща японца березовым веником. — Мало ешь, что ли? Иль не дают много? Счас за стол сядем... А как тебя звать-величать? Скока работаешь у меня, а я и не знаю. Вот я, — Яков Иванович ткнул себя в грудь, — Яков, Яша...

— Кацу, Кацу Мариока...

— М-мариока, — протянул Злобин. — М-мариока... А по-русски это будет... Мишей будешь! Ты — Миша!

— Миша-Миша! Я — Миша! — радостно закивал японец.

Яков Иванович порозовел и подобрел от выпитой водки. Потянуло на разговоры. Хотелось выговориться перед кем-нибудь, пусть даже и не понимали его иногда. И он, солидно кашлянув, начал незамысловатый рассказ:

— Лет триста назад у подножия Черной сопки стояло стойбище камасинских татарей. А опосля, говорят, с северов пришли тунгусы из какого-то роду-племени, очень воинственные. Шаманка у них красивая была. Казаки местные переплывали Енисей, чтоб смотреть ее камлание. А по ихним тунгусским правилам мужик-шаман не имеет права жениться, а баба-шаманка — замуж выходить.

Яков Иванович бросил в рот стопку водки, запихнул соленую черемшу.

— Убил ту шаманку казак из ревности и на ее могиле посадил молодую лиственницу. Дерево это до сих пор на Черной сопке стоит. А после слухи пошли, что с Урала, с демидовских заводов-рудников, бежали работные люди, спасаясь от непосильного труда. Но, как всегда выходит, надоело им горб гнуть за полушку и потихоньку стали они купецкие обозы грабить и убивать старателей, что золотишком промышляли. Атаман ихний был ростом высок и телом крепок, человеку хребет запросто ломал. По Ангаре гуляли, по северо-енисейской тайге,



спирт меняли на золотой песок. Надоело это скоро властям, и енисейские казаки начали их вылавливать. И вскоре атаман остался совсем один и спрятал награбленное где-то на сопке или возле сопки — неизвестно. Многие пытались судьбу, пробовали найти то золото, да уходило оно от них. Аж с Петербурга приезжали обследовать нашу сопку — ничего не нашли! Пошарили-пошарили, так и убыли восвояси. В Гражданскую войну на вершине прятались партизаны из окрестных деревень, белые боялись на самый верх подыматься. В наше-то времечко тоже нашлись искатели, попытались сунуться туда в поисках атаманова золотишка. Да прогнал их сам атаман — явился в виде призрака, и вернулись те искатели совсем седыми. Но я-то точно знаю, что золото на Черной сопке есть!

Яков Иванович захрумкал квашеной капустой.

— Ох и брехун же ты, дед! — сказала хозяйка.

— Почему — брехун? — вскинулся Яков Иванович. — Что люди говорят, то и я рассказываю... А может, это и сказки — не знаю.

— Ты еще приплети чего-нибудь.

— А все равно, люди на сопку ходят по ягоды, грибы, ребятишки бегают, — но на самую вершину не поднимаются. Атамана боятся. Шаманкину лиственницу попытались спилить, но ни пиле, ни топору то дерево не поддается — во какое крепкое! А можа, оно заколдованное? И говорят еще, под тем деревом часть атаманского золота зарыта. Много там смертей бывало. Можа, и прозвали сопку Черной, потому что там черные дела творились. Но нам никогда этого не узнать. Предсказывают старые люди, что вскорости рванет Черная сопка огнем и желтым дымом — и погибнет вокруг все, наказание такое будет за грехи человеческие...

— Вулкан? — предположил Миша-японец.

— Да не верь ты ему, брехолову!

— Потухший, но вулкан? Как наша Фудзияма?

Картошка начала давать всходы, когда Якова Ивановича забрали. Обвинили в антисоветской агитации и использовании наемного труда. Но, изучив обстоятельно дело, отпустили за отсутствием состава преступления, тем более — отец трех героев-фронтовиков.

Мариока сразу понял, откуда ветер дует, но решил, что лучше в таких обстоятельствах держать рот на замке.

Человек пятьдесят из лагеря отправили в село Атаманово на сенокос и в дальнейшем — убирать урожай. Поехал туда и друг Мариоки, капрал Сато Юкио. Хоть отъестся да поправится на деревенских харчах. Пообещали и Мариоку отправить туда же строить коровник, но не отправили. Послали опять к Злобиным — пропалывать грядки и окучивать картошку.

Посмурневший Яков Иванович, сгорбившись, сидел на завалинке, щурясь от яркого солнца, и посасывал самокрутку.

— Д-да, в этом годе, боюсь, урожая не видать. Сгорит все... За месяц ни одной дождинки! Слышь-ко, Миша, иди перекури да перекуси. Чего едят в вашей Японии-то?

— Рис... рыбу... бобы...

— Ишь ты! Нету риса, и нету рыбы. Хлеб, молоко, капуста квашеная, из крупы — чуть перловки-шрапнели, пшена маленько... Картошку пока не копали.

Перекусывали молча. Мариока так и не привык к молоку. Его начинало тошнить от одного только вида. Запивал еду холодной водой.

— Такой огородище-то много не польешь, — сокрушался Яков Иванович. — Сгорит картошка!

Жара уже сказывалась на питании военнопленных. В лагере постепенно урезали пайки.

— Вы пробовали когда-нибудь змею? Из змеи получают хорошие и вкусные кушанья, — сказал Миша-японец. — В голодные годы у нас ели змей.

Хозяйка удивленно уставилась на него.

— Во! Гадок мы токо и не пробовали! — развел руками Яков Иванович. — Ну, жрать захочешь — и змею сожрешь. Пока не голодуем, но чую, скоро придется идти на Черную сопку гадов земных отлавливать. Любят они на камушках греться!..

Однажды вечером, когда за Мариокой уже должен был прийти конвоир из лагеря, во двор вошла молодая женщина с самодельным деревянным чемоданом и большим армейским вещмешком.

— А вот и Тонька приехала с северов!

Мариока подумал: «с северов» — из северных краев, значит? Молодая женщина показалась ему измученной, то ли дальней дорогой, то ли физическим трудом.

Антонина приехала одна. За два года до этого ее муж скончался от ран, а в сорок пятом она похоронила и сына, который умер от истощения и воспаления легких.

Мариока уже свободно понимал русский разговорный язык. Да и по виду женщины можно было определить: хватила горя с лихвой.

— Ну дак вот, Антонина, ты старухе моей поможешь в огороде, а мы с Мишей-японцем начнем копать яму под уборную. — Яков Иванович показал на старый, покосившийся деревенский туалет и пояснил Мариоке: — Куды до ветру ходют, понял?

Японец сконфуженно заулыбался.

— Да, новость слышали? Степка Лалетин с Порт-Артура приехалши, изранетый весь. Лучше нашему японцу ему на глаза не попадаться. Пришибет ненароком...

Тонька стала учить Мишу-японца писать и читать по-русски, занимаясь с ним по одному часу в день. Японские военнопленные работали во многих дворах поселка, и жители уже давно привыкли к ним.

На перекурах в работе Яков Иванович продолжал свое повествование о Черной сопке, вокруг которой сложилось много легенд. Да еще если водочки выпьет — не различить было, где вымысел, а где правда.

— В давнее-то времечко, когда держали власть воеводы, приехал в острог опальный монах с самой Москвы. Привез с собой много бумаги, чернил, свечек... Воевода отправил его на правый берег выбирать



место для житья. И выбрал тот монах поляну у подножия Черной сопки, вырыл там себе землянку. Казаки местные помогли ему поставить пустынь, обустроить ее и укрепить. Построили маленькую церквушку, куда и инородцы ходили. Только вскоре сожгли ее мятежные тунгусы и монаха того чуть не убили. Спрятал монах свои писанные свитки, а куда — неизвестно. Еще при царе пытались их найти — не нашли. Говорили, что сей монах жил в Смутное время, в правление Ивана Грозного и царя Бориса Годунова. Служил в ополчении у Пожарского с Мининым, был с воеводой Шеиным на защите города Смоленска. За что опалился тогдашний царь на монаха — тоже неведомо...

— Хорошо ты, дядь Яша, русскую историю знаешь! — удивлялась Тонька.

— А я еще во время царя учился хорошо. И книг много прочитал — в библиотеку плавал на другой берег. И был у меня знакомый учитель истории, богословия и русского языка. Во! У меня книги некоторые сохранились с царских времен, да и советские есть... Так вот. Опосля, говорят, того монаха в очередной набег забрали тунгусы и увезли к себе. Все думали, его уж нет в живых. А года через три он сам в острог пришел и сказал, что несколько племен обратил в православную веру. Вот такая история... Прожил тот монах аж до ста десяти лет и попросил его похоронить у подножия Черной сопки.

— Сказки это все, дядь Яш, — сказала Тонька. — Нигде такого не записано.

— Можя, и так. Но станут ли в будущем записывать наши нынешние дела, как они есть? Правду, так сказать, историческую?.. Академики от истории любят приврать иногда. — Яков Иванович с наслаждением вдохнул дым самосада.

— Доведет тебя твоя правда до беды, старик, — с тревогой в голосе произнесла хозяйка.

— Во все времена всякая система, если ей надо, найдет, в чем тебя обвинить. Так что ж теперь...

Енисей парил, и казалось, что при такой жаре река высохнет совсем. Люди и земля ждали дождя.

Японцы и не предполагали, что в Сибири может стоять такой зной. Неожиданно полыхнул офицерский барак, более комфортный, чем те, где жили солдаты. Временно офицеров разместили в солдатских казармах. На другой же день привезли стройматериалы. Пришлось увеличить периметр лагеря — новый барак получался длиннее прежнего. Говорили, что из Маньчжурии везут большую партию японских военнопленных, да вдобавок еще одну — с Южного Сахалина.

Солнце палило невыносимо. У Злобиных на грядках весь укроп пожелтел.

— Надоть еще яму под колодец копать, — сказал Яков Иванович. — Миша, помогешь?

Новиков предупредил Мариоку, что тот ходит к Злобиным последние дни.

— В этом-то годе, поди, не будет ни грибов, ни ягод, — сокрушалась хозяйка.

Коренастый и низенький Степка Лалетин, что недавно вернулся из-под Порт-Артура, аж побагровел, заметив пленного японца. Тряхнув рыжими волосами, он как бы нечаянно задел Карымова. Тот выронил мешок с овощами и устался на обидчика:

— Эй, осторожно нэ можешь, да?

От Степки тошнотворно пахнуло свежим самогоном. На недавно стиранной гимнастерке светились орден Красной Звезды и две медали — «За отвагу» и «За победу над Японией».

— Слышь, японец, в морду хошь?!

— Мужик, в бутылку не лезь, пришибу! — осадил Степку Будник.

— Я тебя, вертухайская морда, не спрашиваю, че мне делать, а че — нет. Можя, я с вашим японцем выпить хочу. За победу. Японец! Выпьешь за победу? — Лалетин вытащил из-за голенища поллитровку с мутной жидкостью.

— Нэ мэшай, да? — Карымов снова закинул мешок за спину.

— Ты шел, солдат, своей дорогой, и иди! — начал заводиться Будник.

Лалетин сделал глоток, снова сунул бутылку за голенище одного нечищеного сапога, а из-за голенища второго извлек охотничий нож с длинным и широким лезвием.

— Чичас я вашего японца свежевать буду! — Крепко сжав нож, он сделал стремительный выпад.

Будник успел подставить штык винтовки под удар — нож вспорол рукав его гимнастерки и упал в пыль.

— Ах ты, вертухай лагерный! — заорал Степка, подбирая оружие. — Да я вас чичас вместях с вашим япошкой порешу!

Мариока подпрыгнул, в прыжке выкидывая вперед ногу. У Лалетина в груди что-то хлюпнуло, чавкнуло, губы внезапно обросли розовой пеной. Степка покачнулся, но не упал. В ярости, достав бутылку, разбил ее о камень, оставив в руке горлышко, и попытался дотянуться до лица японца. Перехватив у Будника винтовку, Мариока штыком пропорол Лалетину голень. Степка заорал на всю улицу и кинулся прочь...

Деревянный карцер: два на два метра, полтора в высоту. Мариока злился на себя — не стерпел, не сдержался. Но на следующий день его выпустили: осматривать больных было больше некому. А к вечеру к воротам лагеря приплелся сам пострадавший, он клялся и божился, что японца и пальцем не тронет — просто желает с ним мировую распить. Потом стал яростно матюгаться, посылая все начальство, которое есть на свете, куда подальше. У него отобрали на медицинские нужды литровую бутылку с самогоном.

— С-суки! — орал он. — Хучь глоток бы оставили! Да имел я вашу ВОХРу!

Дело даже рассматривать не стали — обыкновенная пьяная поножовщина, главное, что все живы остались. Но начальство решило, от греха подальше, отправить мятежного японца в качестве фельдшера

с группой других военнопленных на далекий север. В эту группу попал и подполковник Такеши Курода, который раньше хвастался геологическими изысканиями. Барон и не думал, что его хвастовство примет такой оборот. Отправили с Мариокой и его друга, капрала Сато Юкио. Тот заранее ужасался тамошнему климату, говорил, что в краю, куда они едут, морозы достигают шестидесяти градусов.

— Кто-то будет лес валить, кто-то — бить шурфы, искать руду с содержанием золота и других металлов, притом редкоземельных, — говорил Будник Мариоке.

— И ты с нами?

— Да куда ж я от вас денусь? Наша конвойная рота убывает вместе с вами.

Их везли на крытых грузовиках, машины часто ломались, и пленные продвигались пешком, пока технику ремонтировали. По Енисею шла осенняя шуга, в это время паром уже не пускали на правый берег. Стали конфисковать лодки у местного населения. Доходило до драки. Милиционеры ходили по берегу, сбивали с лодок цепи с замками и переправляли японцев на другой берег. На носу и корме каждой лодки — по конвойному. И так несколько раз. Местные ворчали: дождались бы зимника, всем легче было бы.

Октябрь в этих местах ужасный месяц. Снег с дождем, резкие порывы северного, пронизывающего до костей ветра. И со всех сторон вековая дремучая тайга. На привалах спали прямо на пожухлой, слегка припорошенной снежком траве; кому-то разрешали нарубить разлапистого ельника на подстилки. Жались друг к другу, чтобы теплее было. А дальше — дни короче и ночи длиннее.

Откуда-то пришли три крытых грузовика и два автобуса. Люди, скрюченные холодом, воспрянули духом, рванулись к автобусам в надежде согреться. Но в них оказалось так же холодно, разве что ветра пронизывающего не было. Конвойную роту разместили в грузовиках, так как она была одета теплее, а пленных посадили в один грузовик и в автобусы. Транспорта на всех не хватало.

Ехали медленно и долго. Время пути казалось вечностью. Мариока задремал в холодном салоне автобуса, в котором пахло переработанным горючим. Разбудили его частые винтовочные выстрелы. Несколько конвойных бросились в тайгу — и вскоре уже тащили с собой замерзшее, обросшее существо в рваной и обожженной солдатской шинели, лишь отдаленно похожее на человека. Их пленник щелкнул зубами — вернее, чавкнул деснами: щелкать было нечем, зубы сожрала цинга, — закрыл лохматую голову руками в ссадинах и струпьях. В его голове Мариока ясно разглядел кроваво-красных вшей и невольно отодвинулся.

— Кто это? — спросил фельдшер по-русски.

— Дезертир, небось. Они по здешней тайге скопом шастают. Не знают, поди, что война давно кончилась...

Лохматый дезертир поднял голову, удивленно и диковато уставился зеленью глаз на японца.

— С ума двинул, сердешна-ай, — посочувствовал кто-то из конвоиров.



Бедняга прошепелявил бескровными губами:

— Товарищи... товарищи, вы скажите, что я сам сдался...

Быстро проехали поселок Брянка. Проезжали ночью и как-то не заметили самого поселка. К вечеру добрались до селения с красивым названием — Ведуга. Пытались найти милиционера, чтобы сдать дезертира, но милиции в Ведуге не было.

Интересные же имена селений у этих русских, удивлялся Мариока. По возможности он старался запоминать географические названия. Фельдшер не увлекался топонимикой, ему просто было интересно в этих северных, чужих краях. Но когда же домой, в Японию? Кто-то из конвойных проворчал, мол, как только отработаете награбленное и наворованное, — сразу отпустят на родину. Мариока удивился — он никого не грабил и ничего не воровал в СССР!

— Не вы одни тама японцы, — сказал шофер автобуса. — Тама ваших земляков хватает. В конце сорок пятого первую партию привезли. Дак те уж, поди, все от голода передохли, от обморожений, от гангрены всякой...

— Не пугай! — прикрикнул Будник. — Они уже почти все по-русски понимают.

Дорога резко пошла в гору, и передний грузовик забуксовал в глубокой, полной грязной жижи колее. Новиков ругался матом так, что было слышно в последнем автобусе. Вся техника замедлила ход, пыхла натужно длинными выхлопными трубами. Конвойные вместе с военнопленными толкали застрявший грузовик в гору. Новиков еще раз обругал шофера, что тот не обмотал шины цепями. Водитель, совсем молодой пацан, растерянно смотрел вдаль, не обращая на капитана внимания.

— Товарищ капитан! — вдруг очнулся он. — Вроде впереди поселок.

— Моли бога, чтоб мы туда доехали, — буркнул Новиков.

Мариока поражался изменчивым сибирским просторам. То горы, покрытые густой тайгой, то внезапно выступает равнина с речками, речушками, ручьями, мелкими озерцами. Могучие, высокие лиственницы в три-четыре человеческих обхвата, ели с длинными мохнатыми лапами, крепкие кедры, сосны, источающие эфирный дух, реже — осинники с березняком. Здесь и заблудиться недолго. И запахи совершенно другие, не такие, как в городе.

Японец прислушался: откуда-то доносился неясный гул, будто где самолеты летят. Шофер был прав — впереди распластался небольшой поселок.

— Вот тут и сдадим нашего дезертира властям, — решил Новиков. — Я надеюсь, здесь есть хоть какая-нибудь власть?

Колонна грузовиков и автобусов медленно втягивалась на прямую и длинную, наверно единственную, улицу поселка. Но никто не встречал приезжих, даже любопытствующих не было. Будто вымерли все. Таежный пейзаж портили отвалы выработанной породы. На плоских бледно-серых камнях пробивалась редкая растительность. А вдали, как поняли все, гудела драга — этакая золотоизвлекающая фабрика на воде.

В конце улицы торцом стоял длинный барак-засыпушка с двойными застекленными рамами и несколькими железными печными трубами.

— То для 58-й построили, еще лет десять назад, — пояснил шофер. — Они уж как бы расконвоированные, убежать отсюда некуда...

Возле барака притулился маленький домик без крыльца, с чердачного окна свисал обтрепанный и выцветший флаг с едва различимыми серпом и молотом. Звезда же совсем выгорела.

Пленным разрешили оправиться, перекусить, подышать свежим воздухом. Остро пахло пихтой, поздними грибами и еще чем-то неизвестным. Мариока потом догадался — пахло рудной пылью с отвалов, у нее был кисловатый привкус. Вскоре на их автобус дали мешок подсыхшего хлеба, вареную картошку, лук, соленую черемшу и уж совсем гнилую свеклу. Соли не нашлось, пришлось просить у шофера.

— А как поселок называется? — спросил Новиков у своего водителя.

— Не поселок, а прииск. Новоерудинский.

— А почему указателя нет? И вообще, где тут власть?! — начал злиться капитан.

В полусгнившем домике приискового совета нашли местного участкового, даже двоих — другой был из поселка Калами.

— Примете дезертира? — прямо с порога, не представившись, спросил Новиков.

— А на кой он мне? — расплылся в масляной улыбке каламский участковый. — Тут этих сволочей знаешь скока шлындает? На фронт итить не захотели, по таежным заимкам разбежались. Вот меня недавно на этот прииск и вызвали... Не, не приму я вашего изменника Родины, своих надо вылавливать!

Поздно вечером тронулись в путь. Ночью слегка приморозило. Мариока пригрелся возле капрала Сато Юкио, задремал. Капрал тоже спал, откинув голову. Новиков звал японского фельдшера в головную машину, но Мариока отказался, сославшись на то, что вместе ехать теплее. И удивительно: ему все это время ничего не снилось. Спал точно младенец.

Проснулся он от резкого толчка. Сонные пленные чуть не попадали в проход меж сидений. Стекла автобуса задернуло морозными узорами, Мариока приник к окну, дыханием грел стекло. Но сквозь растопленную дырочку ничего не было видно, кроме горной тайги. Перед ними — развилка: одна дорога шла вправо, другая — налево, через мост. А на востоке уже алела заря. Мариока, дохнув парком, поинтересовался временем.

— Вечное у тебя время, — полусонно сказал шофер. — Счас доедем до Михайловского, а там посмотрим. Там аж две бани есть...

Колонна свернула налево, прошла мост, перекинутый через речку Енашимо. Натужно ревели моторы, вхолостую крутились задние колеса грузовиков. Но техника все же взяла крутую гору. Дальше поехали по более-менее хорошей, наезженной дороге.

— Счас повеселее будет, — сказал шофер, протирая глаза грязной, промасленной тряпкой. — Ежли вы чего, господа японцы, увидите — не блажите и не удивляйтесь.



Неожиданно подал голос дезертир:

— Хлебушка-а-а бы-ы-ы...

— А по зубам? — наклонился к нему Будник. — Хотя у тебя и зубов-то нет.

— Ты, продажная душа, с каких краев будешь? — спросил шофер.

— Н-не помню-у-у...

— Врешь, однако, как говорят местные тунгусы. — Шофер усмехнулся. — Однако, врешь! Ну да Бог тебе судья. Дайте ему че-нить, не то задавит нытьем своим.

Мариока поделился с дезертиром черствым, заплесневелым хлебом. Тот понюхал краюху, поднял глаза — и вдруг ничком упал между сидений. Будник кинулся к нему, пощупал пульс.

— Все, отмаялась душа продажная. Видать, сердце не выдержало, — как-то даже с жалостью проговорил сержант.

— Умэр, да? — тупо уставился на мертвого дезертира Карымов.

— Вот и наказал его Бог за грехи, — глубоко вздохнул шофер.

Новиков приказал выкинуть мертвеца в канаву.

— Зверья тут много ходит, сожрут, — сказал он.

«Как собаку», — подумал Мариока.

Поселок Ново-Михайловский трудно было назвать действительно поселком: четыре дома, две бани, хозяйственные постройки, тайга близко примыкает к домам. Еще один мост через вертлявую реку Енашимо.

В этот день сделали большой привал для отдыха. Новиков позвал хозяев, чтобы те истопили бани. Такеши Курода спустился к каменистому берегу Енашимо, взял в ладонь горсть камешков, долго разглядывал, даже понюхал. Может, нефтью пахнут? Нет, вряд ли она здесь есть, а вот газ — может быть. И правда, иногда летом в тайге бывало нечем дышать, метановые испарения от многочисленных болот чувствовались и в поселках.

Для бани выдали по обмылку на каждые пять человек. Сато Юкио мылся внизу, его легкие не переносили острого и резкого пара. Зато Мариока парился с удовольствием. Правда, без березовых и пихтовых веников, но все равно — хорошо!

После Ново-Михайловского путь тоже разветвлялся — одна дорога шла напрямик в Подъемный, другая — мимо местного кладбища, и тоже выводила к Подъемному.

Барон Курода, уперев руки в бока, осматривал отвалы, часто нагибался, брал куски породы, придирчиво и внимательно разглядывал. И, ни к кому не обращаясь, говорил, что местная тайга очень богата полезными ископаемыми: золотом, медью, марганцем, углем, железом, редкоземельными металлами, цезием и торием, должен быть кремний, а возможно, в этих местах есть и уран. И закончил:

— Что ж, можно поработать и здесь, если родины моей больше нет!

Мариока знал, что Такеши Курода родился где-то в пригороде Нагасаки. Невольно фельдшер вспомнил о родственниках, живших в имении близ Токио. Дядя, брат отца, с семьей здорово пострадали при землетрясении 1 сентября 1923 года, в 12-й год правления Тайсе. Мариоке было



тогда два года. Токио, Икогама и почти вся провинция Канто лежали в руинах, а вот дворец Акасаки и резиденция принца-регента Хирохито, стоявшие на специальных рамах из сейсмоустойчивой стали, которые могли сжиматься и растягиваться в зависимости от мощности толчков, почти не пострадали... По слухам, разрушения в Нагасаки после американской бомбардировки были гораздо больше.

Сибирская погода неожиданно подарила солнечный и теплый денек. Снег подтаивал, с таежных холмов побежали ручьи. Подул легкий, приятный ветерок. И барон Курода вдруг воскликнул:

— Эти ручейки могут нести с собой золотые крупички! Они попадают в реку, а потом их течением относит вниз, и ближе к устью реки можно брать пробы на золото!

Подполковник счастливо улыбался, точно ребенок, нашедший игрушку.

— Да, богатая страна Россия! — торжественно произнес он.

После бани японцы снова надевали на себя грязную, обтрепанную одежду. А самые ловкие из конвойных успели постирать свое обмундирование в Енашимо при помощи жидкого мыла.

Из Подъемного пришли еще две машины, крытые брезентом. Из кабины вылез злой, полупьяный, расхристанный военный в потемневших капитанских погонах и с места в карьер заорал:

— Па-а-ачему задержка, мать твою?! Мне людей не хватает, больше половины япошек сдохло! А-а-а! Устроили тут помывку? На месте бы свои яйца промыли и дезинфекцию провели... Почему так долго? Строиться, доходяги!

— Сначала представьтесь, капитан, — с угрозой в голосе процедил Новиков. И добавил тише: — Круто берешь, однако...

— Ма-а-лча-ать! — зарычал тот, брызнув слюной — Я заместитель начальника оперативной части капитан Соловьев. Вы должны были прибыть в Подъемный еще неделю назад. Почему не прибыли? Построить пленных, построить личный состав!

— Мало выпил, что ли? — насмешливо спросил его Новиков.

— Что?!

— Не ори, капитан, а то у меня рука тяжелая, фронтовая. Если что, не обижайся. Тайга ведь большая, непроходимая...

Пыл и хмель у Соловьева сами собой начали постепенно выветриваться. Он понял, что хватил через край.

Мариока прислушивался к перепалке военных и для себя сделал вывод, что отныне начинается другая жизнь, не такая, как в городе. Там-то, похоже, было легче. Здесь же придется не жить, а выживать.

3.

Сидели Миша-японец с Будником до самого вечера. Пришлось старому Буднику сходить еще за одной бутылкой, и взял он ее буквально с боем перед самым закрытием дежурного магазина. Миша не укорял, не осуждал, не обвинял бывшего конвойного. Проклятое было время.

Расстреливал ли Будник японцев-военнопленных? Да, расстреливал: слушаешься приказа — сам попадешь на нары.

...Тогда они прибыли в Подъемный почти на готовенькое. Построенный лагерь, аккуратные полупустые бараки, печки, изготовленные из железных бочек. На территории уже был возведен нулевой цикл нескольких производственных корпусов. Где жили, там и строили, там и умирали. Умерших уносили на гору.

Строительный раствор схватывался на сорокапятиградусном морозе почти мгновенно. Японцы подогревали корыта с ним при помощи березовых дров. Когда раствор мало-мальски оттаивал, его быстро-быстро передавали на высоту с помощью электроподъемника. Часто случались перебои с электричеством, тогда приходилось набирать раствор в носилки или в ведро и бегом бежать наверх, к каменщикам. Первая смена возвращалась, вернее приползала, в бараки полумертвая.

Разнарядку на военнопленных прислала и геологоразведка. К поиску полезных ископаемых привлекли подполковника, барона Такеши Куроду. Он теперь жил в поселке в весьма привилегированных условиях.

Мариока, несмотря на фельдшерское образование, работал на строительстве цехов. Строительной бригадой, куда его приписали, командовал китаец Чжень, неведомо каким путем попавший в лагерь.

— Дафай-дафай! — только и было слышно от китайца.

Два японца разбились насмерть, поскользнувшись на высоте. Их товарищей послали на гору рыть яму для покойников. Пока они долбили мерзлый грунт, конвойный прикорнул на гладком валуне, подремывал, не выпуская из рук автомата. Мариока сказал Чженю, что неплохо бы разжечь костер и отогреть землю — легче будет копать могилу.

Китаец отрицательно закачал головой:

— Нез-зья-а-а!

— Скотина! — выругался по-русски Мариока.

С горы было видно, что весь поселок утопает в морозном мареве. Когда они пошли на гору, лагерный термометр показывал минус сорок четыре по Цельсию. По всем правилам день должен был быть активированным⁸. Но не для японских военнопленных.

Промерзшая земля никак не поддавалась. Часто попадались корни растущих рядом деревьев. Часа через два выдолбили в глубину всего сантиметров восемьдесят. Китаец Чжень сказал, что хватит. Трупы туго замотали в рваные и грязные простыни и присыпали мерзлым грунтом. Получилось не больше метра. А неподалеку уже стояла и клацала клыками голодная волчья стая.

В тот же день после полудня Мариока почувствовал себя плохо. Как фельдшер, он первым делом подумал, что съел за обедом что-то не то. Но нет, он сам снимал пищевую пробу на кухне. Тем не менее медицинский градусник показал тридцать девять и три. К вечеру японцу совсем стало худо, и он ужаснулся: двусторонняя пневмония! Едва успел понять — провалился куда-то в пустоту...

⁸ *Активированный день* — день, когда из-за погодных условий запрещено проводить производственные работы вне помещений.



Он не знал, сколько времени провел без сознания. Пришел в себя на койке, на чистом белье. Повернул голову влево — белая стена, вправо — больничная тумбочка, а на ней банка с какой-то желтой жидкостью, порошок в пакетиках, чашка с супом, по виду суточной давности. Японец понял, что находится в поселковой больнице. Но кто его сюда определил? Без вмешательства капитана Новикова здесь явно не обошлось.

— Очухался, болезный? — спросили, как ему показалось, очень громко. — Ну-ко, подставляй свою тошщу задницу...

Мариока ощутил, что болят обе ягодицы, и густо покраснел.

— Проспал все царствие небесное, японец... А ведь март месяц на дворе! Весна в Сибирь идет, тепло скоро будет.

— Весна... тепло... — промолвил Мариока и заулыбался.

Другие обитатели лечебницы присматривались к японцу, но старались по пустякам не беспокоить. Один из больных предложил ему папиросы «Казбек». Мариока склонился в полупоклоне и осторожно взял одну.

— Ариготэ, ариготэ... Спасибо...

Большинство сворачивали самокрутки из моршанской махорки и густо дымили ими в ванной комнате.

В ту пору в магазинах постепенно стали появляться продукты, в первую очередь мука и крупы. Иногда «выбрасывали» американскую тушенку, мясо от подсобных хозяйств, где держали и откармливали свиней. Эти хозяйства находились под строгим присмотром сторожей, вооруженных наганами и пистолетами ТТ. Поговаривали, что вот-вот отменят карточную систему.

В середине апреля бабахнуло, как на фронте залпом из гаубиц. Больные поспрыгивали с коек.

— Речка пошла! Ледоход начался!

Половодьем чуть не снесло новый деревянный мост через протоку, разделяющую остров и сам поселок Подъемный. Этот мост на мощных лиственничных опорах японцы построили еще осенью. На обрыве над протокой, наклонившись к воде, стояли две высокие ели и мощная, в три обхвата, сухая лиственница. Издали казалось, что они вот-вот рухнут, перегородят протоку, сделают ее непроходимой для лодок-илимок, что возили оборудование и продукты из краевого центра на базу, которая располагалась на острове. Паводком здесь уже не раз топило продуктовые склады. Тогда собирали здоровых мужиков, сколачивали из досок полки и затаскивали продукты метра на два наверх, а то и под самый потолок, уберегая от воды. Подтапливало и сам поселок разлившимися ручьями, Тарасовским и Кузнецовским, а вдобавок и водами многочисленных родников.

Мариока постепенно привык к больничной обстановке. Пришла другая медсестра делать ему очередной укол. Присматриваясь к ней, Мариока вдруг подумал: где он ее видел? Та тоже внимательно разглядывала исхудавшего японца.

— Миша, ты? — спросила она, нервно теребя пуговицу халата.

— То-ня? — по слогам вымолвил Мариока.

— Это ты был у Якова Ивановича?

— Я...

Да, это была она, Тонька Худоногова, родственница Якова Ивановича Злобина, которому Мариока когда-то помогал в огороде и по хозяйственной части.

— Мир тесный, — произнес японец, имея в виду русскую поговорку.

Еще в конце апреля по периметру лагеря стала прорастать черемша — дикий сибирский лук. Для пленных и обыкновенная-то трава была богатством — любая! — ели, хоть и морщились. К черемше было не так просто подобраться — часовой с вышки сразу срежет очередь.

К маю на территории лагеря достроили несколько производственных корпусов: ремонтно-механический цех, куда вскоре стали завозить станки, кузнечный цех, модельный, строительный. Неподалеку расположилась котельная. Японское кладбище на горе разрасталось; впрочем, там хоронили как военнопленных, так и уголовников. Не слышно было о судьбе барона, подполковника Такеши Куроды. Вместе с партией геологов он отправился на изыскательские работы в район речки Уволги, и появлялись они на Суворовском, Владимировском, Викторовском приисках, где пополняли запасы еды. Потом партия как в воду канула.

Ближе к лету пришел этап по пятьдесят восьмой статье. Здесь были и настоящие изменники Родины, служившие у немцев: русские, украинцы, эстонцы, литовцы, крымские татары, ингуши и чеченцы из специальных мусульманских батальонов. Политических местные ничуть не боялись, потому как сам поселок был образован из ссыльных в царские времена.

— Ты, японец, по-русски читаешь? — спросили Мариоку мужики в курилке.

— Понимай буквы, — с трудом выговорил тот.

— На! — Ему протянули газету.

Мариока развернул ее и попытался читать снизу вверх. Мужики рассмеялись.

Вскоре его вызвали в процедурную на укол.

— Болит, болит, — жаловался он на боли в ягодицах.

— При воспалении легких положены сорок уколов пенициллина, — ворковала Тонька, втыкая в его сморщенную задницу иглу. — Надо лечиться, надо. Завтра последние будут...

— Тоньк, а Тоньк! А возьми ты его замуж, а? — гоготали вокруг.

— Что, выздоровели все? — сердито прищурилась Тонька. И вдруг резко сказала: — А чего — и возьму! Потому как с вас-то толку нету, а японцы народ аккуратный и работающий.

— Да-а, этого у них не отнимешь... А он-то согласен? Ты согласен, японец?

Лицо Мариоки пошло багровыми пятнами.

— И что я нажил? — плаксиво спросил Будник. — Ну, был я вертухаем. Пятерых человек вашего брата расстрелял, но по приказу ведь. Твоего друга, капрала, где-то тут похоронили, туберкулез у него был...

— А подлечить нельзя было?

— Пришел приказ на отправку домой, перед самым отбытием помер...

— А вы тут ни при чем, да? — с ехидцей спросил Миша-японец. — Вон, видишь, волчья стая? Знаешь, почему голодные волки стали так часто выходить из тайги к людям? Потому что человек — тот же хищник! В большинстве из нас человеческое с возрастом исчезает, уходит, характер меняется в худшую сторону. Только и думает такой человек, как бы повкуснее пожрать и хапнуть побольше, ни черта при этом не делая. Скоро совсем в зверей превратимся.

— А все к этому и идет, — пьяно пробубнил Будник. — Счас даже водку купить спокойно невозможно. Проклятый Меченый!..⁹

Будник умер через год.

Миша-японец чувствовал себя все хуже и хуже. Все чаще отказывали ноги, судороги скручивали тело — так о себе напоминали война и лагерная жизнь. Миша уже давно перестал возить в бочке воду в местную больницу. Детей они с Тонькой не нажили, хотя Тонька была и не против.

В 1992 году со сберкнижки куда-то вдруг ушли все сбережения. Это здорово подкосило Мишу-японца. Похудела и Антонина. Зачем-то ввели новые деньги — и при этом стали частенько задерживать пенсию. Только и оставалось, что жить хозяйством, пока здоровье позволяет.

В апреле 1993-го в избе у Миши-японца снова расцвела сакура. Он вышел во двор, набрал свежей весенней земли, добавил в кадку. Вечером долго смотрел на цветущее деревце, вспоминал что-то. И вдруг стал медленно сползать на пол. Вошедшая к нему Антонина перекрестилась, выбежала наружу, страшно закричала, завывала. Миша-японец скрючился на полу, став как-то меньше ростом, и словно закаменел...

Участковый врач уже ничего не мог сделать.

⁹ Речь о первом президенте СССР М. Горбачеве и изданном при нем указе о борьбе с пьянством.

Сергей БОЧКОВ

ЗАБЫТАЯ ФОТОГРАФИЯ

Р а с с к а з

На краю одной из областей нашей страны, вдалеке от заполненных скоростным потоком машин автострад, соединяющих огромные мегаполисы, притих небольшой городок — размеренно-неторопливый и отстраненно-спокойный.

Статус города, являющийся особой гордостью его жителей, этот населенный пункт носит благодаря своей древности и прежним заслугам, поскольку в настоящее время настолько малолюден, что почти все соседние райцентры, хоть и именуются всего лишь поселками, выглядят на порядок крупнее и благоустроеннее. А ведь когда-то, в давние времена, это был вполне известный и даже зажиточный город. И вырасти мог он во что-то масштабное, важное.

Но этого не случилось.

Декабрь уходящего года выдался снежным по сравнению с прошлыми зимами, когда частенько случались оттепель и слякоть.

Бесшумный хоровод пушистых снежинок размыл границу между землей и небом. За одну ночь застелило окрестности легким, первозданно белым снегом, и к утру все вокруг стало удивительно светлым, опрятным и хрустящим. Первый морозец освежил и очистил воздух. Озорные лучики холодного зимнего солнца, выглянувшего из-за прижавшихся к горизонту седых туч, заиграли колющими глазами искорками на еще никем и ничем не тронутом снежном покрывале.

Преобразился и город: спрятал осеннюю грязь улиц под белым полотном пороши; укрыл серые невзрачные обочины сугробами; приосанился, примерив снеговые шапки на крыши домов. Правильно. Пора готовиться к грядущим новогодним празднествам.

Пусть не столь изысканно по сравнению с дорогим нарядом других, более крупных, городов будет его убранство в эти дни — все простенько, без особого размаха и шика, — а глаз радует, создавая праздничное настроение. Да и что ж не радоваться в предвкушении, ведь, помимо самих торжеств и застолий, впереди еще длинные (до самого Рождества) выходные, почти маленький отпуск.

В преддверии этих дней и отправился Максим в городской Дом культуры, в библиотеку. Мало кто сейчас тратил свободное время на чтение,

да еще и печатных текстов, а вот он любил читать книги — настоящие, которые можно подержать в руках.

Максим любил историческую прозу. С детства будоражили его воображение и грозная поступь слонов Ганнибала, преодолевающих заледенелые альпийские перевалы, и каменные громады средневековых замков с рыцарскими штандартами на крепостных стенах, и вздутые попутным ветром широкие паруса быстрых древнерусских ладей, идущих по морю в поход на Царьград... Сложно сказать, что стало причиной этого совсем не модного теперь увлечения. Но одно обстоятельство способствовало тому точно: у Максима, самого обыкновенного и мало чем выделяющегося среди своих ровесников парня, отец работал в школе учителем истории. А яблоко от яблони, как известно, недалеко падает.

Субботним утром в Доме культуры было безлюдно: пусто в прохладном вестибюле, темно в закутке гардеробной, закрыты двери кабинетов, ни один звук не нарушал молчание залов. По гладким бетонным ступеням лестничного марша, огражденного перилами с массивными деревянными поручнями, Максим поднялся на второй этаж. Гулко застучали жесткие каблуки зимних ботинок в тишине тускло освещенного длинного коридора, в конце которого располагался вход в библиотеку — вместительное, с огромными окнами и высоким потолком помещение.

В глубине прохода, заставленного объемными кадками с растениями, разместились стол-кафедра и пара выставочных стендов. А по обе стороны от них протянулись ряды однообразных стеллажей, на полках которых выстроились в алфавитном порядке, плотно прижавшись друг к другу, разноцветные книжные корешки.

Еще издали заслышав шум приближающихся шагов, библиотекарь — худенькая, уже в возрасте женщина с сухим бледным лицом — отложила на время свои дела и подняла голову, выжидающе всматриваясь в посетителя. Поздоровавшись и вежливости ради обменявшись с ней парой коротких дежурных фраз, Максим сдал прочитанные книги, а затем самостоятельно направился в нужный и хорошо знакомый ему раздел.

Выбрав парочку изданий, он обратил внимание на стоявшую в углу большую пачку каких-то книг, брошюр и журналов, крест-накрест перевязанную бечевкой. На правах завсегдатая он, недолго думая, распутал незамысловатый узел. Среди изрядного количества беллетристики его внимание привлекла книжица с напрочь отсутствующим корешком и настолько сильно потертой обложкой, что определить с первого взгляда ее название представлялось весьма затруднительным. «История Древнего мира, — открыв титульный лист, прочел Максим. — Учебник для 5—6 классов средней школы. 1943 год». Ветхий переплет еле-еле удерживал оставшиеся части книги, некоторые из листов уже давно оторвались и высунулись за обрез общего блока, лохматясь потрепанными краями, а на страницах то тут, то там красовались неразборчивые заметки на полях и кривые карандашные линии, подчеркивающие целые абзацы текста.

Максим не понял, чем заинтересовал его учебник, но решил полистать его на досуге, несмотря на весьма плачевное состояние.

— Где ты такую выискал? — спросила библиотекарь.





— Да там... в связке...

— То-то смотрю, на ней печать какая-то необычная, большая. Точно не наша. В связке, говоришь? Это нам иногда люди книги свои приносят. Им не нужны, а выкинуть рука не поднимается. Вот и несут к нам.

— Понятно...

Женщина вздохнула, неторопливо поправила толстый пуховый платок на угловатых плечах и, занеся над читательским формуляром Максима шариковую ручку, объявила:

— Две книжки я на тебя запишу, а эту забирай безвозвратно. Она на балансе у нас не числится.

Быстро расписавшись в формуляре, Максим коротко попрощался с библиотекарем и отправился домой. А дома, в однокомнатной квартире типовой пятиэтажки, где он обитал со своей женой Ольгой, все три книги послушно легли в ящик стола — дожидаться свободного времени у своего нового читателя: сейчас ему недосуг, Новый год скоро, а значит, и все сопутствующие праздничные хлопоты...

Лишь после всех празднеств, от которых тоже отдохнуть нужно, добрался Максим до взятых в библиотеке книг.

Учебник лежал сверху, потому оказался первым в его руках. На давно пожелтевших страницах сухим и скучным языком излагалась история древности: жизнь первобытных людей, возникновение государств в Азии, расцвет и упадок античных цивилизаций... Даже часто встречающиеся иллюстрации и карты на цветных вкладках не вызвали у Максима особого интереса. Но тут из последних страниц выпала фотография. И было в этом что-то неслучайное, символичное.

Плотная шершавая бумага, непривычный формат и блеклая желтизна изображения сразу же указывали на давность фотокарточки. Подтверждало то и военное обмундирование запечатленного на снимке юноши: форменный китель с черными петлицами на воротнике-стойке, прямоугольными клапанами карманов и вертикальным рядом блестящих пуговиц; жесткий широкий ремень с бляхой; круглый значок на подвеске, а на голове буденовка — островерхий суконный шлем со сложенным и пристегнутым к пуговицам назатыльником, небольшим овальным козырьком и бликующей темным глянцем эмали пятиконечной звездочкой, закрепленной поверх более крупной матерчатой звезды. Именно этот легендарный и определенно самый узнаваемый красноармейский атрибут привлек особое внимание Максима. И лицо юноши — совсем-совсем молодое, почти детское.

Внимательно перелистав весь учебник и не обнаружив больше ничего постороннего, Максим убрал его обратно в ящик и принялся изучать фотографию. Вроде бы ничего особенного — ему и прежде приходилось видеть старые снимки. Только уж очень увлекательной показалась возможность исследовать реликвию: определить род войск, место службы и, если получится, личность военного.

Но сколько Максим ни крутил в руках карточку, взглядываясь в изображение, так толком ничего и не выяснил. Шифровка на петлицах у военного, состоявшая из нескольких плотно прижатых друг к другу цифр

и букв, выглядела неразборчиво. И лишь по расположенной рядом с ней эмблеме в виде двух перекрещенных по диагонали коротких линий можно было предположить, что тот имел непосредственное отношение к артиллерии. Что за значок на кителе, Максим, будучи абсолютным профаном в наградах, тоже определить не смог. Странной показалась ему и бляха на ремне — совсем не соответствующая, как он считал, тому времени, в которое был сделан снимок. Даже аккуратно выведенная бледно-синими чернилами надпись на обороте фотокарточки: «На долгую память моим дорогим маме, папе и брату Федьке. От Леонида. Март 1940 года», ясности почти не внесла, лишь подтвердив, что снимок довоенный (это и так было понятно), и указав имя сфотографированного. Увы, без фамилии.

Поняв, что дальше ему в этом деле одному не продвинуться, Максим решил показать карточку своему отцу — тот как раз завтра обещал зайти. Он, безусловно, в этих вопросах разбирается гораздо лучше, как-никак учитель истории, причем заслуженный и весьма уважаемый.

Евгений Анатольевич — так звали отца Максима — пришел уже в первой половине следующего дня. Улыбнувшись, поздоровался с невесткой Ольгой, выскочившей из кухни. Не спеша разулся. Снял тяжелое зимнее пальто и, передав его Максиму, одернул надетый поверх теплого свитера пиджак. Затем, наклонившись к зеркалу, поправил высветленные сединой волосы маленькой карманной расческой. Окинул внимательным взглядом прихожую. И только после этих «церемоний» прошел в зал.

Сын, чтобы не терять времени попусту (тем более Ольга еще не закончила всех приготовлений на кухне), показал отцу фотокарточку и, кратко объяснив ситуацию, спросил его мнения.

— Курсант, — заявил Евгений Анатольевич после того, как обстоятельно изучил снимок, внимательно вглядываясь в изображение через очки с большими прямоугольными линзами в массивной старомодной оправе, — артиллерийского училища. Это ты правильно определил по скрещенным пушечкам. А какое училище, не могу понять. По аббревиатуре в петличках можно учебное заведение узнать. Только вот не разберу никак... Первой, похоже, какая-то цифра стоит, потому как уже других будет. А дальше непонятно, то ли С, то ли О. Может, ноль. В конце вообще непонятно, что за частокол. На тройку римскую похоже. У тебя увеличительное стекло есть?

Максим принес лупу. Но и она, к сожалению, ничем не помогла.

— А что за значок у него? Ты, пап, в этой теме должен разбираться.

— В фалеристике немного разбираюсь. — И после небольшой паузы, еще раз всмотревшись через лупу в фотографию, отец выдал свое заключение: — Это осоавиахимовский знак «Готов к ПВХО».

— К чему?

— К противовоздушной и химической обороне. А Осоавиахим — это организация наподобие теперешнего ДОСААФ.

Вроде и обсуждать больше было нечего, но Евгений Анатольевич, чувствуя, что все еще не смог удовлетворить любопытство сына, дополнил:



— То, что курсант, это однозначно. Странно только, что воротник стойкой. Я считал, в то время он у всех отложным был. А по поводу бляхи на ремне — так у курсантов тогда такие встречались. Видишь, на ней и звезда чуть-чуть просматривается. В послевоенные годы солдатам такие выдавали. И в мою бытность, когда служил, и у вас, наверно, тоже подобные были. — Получив от сына утвердительный кивок, он продолжил: — А у красноармейцев на ремнях тогда другие пряжки были. И только у курсантов именно такие... Ну а то, что в буденовке он, — так это обычное дело для того времени.

На этом обсуждение завершилось: в дверях, ведущих в кухню, уже несколько минут в ожидании стояла Ольга, всем своим видом говоря — пора за стол...

После чая Евгений Анатольевич сам вернулся к разговору о фотографии. Видимо, и его она чем-то зацепила:

— А покажи-ка мне ту книжку, в которой она была.

Ознакомившись с учебником, предположил:

— Должно быть, из школьной библиотеки. Раньше, кстати, учебники нужно было самим покупать, но в школе экземпляры тоже имелись. Думаю, этот — оттуда. Ты говоришь, что ее в ДК кто-то из наших горожан отдал?

— Да. Мне так сказали.

— В таком случае правильно будет узнать, кто эту книгу принес, и вернуть им фотографию. Заодно, может, что-нибудь еще про курсанта этого выяснить получится. Думаю, это какой-то их родственник. И, судя по всему, воевал. Но однозначно не в финскую. Дата на обороте — «март сорокового» — это окончание Советско-финляндской войны. Он тогда еще курсантом был. А в Великой Отечественной, скорее всего, участвовал. Только вот вопрос: вернулся ли живым? Из тех, кто с самого начала воевал, мало кто выжил... Может, у родственников, кроме этой фотографии, больше ничего от него и не осталось.

— Да, конечно, так правильно будет, — кивнул Максим. Он был рад возможности выяснить судьбу курсанта.

В последующие дни Максиму удалось не только прочитать взятые в библиотеке книги, но и кое-что уточнить насчет снимка. Отыскав в безграничных дебрях интернета несколько форумов, где обсуждались подобные вопросы, он просмотрел множество изображений и фотографий курсантов той поры и с большой долей вероятности смог установить, что Леонид являлся учащимся одной из специальных артиллерийских школ.

— Пожалуй, ты прав, — согласился с этим Евгений Анатольевич, пришедший навестить сына. — Действительно, были такие школы.

— В Москве, Ленинграде, Киеве, Ростове... ну и в других крупных городах, — не преминул выказать свои познания Максим. — Туда отличников из простых школ набирали после седьмого класса. Там этих «спецов», как они себя называли, для поступления в военные училища готовили. Короче, что-то типа дореволюционных кадетских корпусов, ну или суворовских училищ, которые чуть позже появились.

— Да-а-а... — протянул отец. — А я как-то про эти спецшколы и не подумал. Хотя стоило бы — лицо-то у паренька совсем мальчишеское. Кстати, в одной из таких школ сын Сталина учился. Нет, не Яков, который потом в плен попал, хотя он тоже артиллеристом был, и не Василий — тот летчик. А приемный — Артем Сергеев.

Этого Максим, конечно, не знал. Вроде бы уже что-то прочитал по этой теме, можно сказать в некоторой степени, а отец все равно больше в ней разбирается.

— Я сначала фото курсантов военных училищ смотрел, — объяснил Максим. — Искал похожие. А потом случайно фотку учащихся артиллерийской спецшколы увидел. У них такие же форма и петлицы. Первой, как ты и предполагал, стоит цифра — это номер спецшколы. А за ним — шифровка: «СШ». Букву Ш ты с римской тройкой спутал. Она и вправду на фото так выглядит. Ну и пушечки, само собой.

— И какой тебе номер видится? — то поднося ближе к снимку, то удаляя от него лупу, поинтересовался отец.

— Я, если честно, так и не разобрал. То ли шестерка, то ли девятка, а может, восьмерка — на эти цифры похоже. Но точно определить сложно. Думаю, это ленинградская школа: с первой по пятую в Москве находились, а с шестой по десятую — в Ленинграде. У всех других номера двузначные шли. А на снимке ясно видно, что цифра всего одна — следовательно, или Московская, или Ленинградская школа. Ну а по своему округлому виду ни на единицу, ни на четверку, ни на пятерку она точно не похожа. Значит, скорее всего, какая-нибудь из ленинградских спецшкол. Думаю, так.

— Серьезное ты исследование провел, как я посмотрю, — пошутил отец, но и через иронию слышалось одобрение в его голосе. — Чувствую, заинтересовало оно тебя. А дальше продвинуться сможешь, когда фотографию родственникам вернешь. Тогда и про «спеца» этого что-нибудь еще выяснишь.

— Думаю, так, — согласился Максим.

Его действительно увлекло это, как сказал отец, исследование.

В библиотеке, куда Максим наведалься сразу после новогодних каникул, его встретила та самая сотрудница.

— У нас в книгах и не такое забывают, — выслушав, усмехнулась женщина. И без особого энтузиазма, по принципу «раз просят — надо помочь», поднялась со своего места. — Показывай, в каком углу ты этот учебник выискала.

Стопка книг находилась там же. Библиотекарь пожала плечами:

— Не знаю, кто их принес. Наверное, не в мою смену.

Но, заметив, что Максим огорчился, добавила:

— Подожди, я в читальном зале спрошу. Может, там кто в курсе. — Она направилась в соседнее помещение, звучно постукивая каблучками.

Максим томился в ожидании недолго.

— Ну, что тут у вас случилось? — сразу же, как только подошла, пропела веселым голосом работница читального зала.





В противоположность своей коллеге это была полненькая, невысокого роста женщина средних лет с живыми, изумленно-радостными глазами на круглом лице, светящемся беззаботной улыбкой.

— Рассказывайте, показывайте. Чем можем, тем поможем.

Максим, стараясь не вдаваться в лишние подробности, изложил суть дела.

— Ах, вот эти! — толком не дослушав, затараторила женщина, суетясь вокруг стопки книг с несвойственной ее комплекции резвостью. — Эти уже, надо думать, с месяц тут. Все никак руки до них не доходят. Их же не просто разобрать надо, а еще на учет поставить и в нужный раздел определить. Одна морока! А тут еще Новый год — и выставку нужно готовить, и зал нарядить. Дел невпроворот. Да еще...

Тут Максим вежливо прервал этот словесный поток:

— Так кто конкретно эти книги принес?

— А! Это Лидка Черкашина.

— А где ее можно найти? — стараясь припомнить, где он мог слышать названную фамилию, переспросил Максим.

Лицо женщины выразило искреннее недоумение и еще сильнее расплылось в улыбке. Она удивленно уставилась на Максима и выдала:

— Во! Лидка в одном детсаде с твоей мамкой работает. Что ж искать того, кто рядышком?

Да, именно так! В небольших городках люди постарше — не в пример молодежи — всегда все обо всех знают.

Вполне довольный результатом визита в библиотеку, Максим, вернувшись домой, сразу позвонил матери. Дозвонившись, объяснил ситуацию и договорился, что, как только она все разузнает, сразу сообщит ему. Через полчаса, показавшиеся Максиму долгими, мать перезвонила, сказав, что Лидия Петровна заканчивает работу в семь часов, и, если ему это так важно, пусть он подойдет к главному входу в детский сад и сам передаст ей фотографию, а заодно и распросит.

— Вот и хорошо! — ответил сын, которому это действительно было «так важно».

Густая холодная темнота короткого зимнего вечера быстро заполнила слабоосвещенные улочки городка. К крышам домов опустилось черное, усыпанное колючим бисером звезд небо. Студеный ветер, сметая с сугробов снежную крупу, сновал между дворов, настырно стучась в струящиеся желто-оранжевым светом окна. Разноцветными огоньками прошедшего веселья легкомысленно и совсем не к месту игриво поблескивали то тут, то там на столбах не убранные после праздников гирлянды. Еще и семи часов не было, а казалось, будто уже давно ночь.

Максиму, который подошел к детскому саду в назначенное время, пришлось немного подождать.

— Ага, какие-то книжки мы с мужем отвозили в Дом культуры, — подтвердила Лидия Петровна, высокая, крупная, облаченная в громоздкую шубу женщина.

Была она примерно одного возраста с родителями Максима, и ему действительно доводилось видеть ее раньше в компании своей матери, вот только какая у нее фамилия, он за ненужностью в памяти не удержал, оттого и конфуз в библиотеке вышел.

— Пару лет назад, после того как мой отец умер, мы маму к себе забрали, — пояснила Черкашина. — С вещами и книги были. Лежали они у нас, лежали... И дома не нужны, и выкинуть жалко, и в макулатуру некуда сдать. Вот в библиотеку и отвезли.

Взяв в руки фотокарточку, женщина поднесла ее поближе к свету горевшего на крыльце фонаря, посмотрела и покачала головой:

— А кто это, даже не знаю. Нет... точно не наш.

«Вот тебе и на... Приплыли!» — расстроился Максим. Такого он точно не ожидал. Все так удачно складывалось, и вдруг — тупик.

— Ну а книжка-то эта ваша? — еще надеясь на что-то, спросил он.

— Возможно, и наша... Не вспомню я точно, Максим, — мягко, вроде как извиняясь, ответила Лидия Петровна.

Подумав немного и, видимо, желая хоть как-то помочь, она предложила:

— Если хочешь, пойдем ко мне домой, а там у моей мамы спросим. Может, она знает.

— Да, конечно, — с готовностью согласился Максим.

Понятное дело — неловко чужих людей беспокоить, время у них отнимать. Но это был все же шанс.

— А вспомнит ли ваша мама? — поинтересовался он по дороге.

— Не переживай, — улыбнулась Черкашина. — Если будет что вспоминать, то вспомнит. Она еще из ума не выжила. У стариков такая особенность есть — того, что вчера было, не помнят, а о том, что в детстве случилось, до мельчайших подробностей расскажут...

Как зашли в дом, Лидия Петровна сразу же усадила гостя за стол. И если от ужина Максиму удалось отказаться (во-первых, дома поел, а во-вторых, не за тем пришел), то на чай пришлось согласиться — уважить хозяйку. А пока та хлопотала на кухне, Максим, чтоб не сидеть праздно, показал фотографию ее мужу. Тот, отодвинув снимок от глаз на расстояние вытянутой руки, всмотрелся и коротко, но категорично заявил, что не знает, кто на нем изображен. Мельком заглянувшая на разговор дочь Черкашиных тоже ничего сказать не смогла. Она, как показалось Максиму, вообще не поняла, ради чего все эти «заморочки».

Чуть позже в комнату, тяжело шаркая, вошла тучная, сутулая старушка. Лидия Петровна сначала усадила мать за стол, затем деловито разлила по уже расставленным чашкам чай, наполнила узорную стеклянную вазу конфетами и печеньем и только тогда объяснила, кто их гость и что ему нужно.

Бабушка чрезвычайно долго глядела на мелко подрагивающий в ее руках снимок и наконец произнесла:

— Федька это.

За столом все молчали. Никто из присутствующих не понял, о ком она говорит.





— Братец двоюродный деда моего, — продолжила та, под «дедом», очевидно, подразумевая своего покойного мужа. — С Федькой мы в школе вместе учились.

— Может быть — Леонид, брат Федькин? — поправил Максим и, аккуратно взяв из ее рук карточку, зачитал вслух надпись на обороте. — Судя по написанному, тут Леонид. А фото он дарит своему отцу, матери и брату Федьке. У Федьки, у одноклассника вашего, брат был?

— Да... Был у него брат... Старший, — после продолжительной паузы, видимо необходимой ей для осмысления ситуации, ответила старушка. И с извиняющейся улыбкой добавила: — Только вот, как звали его, не упомяну. Может, и Леонидом.

— Просто на фото парню должно быть никак не меньше четырнадцати лет. Даже более вероятно, что шестнадцать или семнадцать. И это в сороковом году. А значит, не мог он быть вашим одноклассником, — уточнил Максим.

— Братя, возможно, похожи были, — вступила в разговор Лидия Петровна. — Вот потому ты, мам, и путаешь. Погоди-ка, я помню, в альбоме фотография твоя школьная была! Вы там еще всем выпускном сфотографированы. — И, обращаясь к гостю, предложила: — Если надо, могу показать.

— Да! Покажите, пожалуйста, — моментально ответил тот.

В большом пухлом альбоме, набитом множеством фотографий, отыскать нужный снимок оказалось непросто. Максим уже начал отчаиваться, но крупная, с фигурными краями фотокарточка была все-таки найдена и, переключившись из рук Лидии Петровны к ее матери, а затем к мужу, наконец, оказалась у Максима.

Сдержанно улыбаясь в объектив фотокамеры, у главного фасада школы выстроились несколькими разновысотными рядами ученики: мальчики в однообразных темно-серых рубашках-гимнастерках и девочки, наряженные в яркую белизну праздничных фартуков. В центре группы на первом плане сидело несколько взрослых — очевидно, преподаватели. Отчего-то трогательным выглядел этот давно оставшийся в прошлом момент из чужой жизни.

Повертев в руках снимок и поняв, что самому ему в нем не разобраться, Максим вернул его старушке. Теперь оставалось дожидаться ее комментариев.

— Вот она я. — Бабушка указала пальцем на кругленькое, с задорными ямочками на щечках, открытое лицо молоденькой ученицы, в которой узнать ее теперешнюю было невероятно сложно.

— А Федор где?

— Вот он, туточки, — переместила по фотографии свой палец старушка. И Максим, приглядевшись, воочию убедился в том, что братя похожи друг на друга.

Старушка, неторопливо копаясь в памяти, рассказала о школьных годах, пришедшихся на тяжелое лихолетье войны и не менее трудный период после нее. Под уважительные кивки дочери и зятя вспомнила учителей, подруг и друзей, их родителей и просто каких-то знакомых.

Улучив паузу в этом не совсем стройном и малопонятном ему повествовании, Максим перевел тему на волнующий его вопрос:

— А какая фамилия у этих братьев? У Федьки и Ленки? Да и вообще, что о них известно? Они вам родней приходятся?

— Да какая там родня! Седьмая вода на киселе! Мужу — еще да, а уж мне-то! — улыбнулась бабушка. — С Федькой тем я училась вместе — вот потому-то и вспомнила. А братца его я и вовсе не знала. Он у него навроде в войну погиб...

— Погиб?! — вздрогнув, переспросил Максим, поразившись, насколько верным оказалось предположение отца.

— Погиб, — все так же невозмутимо продолжала старушка. — Они до войны в Ленинграде жили. А уж как война началась, назад сюда возвратились, в эвакуацию. Федька да мать его. Отец ихний тогда уже помер. А старший сын на фронте, значит, был. А они возвратились. Раньше-то туточки жили. Федька братом двоюродным мужу моему приходился, а мать — теткой, значит. Зоей ее, кажись, звали. А как по отчеству, подзабыла я...

— А отец их — он от чего умер? — поинтересовался Максим.

— Как это от чего? От голоду! Там, в Ленинграде, голод был страшный. Вот и помер он. Я его и не помню-то вовсе — ни каков был, ни как звали его.

— А Ленка, брат Федькин?..

— Тот-то воевал... да с войны не вернулся. Погиб. А с Федькой мы учились вместе... Только вот и он молодым совсем из жизни ушел. Авария у нас на заводе была. Вот его и прибило насмерть. Ну а уж после и мать ихняя померла.

— А кто же из родни у них остался? Кстати, какая фамилия их была?

— Более никого не осталось. Ни у Федьки, ни у брата. Детей не было. Муж мой покойный братом им двоюродным приходился. Вот и вся родня.

— А фамилия?

— Не помню.

— Подождите. Возможно, на обратной стороне фотографии подписи есть, — предположила Лидия Петровна. Забрала из рук матери карточку, перевернула ее. — И правда, есть!

И крайне довольная протянула снимок Максиму:

— Прочти-ка. У тебя глаза помоложе.

На обороте фотографии в три столбца тонкими завитками мелкого почерка старательно были выведены фамилии и инициалы учеников.

Уточнив девичью фамилию матери Лидии Петровны, Максим сначала отыскал в списке ее, а затем принялся «вычислять» Федьку. Только у одного ученика имя начиналось на букву Ф. Но вот досада — на всех четырех углах обратной стороны карточки имелись повреждения: фотография когда-то была приклеена к альбомному листу. Одно из этих повреждений приходилось как раз на фамилию Федора.

— Н<...>ий, — лишь смог разобрать Максим. И, посмотрев на старушку, спросил: — Может, все же вспомните?..

— Не... Ничегошеньки на ум не приходит, — покачала та головой.





«Это плохо... совсем плохо...», — не зная, что теперь предпринять, размышлял Максим, обезнадженный таким ответом.

Спустя какое-то время, обдумав ситуацию, он прервал воцарившееся за столом молчание и заявил:

— Сейчас в интернете есть сайты, на которых можно кое-что о ветеранах узнать. И о погибших тоже. Я парочку таких сайтов знаю. Там сведения и о наградах, и о потерях... ну и много еще чего в свободный доступ выложено. А фамилию Леонида, может, получится угадать, подобрав неизвестные фрагменты.

Никто из присутствующих в ответ не проронил ни слова. Лидия Петровна, уже принявшаяся убирать со стола, лишь неопределенно пожала плечами. Молчал и ее муж, еще в начале беседы утративший всякий интерес к обсуждаемому предмету. Смущенно хлопала глазами старушка — для нее все услышанное было непостижимой абракадаброй.

Максим решил спросить:

— А можно я эту фотографию пока себе оставлю? Я на сайтах сам посмотрю. И что узнаю, сообщу.

— Конечно-конечно, — с готовностью, будто только этого и ждала, согласилась Лидия Петровна. Муж поддержал ее одобрительным кивком головы и тут же встал из-за стола. Не стала препятствовать и продолжающая удивленно смотреть в сторону гостя старушка.

«Ну вот и хорошо. Сам разберусь», — обрадовался Максим. Поблагодарив хозяев дома за чай и извинившись за отнятое у них время, он пошел домой, по пути осмысливая полученные сведения.

Кое-что узнать удалось. Пусть информации не густо, но и не пусто. Главное, что с фотокарточкой получилось определиться, жаль только, в семье Черкашиных фамилию Ленькину не помнят. Впрочем, по-другому едва ли могло быть: фотографию его брат Федор, видимо, просто забыл в учебнике, а после книга оказалась у матери Лидии Петровны. И если бы Федька не состоял в родстве с ее будущим мужем, то она его наверняка бы и не вспомнила. Так что тут, можно сказать, повезло.

«Значит, перспектива есть, — приободрился Максим, — и поиск стоит продолжить. Ведь совершенно ясно — заниматься этим больше некому».

Сгинул в горниле войны человек, по молодости своей потомства не оставив, и никто не вспоминает о нем, будто и не было его вовсе. Черкашины, конечно, в этом не виноваты. Для них, вероятно, памятны свои, близкие им герои той войны. А Леонид... кто он им? «Седьмая вода на киселе». Но и тут, как говорится, нет худа без добра — теперь все дальнейшее исследование снова исключительно в его руках, как он и хотел.

На следующий день Максим приступил к поиску информации о Леониде в интернете. В свое время на одном из официальных интернет-ресурсов ему удалось отыскать кое-что о прадедах-фронтовиках. Один пал под Смоленском в начале войны, другой дожил до Победы, дошел

до Берлина в составе знаменитой дивизии, чье знамя в мае сорок пятого года было водружено над разбитым Рейхстагом.

Почти весь день потратил исследователь, подбирая Ленькину фамилию, и, казалось, испробовал все возможные варианты. Но так и не добился результата.

«Опять тупик!..» — начал терять надежду Максим.

— Слушай, ты вот что попробуй, — посоветовала ему Ольга, которая всегда была в курсе всех дел своего мужа. — Если этот Федька в нашей школе учился, то по школьным записям наверняка можно его фамилию узнать. Ты у отца спроси.

— Верно! И как я сам не догадался? — Максим воспрянул духом.

Действительно, в школьном архиве должны быть какие-то списки учащихся. И если отыскать сведения о матери Лидии Петровны, то, значит, и Федькину фамилию с отчеством удастся узнать. Эти данные у них с братом Леонидом одинаковы.

Максим чмокнул на радостях жену и тут же стал звонить отцу. Тот, выслушав его просьбу, предложил зайти в школу:

— Книга записи учащихся тех времен сохранилась. Поищем твоего Федора.

Встретив сына, Евгений Анатольевич сразу повел его к женщине-секретарю. Та уверенно вытянула из тесного ряда однотипных книг нужную. Перелистнув несколько страниц, показала:

— Вот ученик, которого вы ищете, — Федор Климентьевич Ноугорский. Вот год его рождения, время поступления в школу, класс, адрес и отметка о выбытии. — И в подтверждение своих слов, ведя длинным накладным ногтем, словно указкой, по обильно заполненным графам таблицы, обозначила строки с записями о Федоре и матери Лидии Петровны, обратив особое внимание на те сведения, которые у них совпадают.

«Есть! Теперь должно получиться!» — воодушевился Максим.

Он искренне, очень эмоционально и даже излишне многословно поблагодарил секретаря и быстро зашагал домой.

Поиск своеобразной фамилии Леонида в сочетании с нечасто встречающимся отчеством указал лишь на одного человека с такими данными. Компьютер незамедлительно выдал ссылки на три документа. Один из них — донесение 1945 года о безвозвратных потерях, согласно которому лейтенант Ноугорский Леонид Климентьевич, 1923 года рождения, командир огневого взвода артиллерийского полка, член ВЛКСМ, считался пропавшим без вести с мая 1942 года. Именно тогда, как удостоверяла запись в «Списке офицерского состава, разыскиваемого родственниками», с ним прекратилась письменная связь. Имелся на том сайте также Приказ ГУК НКВД СССР об исключении Леонида из списков Красной армии и еще один документ — персональная карточка военнопленного.

Эта карточка произвела на Максима самое сильное впечатление. Пусть и невозможно было взять в руки этот документ, все равно чувствовался его тяжелый, угнетающий характер. Все казалось в нем таким:





и потертые страницы отсканированного с двух сторон типографского бланка, и разграфленные клеткой таблицы; и чужие рубленные буквы готического шрифта; и фиолетово-черные штампы; и многочисленные записи с пометками, сделанные небрежным почерком; и серое пятно оттиска пальца, и фотография — небольшая и темная. На ней в гимнастерке, лишенной знаков различия, без головного убора, с прямоугольной табличкой на груди был изображен Леонид. Его трудно узнаваемое лицо выглядело теперь отчужденным, хмурым и пустым, совсем не схожим с тем, на довоенном снимке. А ниже фотографии стояла начертанная красным карандашом надпись на русском языке: «Умер 29.09.42».

Карточку Максим рассматривал долго: вчитывался в текст записей, пытался разобраться в непонятных ему формулировках, пробовал перевести с немецкого некоторые слова. А порой и просто глядел на этот пронзительно тревожный документ, который мало кого мог оставить равнодушным.

На следующий день к Максиму после работы зашел отец. Ему, видно, тоже был интересен результат исследований сына.

— Как тут у тебя дела продвигаются? Узнал что по Леньке?

Максим показал находки отцу:

— То, что в списке безвозвратных потерь от сорок пятого года значится пропавшим без вести, — это нормальная практика, как я понимаю, для оформления пенсии его семье. А вот с карточкой военнопленного еле-еле разобрался, и то далеко не до конца.

Развернув изображение первой страницы, он увеличил его и, водя по нему курсором мышки, начал объяснять:

— Вот номер лагеря... Вот фамилия и имя... Тут все просто, они уже нашими специалистами переведены. Вот дата рождения и место. Ниже — вероисповедание, тут пусто. Имя отца. Это взамен отчества, у немцев ведь его как такового нет. Вот девичья фамилия матери, уж и не знаю зачем, ну да кто их, немцев, разберет. В соседней колонке, где национальность указана, хоть и не переведена, и так понятно — русский. Ниже воинское звание, место службы, должность. А здесь — где и когда пленен. Тоже не переведено, но дата «17.05.42» и так понятна. А вот Kertsch я сам определил — Керчь.

— Да, — согласился Евгений Анатольевич. — Печально известная Керченская оборонительная операция. Одна из многих трагедий тяжелого сорок второго года... Знаешь, как тот год еще называют? Учебным. А ведь какой большей кровью мы за ту учебу заплатили! И на Керченском полуострове тоже. Как там про те события у Константина Симонова? «По всему проливу бескозырки да пилотки...» Не всем тогда на Тамань эвакуироваться удалось. Кстати, следствием этого была оборона Аджимуткайских каменоломен. Однозначно героический эпизод той войны. Но и трагичный — там тоже почти все погибли.

— А вот здесь, еще чуть ниже, — продолжил сын, — указано, в каком состоянии попал в плен. Тут и написано, и подчеркнуто: «Verwundet» — раненый.

Максим сделал паузу, стараясь придать значительности этому обстоятельству.

Отец промолчал. Мало кто в плен по собственной воле сдается, а уж раненым или здоровым угораздило туда попасть — на то бывает еще и непреодолимая сила обстоятельств.

— А здесь, — продолжил Максим, — рост и цвет волос. Отпечаток указательного пальца правой руки и фотография.

Отец, нагнувшись чуть ближе к монитору, долго молча вглядывался в снимок, потом вздохнул:

— Умер в сорок втором году... Девятнадцать лет всего было парню.

— Да-а-а... — протянул сын и указал на несколько записей, сделанных от руки на немецком языке. — Тут много чего написано...

— А как переводится? — спросил отец.

— Не знаю.

— Ты же немецкий изучал! Что, и со словарем перевести не в силах?

— Я, если честно, пап, кроме слова Kertsch, ничего тут не понял, — признался Максим. — Есть профильные форумы в интернете, там показано, как эти карточки правильно читать. Я поискал и нашел. А надписи эти мне и разобрать-то сложно. Слишком коряво написаны. На другой стороне вообще ничего не понятно. Тут почти пусто, а то, что есть, — на русский не переведено. А вообще здесь много чего должно быть. И особенности характера, и знание языков, и поведение, и прививки, и заболевания. Но эти пункты не заполнены. Даже личный номер здесь не указан. Записи есть только там, где учитываются наказания и перемещения из лагеря в лагерь. Но все на немецком, без перевода. И у меня их перевести не получилось. Хотя, конечно, хотелось бы узнать.

Евгений Анатольевич помолчал с минуту — думал, легонько барабанив по столу пальцами. И принял решение:

— Значит, поступим мы так. Ты распечатаешь эту карточку. Только постарайся, чтобы покачественнее вышло. А я в школу отнесу — может, там переведут. Учителя у нас по иностранному языку хоть и молодые, да вроде ничего. Один точно толковый. Вот только у него основной английский, а немецкий — второй. Но, я думаю, справится. А ты тем временем поспрашивай на форуме.

Так они и поступили. К концу недели получили результат, причем в один день и из школы, и с форума.

В субботу вечером, когда уже задернуло окна густой чернильно-синей завесой сумерек, Максим с отцом, положив перед собой на стол копию карточки со свежими пометками перевода, принялись выяснять оставшиеся вопросы о судьбе погибшего в плену лейтенанта Леонида Ноугорского.

— Наказание у него за побег. Вернее, за попытку. Неудачную, так как был пойман, — начал с записей на обратной стороне карточки Евгений Анатольевич. — «21 Tage gesch. Arrest» — двадцать одни сутки строгого ареста.

— На форуме так же перевели, — подтвердил сын и уточнил: — Это, кстати, у него первая попытка была. И еще, судя по записям ниже, он





сначала был в триста шестьдесят четвертом шталаге, в Николаеве, а потом его в другой лагерь отправили. В триста шестьдесят пятый во Владимире-Волыньском. Там вроде как офицерское отделение было — офлаг ХІА.

— Тут все понятно. Теперь дальше, — перевернул копию карточки Евгений Анатольевич. Подчеркнув слово в надписи на немецком языке, где была указана дата смерти Леонида, произнес, придавая значение словам: — «Erschossen» переводится как «застрелен».

— «Auf der Flucht erschossen» — расстрелян при побеге! — уточнил Максим. — Так на форуме эту формулировку полностью перевели. Получается, был убит при второй попытке к бегству.

— Да, — взглядевшись в закорючки чужих букв, согласился отец. — Странно только, что при изначальном переводе нашими была сделана запись — «умер».

— Ну, такое встречается, — объяснил сын. — Мне на форуме сказали, что обычно писали — «расстрелян» или «убит». Но иногда и так записывали.

— Не смирился парень! — подвел итог Евгений Анатольевич, выказав этими словами уважение к поступку Леонида. — Непобежденным из жизни ушел.

Отец и сын помолчали. И тишина совсем не казалась пустой, она и без слов была наполнена смыслом.

— Слушай, пап, а если что-то типа небольшой экспозиции о Леониде Ноугорском в школьном музее выставить? Ты же им заведуешь.

— У нас вообще-то музей посвящен истории школы... — задумчиво протянул Евгений Анатольевич.

— Ну и что? Я там стенды с нашими земляками-героями видел. Тоже ведь тема Великой Отечественной. Герои эти — люди, конечно, заслуженные и известные, все о них знают. Но не одни ж они победили, многие безызвестными остались, вот как Ленька, например. Что он, памяти не заслужил? А вспомнить о нем, получается, некому — родни ведь близкой не осталось. Ну, а тем, кто есть — я имею в виду Черкашиных, — он без особой надобности. Положат фотографию в альбом — да и забудут. Она им, эта фотка, как я понял, не нужна. Они ее в музей с радостью отдали бы. Еще можно карточку военнопленного, в цвете распечатанную, приложить, краткую биографию написать. Много места это не займет. Все-таки Леонид ведь, как ни крути, тоже к нашему городу отношение имеет.

— Ладно, ладно. Что ты меня тут агитируешь? Хорошо, подумаем, — многообещающе улыбнулся отец. Ему понравились и горячий порыв сына, и предложенная им идея.

И хоть Евгений Анатольевич ничего не пообещал Максиму в тот вечер, но сам для себя решил, что непременно воплотит в жизнь этот замысел.

В середине следующего месяца в школьном музее появилась новая экспозиция: снимок, распечатанные в цветном виде копии документов и биография Леонида Ноугорского.

«Простенько, а все-таки хорошо получилось, — оценил экспозицию Максим, мысленно подводя итог своего исследования. — Результат достигнут. Можно, пожалуй, и точку поставить».

Но, как оказалось, рано еще было ставить точку в этой истории. Потому как случилось ей дополниться еще одним небольшим, но веским фактом.

В конце зимы пришло сообщение от одного из форумчан с того сайта, куда Максим обращался за помощью в переводе карточки военнопленного. До чего же дотошливы — в хорошем смысле этого слова — бывают увлеченные своим занятием люди! В сообщении, адресованном Максиму, указывалось, что, согласно некоторым данным, в день гибели Леонида Ноугорского из того же лагеря (а точнее, при этапировании из него) сбежали еще два узника. Изучив их персональные карточки, коллега-исследователь пришел к выводу, что побег им удался и, вероятней всего, бежали они вместе с Леонидом.

«Да, — согласился Максим, рассматривая документы беглецов. — Судя по указанным данным, эти двое бежали вместе с Ленькой». И у одного, и у другого в карточках стояли записи «auf dem Transport... entwichen», которые были переведены как «сбежал при транспортировке». Но главное, датировались эти записи тем же числом, что и смерть Леонида — 29.09.42, и лагерь военнопленных, откуда их везли, был тот же.

Выразив форумчанину в ответном сообщении свою огромную благодарность, Максим, взволнованный новой информацией, сразу прикинул: «Хорошо бы теперь установить, что дальше с этими людьми стало. Вдруг еще что-нибудь о Леньке разузнать удастся?»

Для этого понадобилось вновь обратиться к уже знакомым интернет-ресурсам. Там Максим выяснил, что, сбежав из плена, те двое добрались до одного из партизанских отрядов, действующих на территории Белоруссии, сражались в тылу врага, а после соединения с наступающей на запад Красной армией продолжили войну в ее составе. Один из них погиб в начале сорок пятого года при форсировании реки Вислы, а второй с боями дошел до берегов знаменитой Эльбы — «до соприкосновения с союзными нам англо-американскими войсками», как сообщалось в наградном листе на орден Красной Звезды.

Точен, но вместе с тем лаконичен и сух язык официальных документов. И, надо думать, не удалось бы Максиму найти еще какую-либо дополнительную информацию о судьбе Леонида, если бы он случайно не наткнулся на некую статью о ветеране, помещенную его внучкой на странице в одной из популярных соцсетей. Все указанные там данные свидетельствовали, что этот фронтовик и есть тот самый доживший до Победы солдат, который бежал из плена в одной группе с Ленькой. Вряд ли, конечно, было что-нибудь известно о лейтенанте Ноугорском внучке фронтовика (сам он к тому времени уже давно умер), но Максим на всякий случай решил написать ей.

И оказалось, совсем не напрасно! Хоть по интересующему Максима вопросу женщина ничего существенного сказать не могла, но у нее в семье сохранилась видеозапись с воспоминаниями деда о войне. Запись эту



делало их местное телевидение для передачи, посвященной 50-летию Победы. Сама телепередача, довольно продолжительная, состояла из многих интервью, взятых у ветеранов со всего региона. Каждому из них отводилось всего по несколько минут — только-только и хватило, чтобы немного рассказать о себе. Но таким был уже смонтированный вариант передачи, а в семье фронтовика имелась еще и полная, не урезанная версия беседы с ним. Оцифрованную копию этого видео Максим получил на свою электронную почту после недолгой переписки.

Не совсем складно, смущаясь объектива видеокамеры, путаясь в некоторых деталях, то и дело поправляя отяжеленный множеством наград пиджак, пожилой человек переключался с одного эпизода на другой, вспоминая о своем боевом прошлом. В основном рассказывал о партизанском отряде и боях и лишь совсем немного — о плене. Но как раз в этой части рассказа, оправдывая ожидания Максима, старик упомянул «лейтенанта Леньку», вместе с которым он и еще один товарищ бежали во время этапа из лагеря. Именно Леонид, по его словам, был инициатором побега, он же в критический момент и спас их, уведя за собой пустившихся за ними в погоню преследователей. «Спас ценой своей жизни» — таковы были слова ветерана.

Пусть и не изобиловала подробностями эта часть повествования, но было заметно, как увлажнились глаза старого солдата, как дрогнул его голос от избытка нахлынувших воспоминаний и чувств.

И Максим вдруг отчетливо, будто воочию увидел, представил то, что когда-то пришлось пережить лейтенанту Ноугорскому: гнетущий ужас немецкого лагеря, опутанного сетью колючей проволоки; холодный мрак карцера, куда Леонид был отправлен за первую попытку к бегству; второй побег из наглухо запертого вагона, везущего узников в Германию; бешеный стук сердца во время изнурительно долгого бега; захлебывающийся собачий лай погони, лишаящий всякой надежды; отчаянное самопожертвование, на которое Ленька пошел ради спасения товарищей. И дробь автоматной очереди, закончившей его жизнь...

Подвиг, совершенный Леонидом Ноугорским перед смертью, безусловно, заслуживал упоминания в его биографии, и Максим позаботился об этом.

А экспозицию, посвященную памяти лейтенанта Ноугорского, можно и сейчас увидеть в школьном музее.



Сергей ВОЛКОВ

НАД МЕСТНЫМ АХЕРОНТОМ

* * *

Нарисуй мне грустное, весеннее,
Той стране березовой под стать,
Что поет и плачется Есенину,
Век бы мне которой не видеть.
Где хотелось счастья — только веточку,
А густые рощи не нужны.
Сделай мне, художник, брюки в клеточку —
Чехова любимые штаны.
Напиши с меня, коль больше не с кого,
Мокрый снег на тающем плаще.
«Стушевался» — слово Достоевского;
Самое любимое вообще.

* * *

Помещается в луже осенней
Мой, наверное, полный портрет.
Посижу на скамейке под сенью
Черных дней и безоблачных лет.

Одному научился — быть проще
И подальше уже от морей
Все кружу вечерами по роще
На цепи у своих якорей.

Жаль, что поздно слова отыскались,
От которых отречься не жаль.
Тополя на ветру расплескались,
Гаснут звезды, и тонет печаль.



Без очков уже вижу пределы,
И ладонь козырьком не держа...
Но бушуют дубы-корабелы
И у сосен — морская душа.

* * *

Принять, отойдя за помойку,
Спиною гараж поддерживав,
И чистой осины настойку,
И слезы твои на рукав.

Вороны, сплошные вороны.
А все ж и они хороши
И вписаны в черные кроны,
Как осень в рисунок души.

С тобой до вечернего света,
До снега, последнего дня...
Но как расплатиться за это?
И что еще есть у меня?

* * *

Мысли надвигаются, как тучи,
А хочу, чтоб были облака:
Как твои приветствия, летучи,
Как твои беспечные «Пока!»,
Чтоб опять глаза твои сказали
То, во что поверить не могу,
Как тогда, на Ладожском вокзале,
Как потом — на невском берегу,
Как тогда, в маршрутах, снятых с линий,
В их огнях, в метели голубой,
Как потом — в ночной метели синей,
Вечно заматавшей нас с тобой.

* * *

Броненосец в русском флоте был такой: «Не тронь меня».
Ты, быть может, в том же роде, и на вид крепка броня,
Что тобой была надета, и в которой ты одна,
А мои названья все-то — миноносцев имена:

Я кружу с тобой по морю — «Бесподобный», «Типовой»,
Все чего-то семафору над лазурной синевой,
И туман взрезаю встречный, и волну винтом крою,
«Озабоченный», «Беспечный», да в кильватерном строю.

И на «Робком», и на «Гордом» я завесу ставлю, дым,
Чтоб идти твоим эскортом, охранением твоим,
И растает он во мраке, навсегда «Пропащий» мой,
И проступит на бумаге синим следом за кормой.

* * *

Тот, на кого тебя оставлю,
Пускай вино мое допьет —
За ту графу, где прочерк ставлю,
И ту, где птичка промелькнет.

Как намокали рукавички,
И сохли слезы у берез,
И всё свистели электрички,
И вся — огонь, и вся — мороз!

Чернеют цифры на билете —
Постой, верни, останови, —
Ведь я любил, хоть все на свете
Преградой было для любви.

* * *

Как была на кухне водка
И стоял извечный дым,
Как жила в стене проводка
С алюминием своим

На Чайковского в квартире —
Пепел, рюмка, бутерброд.
И затеяли мы в мире
Совершить переворот.

Потому что все пропало,
Да и Родина ушла, —
Пачка пятая «Опала»,
Пыль надежды со стола.



Нас бы, брат, за это дело
И за прочие дела...
Но бумага все стерпела.
И посуда не сдала.

* * *

Голые, зеленые ли кроны,
Черные иль белые ветра —
Над двором поспорят вороны
Отчего-то ровно в пять утра.

А потом, расставшись с горизонтом,
Коротая в небе краткий век,
В шесть часов над местным Ахеронтом
Чайка закричит как человек.

Слышишь — над кормушкой снова, снова
Воробьи чирикают гурьбой...
Лишь твое совсем исчезнет слово,
Как и то, что скажут над тобой.



Володя ЗЛОБИН

СНЕГ ПОШЕЛ

Р а с с к а з

Ивана мотало в набитой барахлом «шестерке». Со всех сторон поджимали упаковки энергетика, спальные, коробки, и на каждом ухабе, когда в цинках¹ нетерпеливо вздрагивали патроны, Иван спрашивал себя — почему они едут на передок, как на драчку в соседнее село? Угадав вопрос новичка, водитель весело прокричал:

— Зато не прилетит!

Иван взаимосвязи не уловил. Он посмотрел на дальний, чуть грозный рассвет, от которого степь бросала долгую желто-черную полутьму. Мягкие перепады равнин были покрыты воронками, словно кто-то ожесточенный повывергал неизвестные растения. От всего шел звук, жизнь и тепло: степь торопилась успеть до жары, и накаляющаяся машина изо всех сил спешила к посадке. Там ждал взводный, который придирчиво осмотрел вывалившегося из «шестерки» Ивана:

— Так, чтобы тик-токи здесь не снимал, понял?

Под такое приветствие Иван впервые в жизни ступил в окопы. Взводный устроил беглый допрос — умеешь водить, шарить в компах, паять, кашеварить, класть печи, чинить бензопилы, столярить, копать в моторах, соображать в электронике, хоть что-нибудь вообще умеешь или ты просто залетное тело? Иван сказал, что ходил в тир и умеет стрелять, а ему, поморщившись, объяснили, что это вообще ни о чем, даже дети джунглей так могут, сегодня же иди к тяжелым расчетам учиться устраивать переполох, вы там в песочнице с чем игрались вообще?

Наконец, внимание привлекла снаряга Ивана.

— Ну у тебя и баул! У тебя там что, мамин холодос?.. Плитник тебе зачем? Спецназер типа? А теплак у тебя есть? Нет? Ну и зачем ты нам такой нужен? Вместо плитника лучше бы теплак купил. У нас один всего. Как ночь — хоть увольняйся. А броню мы б тебе подогнали.

Иван хотел ответить, что теплак дорогой, а к плитнику у него есть защитные модули, но потерялся из-за следующего вопроса.

— Ну, может, выход на волонтеров имеешь?

— С чего бы?

¹ Цинк — металлическая коробка для транспортировки и хранения патронов.



— Ты весь такой... как бы... модный такой, современный.

Командир неодобрительно посмотрел на бороду Ивана. Бойцы на передовой ходили с тусклой пыльной щетиной, и взводный — конечно, из кадровых — ворчал. Он скреб себя каждый день, словно хотел походить на обожженную голую степь, и был красный, обветренный, с сорванным хриплым голосом. Иван смущенно сказал, что он вовсе не современный, а верующий, за други своя приехал, после долгой беды с задумчивым батюшкой. И телефона у него нет, только кнопочная звонилка, так что...

— Ладно, Борода! — провозгласил взводный. — Знакомься, устраивайся. Вечером первое боевое задание. — И уже снаружи укрытия закричал: — Какая сука опять окоп проссала?! Чё вы как свиньи? Ну дойдите до толкана!

Парень не стал возражать, что на полигоне уже взял позывной, и не этот, другой. «Боевое задание» так взбудоражило кровь, что в суматохе Иван не заметил подступивших сумерек. Взводный вызвал его к трем бойцам. Они стояли у изогнутой тележки с большими колесами.

— Так, воины! У нас пополнение. Объясните там, что к чему. И да: кто к Ярынке сунется — ляжку прострелю, это понятно?

Мужики неопределенно заворчали. В тележке лежали пластиковые пятилитрушки, дерюга, веревки. Когда взводный ушел, к Ивану подскокил боец лет сорока: худой, затемненный, с ножевым блеском в глазах.

— Здорова, паря! Ты заверни в село, пацаны там подскажут тебе. Купишь вот. — Он протянул обтерханные купюры.

— Чего купить-то? — не понял Иван.

Темный исчез. Один из солдат сплюнул:

— Ты Окуню ничего не покупай. И броню сними, упреешь.

— Не-не. — Иван вцепился в снарягу. — Не.

— Смотри, я ее на телеге не повезу.

Через час Иван выдохся, а они даже не дошли до ручья. За ним была деревня на полсотни домов, где едва теплилась жизнь. Хитрая бабка Ярынка продавала там самогон для всех окрестных позиций. Его-то и попросил купить Окунь.

— И что, много пьют? — уточнил Иван.

— Ну так, не особо. Пряма вот чтоб аватаров нет.

Когда они спустились к водопою, Иван подумал, что натопанное место наверняка приметили и сюда могут навести артиллерию. Тележку заставили бутылками, накинув на плечи по две пятилитровки. Груз толкали по очереди. Иван хрипел, колени и спину ломило, а пропитавший белье пот омерзительно напоминал, что даже по прибытии ничего не закончится. Почему воду не привезли на той «шестерке» с днищем из папье-маше? Почему вырыли опорник так далеко от ручья? В ответ хмыкнули: потому что армия — это не как положено, а как получится. Товарищи шли налегке, двое даже без оружия, словно не боялись засады. С каждым шагом Ивану все мучительнее хотелось налета, чтобы он мог обреченно свалиться в траву, к стрекотавшим по кому-то кузнечикам.

На позициях их обшмонал взводный. Когда командир ушел, вынырнул Окунь:

— Молодец! Молодец! Ты смышленный... Сныкал, да? Пойдем, покажешь.

— Так, — Иван еле отдышался, — я не пью и тебе не советую. Ничего покупать я не буду. Вот деньги.

Окунь нехорошо сощурился и процедил:

— Себе оставь.

Деньги Иван сдал в общак: отряду был нужен новый генератор.

Потянулись боевые будни. Оборонял опорник неполный пехотный взвод — всего человек двадцать, зарывшихся в иссеченной артиллерией лесополосе. Через заминированное поле в такой же увечной посадке засел противник. Окопы больше напоминали норы, перекрытые сетками, бревнами, толстыми ветками, даже рабицей, — в небе круглые сутки жужжали мелкие гады с гранатами, а по ночам прилетало разлапистое чудище с минами. Беспилотники держали в постоянном напряжении, из-за чего все, не сговариваясь, называли их пидорами. Почему беспилотники называли пидорами? Потому что у них не было никаких принципов. «Чей пидор летает?» — вопрошала дешевая неуставная рация. Если беспилотник был своим, владелец уточнял: «Я — такой-то, пидор мой». Однажды дронавод с нежным позывным Воробушек забылся и все перепутал: «Я — пидор, Воробушек мой». Посадка сотрясалась от хохота до самого вечера. Иван впервые понял силу военного смеха — беззлобного и живого.

Раз в пару дней прилетало с десятков снарядов. В ответ арта тоже накидывала куда-то туда, и поле прирастало новыми воронками. Мины клались точнее — набившись в укрепленный блиндаж, бойцы рассказывали, что хороший минометчик со второго выстрела попадает в расстеленную за полтора километра простынь. Среди жары, терпкого солдатского духа и свиста Ивану казалось, что, если мина взметнет укрытие, его, как покойника, завернут в эту простынь и понесут отпевать.

Вскоре он привык к присанным стенкам окопа, к песку в макаронах и даже к несварению от местной воды. Пить только кипяченую или отаблеченную он догадался только после стремительного бега в уборную. Все вокруг было как в подростковой книжке: в новинку и с чуточкой настоящей опасности.

Только Окунь постоянно цеплялся к Ивану. Поводом была его борода. Ивану прямо сказали, что бородатыми живут одни чуханы. Парень хотел привести в пример любого святого, но решил не пачкать их имена. Сказал только — верующий. Окунь ответил — тоже. И провел прокуренным желтым ногтем по шраму на смуглой щеке.

— А это что за слюнявчик?

Окунь указал на напашник. Взвод носил неброские армейские бронежилеты. Иван, напротив, тяжело обвесил себя: прицепил к плитнику горжет, даже наплечники, и неповоротливо, как средневековый рыцарь, втискивался в ходы сообщений. Над парнем добродушно посмеивались, а взводный однажды простучал выдернутую из чехла плиту:





— Тебя не надурили? Не страйкбольная? Отстреливал?

Конечно, Иван ничего не отстреливал. Если бы кого и пришлось — лучше Окуня. Было в нем то ли гаденькое, то ли подленькое, и то, что между этими словами вдруг находилась разница, вполне характеризовало обидчика.

— А ты, получается, неверующий, — насмешливо заключил Окунь.

— Почему это? — вскинулся Иван.

Окунь плотоядно улыбнулся — так улыбаются, когда нащупали болезненное место.

— От судьбы броня не уберезжет.

Иван напомнил, что воля бьет случай, но Окунь так естественно выставил голову за обкладку, что на несколько секунд Иван поддался столь беспечному богословию. Без шлема, с пятнами ранней седины, Окунь высунулся прямо в небо и был ожален обжигающей синевой. Лицо его налилось благостными тенями.

— Погодка-то, а?

Окунь был из первой волны, местный, пошедший воевать из тюрьмы и успевший снова в ней посидеть. За все эти годы он не получил ни одного серьезного ранения. Только в самом начале какой-то требовательный командир прострелил ему ногу за синьку. В доказательство Окунь показывал маленький белесый узелок от пули. Он все время называл чьи-то забытые позывные и, как юную любовницу, мечтательно вспоминал раннюю анархию, когда автоматы выдавали по паспортам, а если документов не было — то ничего, можно было и так. Окунь умел вовремя потеряться и так же вовремя найтись, что-то вымутить и избежать за это ответственности. Если пропадала чья-то вещь, все в первый миг думали: «Окунь», а во второй признавались: «Да нет, он не мог». С Окунем никто не был близок, но в бою его ценили за дерзкую руку. К тому же он вселял надежду, что выжить можно всегда и везде. Даже на длинной дистанции. Окунь в ответ подкалывал молодых — тех, кто был на войне месяц, полгода, год.

Ивана подначивали, как самого юного. Он страстно хотел отличиться, но взвод сидел в глухой обороне. Никто не тревожил вражеские позиции, немногочисленную технику отогнали в тыл. Даже снабженческую «шестерку» держали подальше от передка. Если не брать в расчет пидоров, молчал и противник. Только иногда небрежно сплевывала артиллерия — как кожурку от семечек, всё мимо. День за днем Иван томился в слоеном пироге безымянных посадок. Сослуживцы благословляли затишье. «Терпилы», — все чаще повторял Иван любимое Окунем слово.

А ведь на сборном пункте — таком, где не плачут женщины, — Ивану повстречались настоящие добровольцы. Веселые даже по меркам южного гульбища, мускулистые, в хорошей снаряге, с рыжими разбойничьими бородами и тату, язычники ехали на праздник, где их давно заждались. Они звали Ивана с собой, а он, сжимая крест, отказался, и уже без него гулял по степи мужской смех, сверкали хищные белые зубы, и не получалось ответить, чего в мире больше — задора или летнего солнца.

Просиживая в отхожем месте из-за незнакомой воды, Иван все чаще думал, что нужно было разжать руку и с теми язычниками, наверняка штурмовиками, — в самое пекло, а там разберутся...

Окунь первым почуял неладное.

— Суета, — мрачно изрек он.

На позиции приехал чужой офицер, который долго срисовывал местность. После него взводный громче раздавал нагоняи. Солдаты хмурились и усерднее долбили землю. А в сумерках на опорник зашел потрепанный взвод батальонной разведки. Он собирался кошмарить противника.

— Карта нормальная или как всегда? — спросил командир про карту минных полей.

Разведчики имели вид усталых людей, которых постоянно дергают решать проблемы. Отряд Ивана блек на их фоне, напоминал мужиков на рыбалке, втайне от товарищей мечтавших поскорей вернуться домой. А настоящие воины были здесь — молодые, чертовски жилистые, со спокойными лицами, они расслабленно привалились к стенкам окопов и зачем-то обвязывали гранаты тряпками, словно знали тайный бабушкин рецепт. Несмотря на то, что он уже не раз попадал под обстрел, Иван впервые почувствовал дрожь настоящей войны — близкое молчаливое убийство.

Командир разведгруппы просил добровольцев для прикрытия, но взводный пошел в отказ — вы уйдете, а мне еще опорник держать, каждый боец на счету.

— Ну хоть группу обеспечения ты мне выделишь? У меня парней повыбило.

Взводный неохотно кивнул. Иван первым вызвался носить бэка² и, если что, раненых.

Разведчик оглядел его и одобрительно хмыкнул:

— С таким настроем тебе к нам надо. Ты говори. Если что, заберу.

До самой атаки с лица Ивана не сходила глупая улыбка: как равного, его похвалил настоящий солдат.

Из темноты протянулась рука с наколками.

— Первоход, ты куда прешь вообще? Им на тебя плевать. Ты для них расходник, торпеда. Не лезь с ними на короток — кончишься.

Неожиданно для себя Иван расสวิрепел и разразился матом.

— Ты не понимаешь, что ли? — зашипел Окунь. — Они опорник раздраколят, а прилетит по нам.

— Это война, — пожал плечами Иван.

— Да, это война, — усмехнулся Окунь.

Разведчики ушли. После томительного ожидания раздался взрыв, затем — еще один, и защелкала стрелкотня. Передовой дозор подорвался на минах. Во тьму сразу же нырнула группа эвакуации. Иван окунулся в тот обжигающий океан страха, который отступает с каждым сделанным гребком и начинает согревать и подталкивать, если веришь, что способен доплыть до другого берега.

² Бэка — БК, боекомплект.





Мир был громким и тесным. Иван быстро сообразил: если пуля бьет коротко, рассерженно, зло, значит — по тебе, рядом, но если пуля разочарованно режет воздух, токует и плачет — ей жалко, что она далеко от людей. Навстречу уже волокли раненых, и бросившийся помогать Иван только добавил неразберихи. Тогда он встал на колени и начал стрелять в сторону вражеской посадки. На него тут же заорали и всекли по шлему — еще до толчка Иван догадался, что выдает местонахождение. Пули стали резвее, мат — громче, и Иван растерянно замер, медленно отдавая себя во власть стыда. «Теперь не возьмут, не возьмут, не возьмут!» — билось внутри. Ему захотелось все исправить, он заоглядывался и понял, что раненые сбросили снарягу, но товарищи забрали только оружие. Он бросился по следу, не думая о минах и пулеметном огне. Вереница пуль выбилась откуда-то из-под земли, словно ждала там и выскочила раньше времени. Мелкие камешки ударили по лицу. Иван откатился, потерял ориентир и, проплутав, лишь чудом наткнулся на две темные окровавленные кучи, похожие на разлохмаченную кожуру. Как людей, Иван потащил их к окопам.

Парень свалился в них, когда к стрелкотне подключились минометы. Они сразу зажгли генераторную, и ночь стала еще черней от клубов маслянистого дыма. Снаряды тридцатимиллиметровой пушки с воющим рикошетом расщепили деревья. Иван заполз в нору, у которой уже был хозяин, и переживал обстрел с поразившей его надеждой: теперь никто не вспомнит его оплошности. Он предвкушал благодарность разведчиков, но один из них, принимая обмундирование, покачал головой:

— Снаряга должна быть как шкура, которую не жалко сбросить. Слишком дорогая будет стоить жизни.

Разведчики забрали своих и чужих раненых. К утру прикатила «шестерка», куда юркнул совершенно здоровый Окунь. Машина тут же запыхала с позиций. Взводный долго распекал Ивана. Смысл его слов сводился к тому, что вот так необоснованно везет только раз, в первые дни, словно каждый приезжает на передок с запасной жизнью, и не нужно думать, что так будет всегда. Иван кивал, хотя относился к везению с предубежденностью веры. Следующий день взвод восстанавливал окопы, пилил, откапывал. Иван так умаялся, что даже не заметил, как его желудок впервые выдержал местную воду.

А потом начался обстрел.

Над посадкой зависло сразу несколько пидоров, которые сделали свое черное дело. Окоп колыхнуло, земля поднялась — и не верилось, что есть сила, которая может вздыбить лежалую, перекрученную корнями землю, так неохотно поддававшуюся лопате. До Ивана не сразу дошло, что это не попали, это только рядом, и что же будет, когда попадут, если даже от промаха землю содрогнуло и повело? Он забежал в блиндаж, где на приникших людей с потолка лился серый земляной дождь, словно каждому на шлем тонкой струйкой ссыпали пепел. Никто не разговаривал и не шутил — люди притихли, стали похожими на животных, почуявших близкую смерть, а землю дергало, будто она оказалась в руках страшной, ненавидящей всех великанши.

Иван ощутил себя настолько маленьким и ничтожным, что зашептал молитву, а когда ее семена не дали всходов, понял, что читал молитву как заклинание, с верой в один только магический ритуал. Перейдя к псалмам, торжественным и обещающим, с меньшей, чем в молитвах, тихостью, Иван попытался перебить гром громом, укрыться за чем-то большим и величественным. Но ведь это он шел грудью вперед! Это он мечтал заслонять! И когда после Иван ходил по разбитым окопам, помогая раненым и относя убитых, то понимал, что крещение не обожило его, а ожгло.

Чтобы не думать о себе, Иван начал присматриваться к окружающим.

Взводный был преисполнен суровой заботой. Ему не хватало бойцов, времени и, самое главное, злобы — мат его был беспокойным, опасаящимся за людей, и взводный производил впечатление человека, обреченного прыгнуть в огонь. В блиндаже лежал доброволец-белобилетник, от болячек которого мучился весь отряд. Он страдал то почками, то спиной и доставлял больше неудобств, чем пользы. На всю ругань он отвечал, что должен быть на передовой, с пацанами. Его с любовью звали Овощем, в той странной благодарности, какая бывает к необязательному страданию. «Что, лежит Овощ?» — спрашивали после разлуки. «Лежит», — говорили в ответ, и мир становился чуть предсказуемее. Дроновода Воробушка все упорно кликали Воробьем, а он, из столицы, с жутко оплачиваемой работой, носил в платочке вынутую из уха серьгу и запускал своего пидора в небо. Воробушек со смехом рассказывал, как на него обиделась снайперская пара: посмотрев видео со сбросами, снайперы мрачно заметили — когда-нибудь дронов станет так много, что вы еще с тоской вспомните нас.

Обстрелы продолжались. В ответ на передок прикатил танк. Он раздолбал посадку и, ревя турбиной, уполз обратно. Наступило затишье, нарушаемое лишь привычными ударами по расписанию. Их встретили с облегчением, хотя Иван желал встряски и если уж смерти — такой, чтоб вдруг, без напрасных пред ней вопросов. Еще лучше — в режущем кинжальном бою. А сидеть и ловить снаряды — повезет, не повезет?.. — в этом не было предназначения, на месте Ивана мог быть любой — трус, даже неверующий, — и парню хотелось настоящей войны.

Как только все успокоилось, на попутке вернулся Окунь. Он притащил новый генератор и вальяжно объявил, что «шестерку» раструсило в ДТП с посетителем клуба анонимных алкоголиков. Взводный тяжело посмотрел на Окуня. Ивану было любопытно, где тот родит новый автомобиль, но Окунь вел себя как обычно. Он беззаботно болтал с сослуживцами, все чаще приседая на уши одному угрюмому мужику, которому втолковывал о необходимости уделять на людское. Вскоре тот отписал подразделению оставшуюся у него на гражданке «буханку».

Озлобившийся противник тоже решил совершить вылазку.

Ночью, когда Иван стоял на пулемете, по радиации передали: «Движение на два часа». Он дал очередь, и гильзы радостно вылетели вперед, словно хотели догнать пули и тоже кого-нибудь приложить. Нейтралка заговорила, там начали рваться мины, пошла ответная стрелкотня. Она





выла так высоко, словно люди не хотели убивать друг друга. После боя с ничейной земли донесся отчетливый стон.

— Гори в чертилове! — весело заорал Окунь. — Борода, давай лезь за ним!

Раньше он и правда бы слазил, но за недели, проведенные на передке, в Иване окрепло другое милосердие.

— Надо дострелить, — предложил он.

— Не-е-е, — осклабился Окунь, — пусть дотекает.

Иван поежился. Окунь часто использовал страшные слова. Вместо «отчаянный» он говорил «отчаюга». «Двухсотых» называл «холодными». «Ощуч» заменял «ощущение». Противника Окунь исключительно «уестествовал». И вот — «дотечь»... Слово поражало беспощадной устремленностью, каким-то неизбежным уходом жизни, ее выкапыванием.

— Давайте я с пидора добыю, — нашелся Воробушек.

— Вдруг вытаскивать полезут? — помечтал взводный.

Раненый продолжал стонать — неподдельно, искренне, с той недоуменной болью, какая вырывает из груди плач. Он не мог ничего унять и был полон напрасной надежды. В стоне человек разучивался говорить, разом лишался языка, от которого оставались только протяжные животные ноты.

— Это надо прекратить, — твердо сказал Иван.

— Нет, — отозвался хор.

Иван понимал необходимость зла — они могли накрыть группу эвакуации или вытребовать за безопасный проход вражеских ништяков, — но не мог принять его. К стомам умирающего прислонился умысел, и то, что животный скулеж был подчинен логике, делало его невыносимым.

Как невидимый водный столб, Ивана продавила тяжесть. Он должен был разогнуть ее — вопреки товарищам, за противника, в том бессмысленном подвиге, после которого не остается ни своих, ни чужих. Нужно было только пошевелить рукой или чуть сдвинуть онемевшую ногу, выбраться из-под давящего столба, а дальше само, на легкости, на счастье оттого, что смог. Но Иван стоял. Тяжесть давила. В ней все было плавно, замедленно и предрешено. Это был сам ход вещей, ставший до того явным, что ему было не страшно, а странно противиться, словно выступал против законов физики.

Иван слушал, как дотекает человек.

И он дотек. Как река, которая могла кончиться.

В землянке Ивана нашел Окунь. Он рассказал о ком-то из прошлого, о псаломщике, который был в их отряде и наотрез отказался брать в руки оружие. Дьяк готовил, подносил «бомбрики», однажды сел за рычаги мотолыги и понесся на ней через минное поле за ранеными — вот сегодня, будь у них такой дьяк, он бы тоже не убоился долины³.

— И к чему ты мне это рассказываешь?

— Если взялся за плетку — не строй из себя целку.

³ Отсылка к Псалму 22: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной...»

— Всегда можно остаться человеком, — возразил Иван.

Казалось, Окунь ответит хлестко, но тот оставил Ивана наедине. По совести, Иван должен был быть как тот неизвестный, может, даже выдуманный дьячок. Но ведь и тот замарался: накорми — отряд станет охоч до войны, протяни кабель — по нему полетит приказ, даже раненый может вернуться в строй и убить. Иван прекрасно знал, как на это отвечает учение, и уже использовал волю, чтобы приискать себе меч. Он был готов погибнуть от него, принять колючий мученический венец, который был потому желанен, что все б навсегда простил.

Он помнил, как на полигоне их поучал немного безумный солдат:

— Сделайте зубы! Война — это зубы. И ноги. Как следует распарьте ноги и выстрижьте все заусенцы.

Ветеран заглянул в былое и повторил:

— Война — это зубы. И ноги.

Уже после Иван думал, что в античности мог быть такой бог — идеальные зубы на крепких мускулистых ногах. Белые зубы на черном круглом щите.

Вокруг как раз верили во что-то подобное.

По полям сгнил урожай, и повсюду кишели мыши: грызли тапки, ремни, изоляцию, заставляли дуреть окопных котов. Воробушек говорил, что в соседней посадке на одном из тополей висит чучело совы: трупом хищницы отпугивали мышей. Иван считал это отговоркой. На самом деле имела место древняя тотемическая страсть людей искать себе защитника. Чтобы не принесли в жертву тебя, надо подsunуть звероликой судьбе кого-то другого. Мир солдата был простым миром магизма, в нем было очень трудно хранить сложную веру. Военный быт стремился к отточенному ритуалу, беспрекословное выполнение которого обещало сохранить жизнь, и бойцы добавляли к требованиям устава свои собственные обряды. Взводный каждый день скреб лицо, а Воробушек перед запуском целовал беспилотник. Даже Овощ пил таблетки по какому-то хитрому соизмерению — по рецепту, говорил он, не работают, а вот на глазок еще как.

Иван старался этого избегать. Он соблюдал утреннее и вечернее правила, прекращая их, если чувствовал, что опять выталкивает заклинание. Когда в нагрудную плиту прилетел заблудившийся осколок, он счел это счастливой случайностью. В животе от нее стало так ледяно, как ни разу не случалось зимой, и потом долго, со смехом, оттаивало.

— Фартовый, — одобрительно заметил Окунь.

У него тоже не было ритуалов. Окунь верил в судьбу.

К концу лета, в близких дождях, на позицию выбрел человек. Среди бела дня, с оружием, ошалелый, он каким-то образом преодолел минное поле, где подорвались две разведгруппы. Разгадка была проста — чужая Ярынка, обеспечивающая фронт противника, сбила бойца с пути. Он наткнулся прямо на Ивана: весьма охотно избавился от автомата и не очень охотно — от канистры.

— О-о-о, прибаранился! — пропел Окунь при виде пленного. — Пойдем, дружок, все мне рассказывать.





Было в тоне Окуня что-то нехорошее. Пленный почувствовал это и начал лепетать посылно-поварские оправдания. Окунь мурлыкал от удовольствия. Он даже не стал возмущаться, когда взводный пнул канистру и на землю с бульканьем вытек спирт.

— Ливер, ливер-ливвер... — напевал Окунь.

Взводный одобрително хлопнул Ивана по плечу, и тот осознал простую истину: нельзя молчать, когда человека уводят в погреб. В блиндаже раскроются настоящие таланты Окуня: он принесет с собой что-нибудь жуткое — клацающий какой секатор, — пощелкает и разговорит, а потом отведет в дальний конец посадки, к помойке с битыми банками консервированного сала, и щелкнет уже затвором.

На плечи опять лег невидимый столб. Он обволакивал, пригибал. На этот раз Иван пошевелился, вытолкнулся из него, но не для того, чтобы сойти в блиндаж. Там тьма внешняя и скрежет зубовой, там уже никого не спасти. Иван спустился в низинку, где разрослись кушери⁴ из бурьяна, дикой конопли и настырного клена. Иван двинулся дальше, в непролазные заросли чертополоха, которые не смогли выкосить минометы. Бойцовое растение сразу ободрало лицо. Иван не обиделся — это был честный цветок, стебли его не таили яд. Жесткая шипастая держава оканчивалась мягкой пурпурной метелкой. Чертополох напоминал войну: тощий, самовольный, в шипах и истерзанных листьях, он распахивался багровой раной, какую раскрывает осколок. С каждой вонзенной колочкой Ивану становилось легче. Чертополох что-то выпускал из него, стравливал скопившееся давление, которое и было тем столбом, что припечатывало Ивана. Он обхватил колени и затаился среди сорняка, будто что-то натворил в отцовском саду и не хотел быть пойманным.

Иван выполз из зарослей, только когда его хватились и началась переключка. Взводный всек за оставленную позицию. Окунь сразу все понял и крикнул:

— Да в штаб его отправили, кому он нужен!

Со стороны то ли иронично, то ли серьезно добавили:

— Ага, в штаб!

В тот же день Иван подстриг бороду — не сбрил, а именно подстриг, чтобы от ладони остался палец. Будто дождавшись, война сразу же изменилась, сбросив поредевший взвод с насиженной позиции.

Их перевели на новый участок. Затем на еще один. Они окапывались и снимались. Мимо брошенного поля подсолнечника Иван сходил в свой первый накат. Затем отбил несколько. Сгоревшая самоходка напомнила ему околевшую рыжую псину. Он вместе со всеми брал и отдавал придорожные растянушки⁵, узнал, что такое буссоль⁶, и попал в поле под удар артиллерии. Легкая контузия окончательно встрясла из Ивана все лишнее, превратив войну в размеренный труд.

Настала осень. Степь лежала голая, неинтересная. Умным снарядом, сэкономленным на «шестерке», противник разнес лежку Воробушка.

⁴ *Кушери* — заросли.

⁵ *Растянушка* — населенный пункт, вытянувшийся вдоль дороги.

⁶ *Буссоль* — артиллерийский измерительный прибор.

Тяжело раненного, его отправили в тыл. Вконец замотавшийся взводный перестал бриться. Все ждали вражеского наступления, и без помощи пидоров приходилось по старинке засиживать наблюдательные посты. Один из них попытался вырезать противник — напарник моментально сбежал, бросив Овоща. Тот знал, что не сумеет доковылять до посадки, обложился гранатами, остался биться и победил.

— Нельзя вечно жить испуганным, — объяснил это Овощ.

Его имя было Сергей.

Ивана поставили в секрет вместе с Окунем. У последнего была рация и старенький монокуляр. Он с усмешкой наблюдал, как Иван намечает сектор стрельбы двумя обструганными веточками. Вдалеке, будто вспахивая что-то, мирно работал автоматический гранатомет: «Тух-тух-тух». С неба иногда срывалась тяжелая капля, которая разбивалась о лист кровельного железа, прикрывавший воронку с секретом.

— Погодка-то, а? — начал Окунь.

Иван не ответил.

— Тебя как в студенъ ужалили, — заметил Окунь. — Шаровым стал — все высматриваешь кого-то. Глаза спасибо не скажут.

От монокуляра и вправду разболелась голова. Иван потер веки. Он знал, что Окунь попросил поставить их вместе и сейчас, в нарушении всех правил, будет болтать и, может, закурит.

Окунь спрятал монокуляр:

— Я ж тебя сразу приметил, когда ты из «шохи» вышел. Заезжий гастролер не туда приехал. Таких за калиткой много. Так всего боятся, что все время бодрствуют. Накрутят себя, скандал, дым... Таким сторож нужен.

Иван поморщился. Он сжился с Окунем, как с занозой, и на людях почти не думал о ней, но в затишье она снова начинала колоть, и хотелось вырвать ее, пусть даже и с мясом. Окунь опять был без шлема, в одной только флисовой шапке, и вел себя так, будто не могло случиться плохого. За показным безразличием таилась хитрость, с которой Окунь слинял с позиций, как только на горизонте замаячил обстрел. Появилась та мысль о мести, которая часто посещает в безлюдных местах. Иван погромел ей, как барбариской, и сплюнул, не раскусив.

— Ночник дай, — сказал он.

— Ты думаешь, что понял тут все, да? — продолжал Окунь. — А я тебе так скажу: здесь вообще не для головы занятие. Что бы там мудрили ни плели, флажок там или земля — это так, ерунда. Не главное. С той стороны тебе тоже про детей скажут.

— А что главное? — с усмешкой спросил Иван. — Ощуч?

Окунь противно захихикал, словно знал правильный ответ и не собирался им делиться. Иван с брезгливостью смотрел на черного безродного пьяницу. В нем было что-то мелкое, неприятное тем, что оно прыгало и ускользало, появляясь то в глазах, то в ухмылке. Словно бесискушал слукавить, увильнуть и особенно — прикрыть глаза.

Впервые за долгое время Иван искренне перекрестился. Окунь отступил, окончательно затемнился, а внутри стало так правильно и легко, что Иван улыбнулся.



— Сгинь, — сказал он.

Иван продолжил сидеть в секрете, превратившись в одни только чувства, как древние охотники из пещер. Где-то там, снаружи, бродили четырехглазые хищники, хитрые, с острым жалом, но они не пугали, а, наоборот, подзадоривали, упрашивали выйти против себя с обожженным на костре копьем. Внутри пел огонь и кровь кипела от мысли, что может быть пролита́.

— Смотри! — неожиданно прошептал Окунь.

— Что?

— Видишь?

Иван припал к мерзлому краю. Взгляд его шарил в ночи. Вкопанные палочки намечали уходящую в степь тропу, где, замышляя недоброе, качалась трава.

— Что там? Что?!

Приклад ожигал щеку. Иван напряженно водил автоматом, когда Окунь со стоном привалился к стенке и стянул шапку. Иван тут же высчитал: сосед ранен чем-то совсем бесшумным, игольником из окопных баек, и уже был готов палить в темноту, когда Окунь блаженно запрокинул голову.

На лице застыла счастливая детская улыбка.

С неба падал первый снег. Быстрый и недолговечный, он сыпал мелкой удивленной крупой. Ветер заметал его под искореженный лист железа, в воронку с двумя людьми, и снег таял у Окуня на языке, будто не было в мире ничего непоправимого, ведь землю все еще мог укрыть кто-то любящий и терпеливый.

Снег шел и шел, сектор стрельбы пересекали снежинки, а Иван сжимал оружие и все вглядывался во тьму, пытаясь различить в ней врага.

Но там никого не было.



Ирма ЗАРЕЦКАЯ

ДУРНОЙ ГЛАЗ

Р а с с к а з

Ковалев Таню бросил. Комиссовался и вернулся с другой. Прочитав о его тяжелом ранении, но еще не зная, что он женился, Таня готова была все простить: запои, обещания больше никогда не ходить на войну, измены, нежелание создать семью, придирки в быту. Она подстриглась и покрасила волосы, сделала маникюр, надела не по сезону короткое платье и замшевые сапоги на шпильках, испекла мясной пирог и пополнила бар.

Остановил ее звонок матери Ковалева, Веры Александровны:

— Танюша, не приходи к нам сегодня. Нехорошо получится. Юра-то приедет не один... Молодая жена у него теперь. Прости меня.

Таня вышла на кухне, испугав двух котов и папу, и без того притихшего после смерти младшего сына. Хорошо шла водочка, а пирог встал поперек горла. Оно и понятно — подгорел снизу, а внутри сырой. Выбросила бы, да нельзя: сейчас многие голодают. В Мариуполе люди не мяса и консервов просят, а хлеба и сигарет.

Встретились они на Пасху, в церкви. Ковалев — высокий, смуглый, поджарый, плечистый — истово крестился и о чем-то молил. И соперница — вчерашняя школьница с широко расставленными глазами, до пошлости миниатюрная, со сдобной грудью и топорно сделанными губами. Ресницы еще эти... опахала.

— Пигалица, — сказала о ней Вера Александровна. Точнее и не скажешь.

В церковь их родную ночью прилетело, поэтому, не сговариваясь, поехали в чужую, тоже в центре, только во дворах. Таня до этого здесь ни разу не была.

Прошла служба, а радости на душе не было. Мучила мысль, вдруг Ковалев думает, что она специально сюда пришла, чтобы на его счастье посмотреть. Кивнул ей в толпе так многозначительно.

На пороге храма к Тане пристала женщина. Не очень старая, но такая неухоженная — с «гнездом» на голове, вульгарным макияжем, одетая в истертый меховой жилет, черную гипюровую блузку и почти праздничную, если бы не зацепки и прилипшая собачья шерсть, юбку. Таня видела ее много раз, то на пересечении улиц Гурова и Университетской,



то на Горсаде, то в Парке кованых фигур, то на колхозном рынке. Женщина всегда несла в руках объемные пакеты, их еще называют помоечными, а однажды предложила Тане чахлые цветы. Такие обычно лежат на могилках, вянут по усопшим.

В этот раз женщина конкретно «присела» Тане на уши. Перебивая саму себя, рассказывала, как ее обманули родные: лишили квартиры в доме с башенками, подстроили так, что она теперь состоит на учете у психиатра и должна приезжать на консультации. Последнему Таня верила — собеседница и правда была с приветом. «С поехавшей кукухой», как едко подметил бы Ковалев.

— И вот я вынуждена ездить в дурдом, а ведь туда прилетает. Я боюсь, понимаете? Боюсь!

— Понимаю.

— В полицию писала столько заявлений, мэру нашему, главе... Никто не верит. Никто не помогает. Я даже на телевидение звонила, а они только посмеялись, неучи картавые. А лысый их досмеялся, теперь червей кормит.

Это было мерзко: известный ведущий умер от тяжелой болезни. Война допекла.

— Простите, мне пора. Удачи вам!

— Спасибо, девонька. О своем не тоскуй и не плачь. Хочешь вернуть — смерти ему пожелай. Черти — они только и ждут твоего приказа. Им без хозяина тяжело. Маются они и плачут, как котята. Помнишь, как рыжего из пипетки выкармливала? Ты не бойся, все равно попадешь в ад...

Таня не стала дослушивать — ругая себя за бесхребетность, злая побежала на остановку.

Маршрутка подъехала быстро. К счастью, сегодня пригласила в гости замужняя, но бездетная подруга Лена, которая никогда не лезет с расспросами, но, если надо, выслушает. Всю дорогу мысли были о том, что однажды Таня уже пожелала любимому человеку. Даже не смерти, а просто, затаив обиду, нехорошо о нем подумала: «Женись-женись, умрешь со своей колхозницей от тоски». А бывший затосковал раньше, напился на мальчишнике, сел за руль, слетел с моста...

О Ковалеве Таня заговорила после третьей рюмки.

— Понимаешь, он это сделал мне назло! Я же ему сама сказала: «Найди себе карманную, послушную жену. Воспитаешь. Будет тебе в рот смотреть».

— Таня, да загулял он просто под Херсоном, а девочка ушлая оказалась. Не захотела современных отношений, женила на себе... Ты только не принимай близко к сердцу: она беременная.

Внутри у Тани оборвалось. В безвременье «Минска»¹ она ходила по разным врачам. Те руками разводили, заверяли — проблема не в ней, она хоть сейчас может родить, настойчиво советовали ей обследовать своего мужчину. А Ковалев не любил анализов, морщился от таблеток,

¹ Здесь: в период действия Минских соглашений.

банально боялся уколов. Они и разъехались в первый раз, потому что он не пошел с ней в клинику. Потом и вовсе заявил, что не хочет никаких детей. Что ребенок обяжет его быть рядом с домом, превратит в подобие мужика, что жизнь пройдет, а он и не заметит. Таня со своей стороны делала все возможное, а потом, когда отболело, — смирилась.

Бабушка часто говорила Тане, что у нее дурной глаз, и просила «не каркать». В детстве запрещала заходить на кухню, когда там отдыхало тесто или стерилизовались банки. Как-то маленькая Таня восхитилась модной прической мамы, а потом принесла из садика вшей. Пшеничные мамины локоны пришлось обрезать. В другой раз посмотрела на папин красный мотоциклетный шлем и спросила, крепко ли держится ремешок, — папа попал в аварию, открытая черепно-мозговая травма. А уж как прятали от разноцветных Таниных глаз новорожденного братца! Но она все равно исхитрилась, скорчила рожицу этому синепупому непропеченному червяку, занявшему ее манеж. Братец для начала отказался от груди, а впоследствии отметился на каждом этаже областной больницы.

Таня повзрослела, приросла к родным, боялась о них думать в прошедшем времени, а если что случалось с другими, не обращала внимания. Война быстро заставила вспомнить проклятья, город почернел и обезводился. В квартиру детства прилетало два раза. Таня всегда была начеку. Сама стала чекою: скажи лишнее, не поверь ее беде — и прогремит взрыв.

Возвращалась от Лены на такси, одаренная домашними куличами, расслабленная, а оттого уязвимая. Поддалась на провокацию таксиста, проболталась, что нет у нее никого — ни мужа, ни детей, а только тихий папа да шепутные коты. Один — Шашлык, второй — Кебаб.

— Это потому, что ты злая. Мужик тебе тоже нужен злой. Такой, которому бы ты патроны подавала.

Дома Таня решила, что водкой и коньяком горю не поможешь, а вот слез ей не жалко. Повезло, что был день воды, и, значит, ее рыданий не услышит папа. Который почти ничего не говорит, но смотрит так, что саму себя усыпить хочется. Натаскавшись ведер и баклажек, помывшись из тазика, загрузив стиральную машинку, Таня зашла на страницу жены Ковалева. Насмотрелась на ее пока еще плоский живот до тошноты.

На Первомай Ковалев явился сам. На гражданке он носил берцы, неброские брюки с множеством карманов и тактические футболки — песочные, серые или цвета хаки. Набор в рюкзаке с плюшевым Чебурашкой в камуфле и нашивкой «Родился орком — защищай Мордор!» был стандартный: Nemiroff, мадера, «Вечерний Донецк». В лучшие годы четвертыми шли цветы. Да и сам рюкзак тогда не был таким кричащим — георгиевская ленточка, шеврон с группой крови и больше ничего. Глядя на помятое, небритое лицо Ковалева и его несвежую одежду, Таня поняла, что он уже минимум неделю бухает. От предложенных мяса с картошкой и корейского салата — отказался:



— Не лезет. Как ее в больницу положили, ни есть, ни пить не могу — сразу блюю.

— Как же ты водку пьешь?

— А от водки мне хорошо. Очень хорошо! Давай, Танюша, выпьем. Тошно мне.

А потом он расплакался. Тыкая в телефон, показывал, что они уже заранее, пока он дома, оформили детскую, купили много вещей, игрушек: самолетиков, машинок, танков. Камуфляжный конверт заказали у портнихи.

— Пацан у меня будет. Пацан!

Таня представляла их встречу всякой. Но чтобы заросший и плохо пахнувший Ковалев говорил о страхах молодого отца — это уже слишком.

— Юра, ты зачем пришел? Я, по-твоему, кто — практикующий психолог или акушер-гинеколог? Я что должна сказать тебе? «Дорогие Юра и Лана, я желаю вам счастья! Пусть ваш малыш родится здоровым и счастливым!» Что я, черт возьми, должна сказать? А?!

— Да ничего не говори. Мне больно, но тебе еще больнее. Не простила меня, а за стол посадила. Думаешь, не могу тебя забыть? Секса на стороне захотел? Не любил я тебя никогда, Таня. Потому и детей не хотел. Спасибо, что не прогнала. Бывай. И не смотри так, дырку про-сверлишь. Ты что такая худая? Болеешь? Не болей, Таня.

Хорошее желать приятно, но это если от чистого сердца, а плохое всегда спрятано внутри. Таня больше не прятала от себя своих глаз. Достала старую, довоенную фотографию Ковалева, где он в кимоно, на татами. Поставила стакан с пшеном и свечку, налила в рюмку водки, положила сверху черный хлеб. Каждый день молила об одном. О пига-лице не думала. Даже если все-таки родит, с младенцем на войне тяжело. Да и не каждый мужчина примет чужого ребенка.

Женщину с большими пакетами Таня встретила на Троицу. Та приставала к прохожим на площади, предлагала им кошачью мяту. Не иначе как с кладбища. Там она ясно растет.

— Девонька, купи мяту! Пятьдесят рублей всего. Смотри, какая свежая! Сегодня ее нарвала. Заваришь чай — и тоска отступит, и печаль пройдет. Обо всем забудешь.

Таня отрицательно покачала головой, хотела уже идти к Главпочтамту, но тут неслабо бахнуло. Она невольно остановилась, потом спустилась в переход, раздумывая, а так ли ей нужно забирать посылку. «Вроде утихло. Пойду».

А женщина с большими пакетами не унывала, нашла покупателя. Расплачиваясь, парень в камуфляже — видно, из новоприбывших — сделал комплимент ее потертому, но добротному рюкзаку со смешным Чебурашкой и нашивкой «Родился орком — защищай Мордор!»:

— Хороший у вас рюкзак. С таким только на войну.

Мешочница рассмеялась:

— Да я и так дома, мальчик мой!

Таня хотела закричать, но было слишком поздно.

Мартин МЕЛОДЬЕВ

ВСЕ ТОТ ЖЕ ВЕТЕР...

Токайский вальс

Пятипалый листок
на невидимых миру качелях
закачался у глаз перед тем, как упасть на ладонь
желтой бабочкой осени, ломким хрустящим печеньем —
дар янтарных небес, отшлифованный ветром огонь.

Вот и выдан диплом.
С окончанием школы балета!
Золотая печать и пяток неразборчивых строк.
Легкий крап...
 как на желтой рубашке валета.
Невесом — до сих пор пахнет летом осенний листок.

Мой залетный дружок, залетевший ко мне из России,
Расскажи мне о той, для которой и пишется вальс.
Я тебя опустил бы в почтовый,
 в тот самый, в тот синий —
только адрес не раз и не два,
 и не три поменялся у нас...

Ты еще молодой. Ты не знаешь, как все это было.
Темный вечер и дождь... Боже, как это было давно!
Я ее так любил! И она меня *так не любила*,
что и вспомнить смешно,
 и не вспомнить, конечно, грешно.

* * *

Пять сосен зеленых...
Пять стрел оперенных,
вонзившихся в голую грудь косогора.
Холодное небо, свинцовая слякоть...



Вы скажете — лучше не помнить,
не плакать.
Но если над вами шумят изумленно
пять сосен зеленых...
пять сосен зеленых?..

* * *

Открыты сезоны в театрах,
и дворники жгут костры,
тают у ветра в лапах
блестки сухой листвы.

Копируя краски лета,
виднеясь то там, то тут,
последних берез букеты
в сосновой траве цветут.

Мокнущие проспекты,
мерзнущие мосты...
Осень... Ее рецепты,
как ни верти, просты.

Пригоршнями жемчужин
с неба летит вода.
Ночь. И по черным лужам —
белые крылья льда.

Сыну

Еще я помню те смешные
шестидесятые года.
Из Кривощёкова тогда
ходил трамвай на Расточные.
И был соцгород, край земли,
в кинотеатрике зеленом
грозили штурмом бастионам
из бухты кинокорабли.
И в «отгадайкино» — у нас
была тогда игра такая —
фильм сокращался в «КорШтуБас».
И, мяч до одури катая,
мы попадали иногда...
В шестидесятые года.

Беженец (страсти по Беловежью)

америка страна реминисценций...

А. Цветков

Калифорнийский вечер. Небо в тучах,
истаивая, никнет к берегам.
Гравюра на стене — охота в пуше:
Ферзем — король, гроссмейстером — кабан.

Здесь по утрам о будущем волнуясь
и принимая на ночь чистый бром,
я пребываю в ступоре, любуясь
прабабушкиным фирменным гербом.

И наш отъезд, он не был зря, скажи мне?
Я до сих пор витаю в полусне,
где мы с тобой, та chère, впервые в жизни
на Запад отправляемся в СВ.

Вокзал, друзья, таможня... все при деле;
локомотив копытами блестит.
Граница на замке? Преодолели.
Прощание славянки? Бог простит.

А за окном — шумит все тот же ветер,
что сорок лет назад в другой стране,
где все осточертело: те и эти...
Шумит и будит беженца во мне.



Александр АГАЛАКОВ

НАЧАЛО ТРАНСПОРТНОГО НАДЗОРА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ни одно государство не обходится без системы работоспособных надзорных органов. Если экономика развивается и правоохранительные структуры следят за порядком, то и хозяйственную деятельность, и работу полиции необходимо контролировать. Люди склонны нарушать законы и творить произвол на службе. Не случайно органы прокурорского надзора, с подачи Петра I, называют «оком государевым». В царское время в такой важной отрасли экономики, как транспорт, ни один государственный орган никаких специализированных надзорных функций не выполнял. За железной дорогой и речным сообщением некому было присматривать. Только после крупных железнодорожных крушений и речных аварий царские юристы приступали к расследованиям, в ходе которых вскрывались дикие экономические злоупотребления и масштабное предательство интересов службы сотрудниками полиции. Транспорт Сибири, как безнадзорный ребенок, лишенный родительской опеки, кое-как стучал колесами по рельсам и покачивался на воде, прихлебывая бортами воду, чтобы время от времени влипать в громкие истории с последующими визитами юристов. Эти чиновники поневоле становились «транспортниками», делали гневные заявления, указывали на халатность работников, некачественно проведенный ремонт подвижного состава или речных судов и потрясали кулаками в судах. А затем возвращались в свои кресла на основное место работы, до нового ЧП на «железке» или реке.

«Семь нянек» сибирского транспорта

Гражданская война в Западной Сибири, длившаяся с мая 1918 по декабрь 1919 года (в целом по стране — до 1923 года включительно), ритмичную работу транспорта просто остановила. С победой советской власти пришло осознание необходимости установления транспортного надзора.

Первоначально надзорные функции большевики возложили на самые разные учреждения: ВЦИК, Совнарком, ВЧК, народные



комиссариаты — Народный комиссариат государственного контроля (позднее Рабкрин) и Народный комиссариат юстиции. В итоге скоро на этом поле стало тесно и конфликтно. У всех «семи нянек» было свое понимание надзора, в ходе осуществления которого люди сводили счеты, изводили «гидру контрреволюции» и проявляли личные предпочтения.

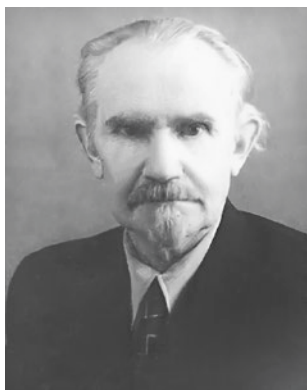
Говоря о периоде становления советского надзора, историки юстиции отмечают, что уже в вышеперечисленном массиве контролирующих учреждений выделился некий прообраз прокурорского надзора — *коллегии обвинителей при трибуналах*. Частые переходы власти в Сибири от белых к красным и наоборот оказали влияние на то, что надзорная деятельность на транспорте на пару лет закрепились в устоявшейся форме в Революционном трибунале, учрежденном в Сибири в период «первой» советской власти (январь 1918 — май 1918 года) Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в губернском центре Томске. Слушания были публичными, приговоры выносились простым голосованием и обжалованию не подлежали. Руководствуясь своей «революционной совестью», судьи карали и миловали, но больше карали.

Специализированный (или ведомственный) трибунал был создан 26 октября 1920 года сначала под вывеской Революционно-военного трибунала Томской железной дороги и подчинился Главному революционно-военному железнодорожному трибуналу. После 23 июня 1921 года по декрету ВЦИК произошло объединение ведомственных (военных, транспортных) трибуналов с губтрибуналами и возник единый трибунал под аббревиатурой Реввоенжелдортрибунал (полное название — Революционно-военный трибунал Томской железной дороги и бассейна рек Оби и Енисея Главного революционно-военного железнодорожного трибунала). В ноябре 1923 года очередным декретом ЦИК местные военно-транспортные трибуналы были ликвидированы, а их надзорные функции переданы Военно-транспортной коллегии в составе Верховного суда СССР. Так начиналось становление специализированной транспортной юстиции.

Помимо расстрелов контрреволюционеров, пытавшихся внедриться в ряды железнодорожной милиции и транспортной ЧК, а также диверсантов, готовивших теракты на транспорте, было налажено взаимодействие с учреждениями железной дороги и водных путей сообщения, военным ведомством, санитарными и другими службами. Эти ведомства, в свою очередь, издавали приказы и распоряжения, регламентирующие бережное отношение к транспорту и правильное его использование.

Борьба за стулья и кадры

Становление Томского Реввоенжелдортрибунала (далее — Трибунал, транспортный трибунал), который распространил свое влияние на весь транспорт Западной Сибири, шло трудно. Сложности возникали на каждом шагу: не было кадров, мебелировки и канцелярских принадлежностей. Сначала председатель Трибунала Степан Лукич Огнетов решил пойти официальным путем: затребовал мебель у реквизиционной комиссии.



Степан Лукич Огнетов,
председатель Реввоентрибунала
Томской железной
дороги

В помощь ей он даже «вычислил» столы и стулья у частного лица по ул. Бульварной, 5а. Не получив результата, председатель обратился непосредственно в организации, которые Трибунал обслуживал. Откликнулся комиссар Томского рупвода, который распорядился выделить 10 столов, 2 дюжины стульев, 6 шкафов, по 4 шт. диванов и кресел и 1 самовар. Однако щедрому на мебель Рупводу для дооснащения кабинета председателя вскоре пришлось предоставить Трибуналу дополнительно 1 стол, 2 шкафа, 1 этажерку и еще один самовар. Советскому начальнику негоже делить с сотрудниками общую служебную площадь и угощать приватных гостей из общего самовара.

Заслуживает внимания список аппарата Трибунала, состоявшего из председателя, его заместителя, трех членов коллегии, секретаря, двух следователей и журналиста (ведущего журналы учета). В таблице это выглядело так:

№ п. п.	ФИО	Профессия	Партийность	Отношение к воинской службе
1.	Огнетов Степан Лукич	плотник	член РКП с 1917 г.	в/обязанный
2.	Рожинцев Андрей Степанович	столяр	член РКП с 1904 г.	в/обязанный
3.	Дубенец Адам Федорович	рабочий пути ж. д.	член РКП с 1920 г.	в/обязанный
4.	Золин Михаил Спиридонович	жестянщик	член РКП с 1902 г.	в/обязанный
5.	Горох Александра Петровна	учительница	член РКП с 1906 г.	не подлежит призыву
6.	Александровский Василий Сергеевич	конторщик ж. д.	б/п	на учете
7.	Черепанов Илья Михайлович	юрист	б/п	на учете
8.	Оконешников Николай Васильевич	конторщик ж. д.	б/п	инвалид

К достижениям Трибунала можно отнести и то, что в его штате оказался один юрист, который ранее работал следователем и подтягивал весь аппарат по «юридической части». Он учил коллег таким понятиям, как «алиби», «деяние», «субъект», «мотивы», «деликт», а также натаскивал инвалида по формулировкам фабул в колонках при ведении журналов.

Ему помогал второй следователь В. С. Александровский, отец которого при Временном правительстве был назначен прокурором Томского окружного суда, а потом переметнулся к красным и стал организовывать Совет солдатских депутатов Томского гарнизона.

Сам же Василий Сергеевич нос по ветру держал плохо, так как умудрился послужить у Колчака офицером. В графе «профессия» представлена его фиктивная прежняя должность — «конторщик ж. д.», что могло быть прикрытием от чисток.

Через несколько месяцев следствие транспортного трибунала выделилось в обособленное подразделение — следственную часть. Сохранился именной список.

Список военных следователей
Реввоенжелдортрибунала Томской ж. д.:

1. Катмарчиев Георгий Никитич, начальник следственной части, на службе с 19.05.1921 г.;
2. Черепанов Илья Михайлович, следователь, на службе с 1.11.1920 г.;
3. Александровский Василий Сергеевич, следователь, на службе с 10.12.1920 г.;
4. Апанович Павел Романович, секретарь, на службе с 20.6.1921 г.
[ГАТО, фонд 3-105, опись 1, дело 123, л. 30]

Однако через некоторое время в Трибунале открылись две вакансии следователей. Из штата «вычистили» неблагонадежных — бывшего белогвардейца Александровского и старорежимного юриста Черепанова.

Вскоре между Томским рупводом и Трибуналом началась интенсивная грозная переписка по поводу откомандирования в Трибунал двух спецов, обладавших юридическим образованием. Некто Кочнев, бывший помощник присяжного поверенного, трудился в Рупводе секретарем отдела пути, а Авраменко имел схожее образование и трудился начальником учетно-аттестационной части административного отдела Рупвода. После бесполезных взываний к коммунистической сознательности председатель Трибунала Огнетов стал требовать и грозить. Он написал, что при комплектовании юридическими кадрами Трибунал имеет приоритет перед транспортными организациями. «У вас 8 спецов, — констатировал председатель и назвал всех специалистов пофамильно. — А согласно постановлениям (Огнетов перечислил эти постановления. — А. А.) трибуналы должны быть обеспечены лучшими кадрами».

В случае неоткомандирования двух спецов председатель грозил руководству Рупвода за укрывательство кадров своим Трибуналом. Первый, кого планировалось вызвать «на ковер», — начальник административного отдела. Кандидаты на должности следователей были так напуганы, что дали письменное согласие на работу в Трибунале.

Дефицит кадров в Трибунале выражался и в том, что на должности канцеляриста в нем трудился... осужденный самим Трибуналом. Дело было такое. Машиниста Журавлева приговорили к пяти годам принудительных работ за то, что на станции Балай при неосвещенном закрытом семафоре и неосвещенных стрелках он допустил столкновение воинского эшелона с маневровым паровозом. В результате четыре вагона было разбито в хлам, семь повреждено. Погиб один красноармеец, было много раненых из личного состава. С места происшествия машинист сбежал, однако был пойман, осужден и отправлен отбывать наказание в... канцелярию Трибунала.



Рамки революционной законности

Для решения кадровой проблемы носитель власти в Томске и окрестностях Губревком предлагал составить список коммунистов, которые на заседаниях Трибунала выступали бы в качестве общественных обвинителей, заодно выполняя пропагандистские задачи. В первую очередь Трибуналу вменялось рассматривать дела, имеющие общественное значение, а не заниматься «мелочевкой». Зона транспортного надзорного обслуживания уместилась в рамках, созданных еще при царизме. Железнодорожная сеть Сибирского округа делилась на восемь линейных отделов, а речная сеть — на пять линейных отделов. В этом плане сложностей не было: новые пути не строились, а старые разрушались. В Гражданскую войну отступавшие белые, бежавшие из Томской области в Красноярский край, разломали сооружения на Обь-Енисейском канале и рокадную дорогу (так называемый баронский тракт), проложенную вдоль него. С тех пор канал, пропускавший в навигацию суда водоизмещением до восьми тонн, а по большой воде транспорты с 80-тонным водоизмещением, захирел.

Если путей для обслуживания в Гражданскую войну не прибавилось, то от новых революционных наименований — большей частью замысловатых аббревиатур — головы советских чиновников буквально пошли кругом. Понадобились отдельные приказы по каждому транспортному ведомству (которые стали возглавлять комиссары), регламентирующие употребление названий тех или иных должностей. По водному транспорту, например, политический комиссар областного управления именовался *комрека*, политический комиссар районного управления — *комрупвод*, политический комиссар транспортной конторы — *комтранспортвод* и т. д.

Обустроившись за реквизированными столами и посадив на стулья набранные кадры, председатель Трибунала Огнетов приступил к рассмотрению дел, которых вдруг стало сразу много. Одной из первых проблем было указание, спущенное сверху. Трибунал занялся поиском и приостановкой расстрелов иностранных граждан, осужденных за контрреволюционную деятельность. Тем странам, с которыми Советская Россия устанавливала дипотношения, в качестве подарка преподносилось помилование «смертников» с последующей депортацией. Такие распоряжения поступали из особого Кассационного трибунала ВЦИК в отношении поляков, латышей, литовцев и ряда других иностранных граждан.

Проблемы местного плана тоже «лезли» со всех сторон. Фронт работ обеспечило требование сообщать в Трибунал обо всех авариях на железной дороге и речном флоте. Транспорт работал плохо, поток жалоб не иссякал. Одним из первых документов Трибунала стало отношение к руководству железной дороги о ликвидации антисанитарии в поездах. Указывалось, что в вагонах нет кипятка, а на станциях в буфетах — пищи. Эшелоны с демобилизованными не сопровождалась лицами комсостава. Руководителям железной дороги предлагалось «проявить инициативу



вплоть до принятия самых решительных мер по привлечению виновных к суровой ответственности».

Трибунал контролировал выполнение распоряжения Наркомздрава о «получении рабочими, служащими и членами их семейств по рецепту советских врачей лекарств бесплатно». Отстаивал право на получение пайка не только работников транспорта, но и членов их семей, находящихся на иждивении (жена, дети до 15 лет и родители старше 60 лет); детей работников транспорта старше 15 лет, которые обучались в школах, а также нетрудоспособных родителей работников транспорта, живших отдельно.

Надо сказать, что изъятие излишков пищевых продуктов в жилых домах и при их перевозке на транспорте тогда проводилось повсеместно. Зачастую реквизиционные комиссии «снимали» с речного судна продукты питания незаконно. Транспортники голодали.

В начале 1922 года возросло давление на работников транспорта, которые в обеспечение своих экономических требований отказывались выходить на работу. По приказу Сибирского округа путей сообщения № 1 от 5 января 1922 года рабочих, совершивших один прогул, предлагалось штрафовать лишением половины оклада. За два прогула лишали месячного оклада полностью. За четыре прогула подряд следовало увольнение. Трибунал следил за исполнением приказа.

При этом Трибунал поддержал распоряжение НКПС (Наркомата путей сообщения) от 12 декабря 1921 года о тяжелом положении судовых команд. Они в навигацию не имеют постоянного места жительства и возят запасы продуктов на судах, а эти продукты при проверках отбирают в рамках борьбы со спекуляцией. Поддержка вылилась в право каждого члена команды судна провозить с собой до семи пудов продовольствия и одного пуда соли. Прежде голодные транспортники добивались этого забастовками и отказами от работы, за что инициаторы рабочих акций были уволены.

Позже вышло распоряжение НКПС № 3657 от 5 августа 1922 года о том, что всем работникам транспорта предоставляются бесплатные билеты для поездок на огороды в период полевых работ.

Трибуналу пришлось разбираться в одновременных запретах и отменах запретов на пользование пассажирским транспортом. Так, согласно бюллетеню НКПС от 1 февраля 1922 года, в связи с полной ликвидацией фронтов Гражданской войны и прекращением холерной эпидемии отменялся запрет на поездки по всей территории РФ. Однако спустя два месяца вновь был введен всеобщий запрет на пользование пассажирами железнодорожным и водным транспортом. Как гласило обязательное постановление, опубликованное в томской газете «Красное



Служебный билет





Красноармейцы охраняют железнодорожную станцию

знамя», «в целях упорядочения землепользования, и в интересах будущего социального землеустройства, и обострения продовольственного вопроса, и предупреждения скопления людей на ж. д. станциях» происходило очередное «закрепощение» крестьян. Им запрещалось самовольное оставление мест приписки в сельской местности с целью переселения в другие места.

Много бумаги было потрачено на переписку с военным ведомством, которое, наконец, выпустило приказ по войскам Сибири № 78 от 3 июля 1922 года о недопустимости стрельбы часовыми, охранявшими железнодорожные мосты, которые считались (и до сих пор считаются) стратегическими объектами. В те годы при следовании пассажирского поезда через мост надлежало зашторивать все окна вагонов, что выполнялось не всегда. Видя это, часовые на мосту открывали стрельбу в воздух, сигнализируя о допущенных нарушениях. В конце концов подобный расход патронов был признан командующим войсками Петиным бесцельным и вредным ввиду порчи телеграфных проводов, а также во избежание возможных жертв среди пассажиров поездов и поездной прислуги.

Также для служащих Трибунала являлись головной болью мостовые переходы. Инциденты, происходившие на мостах и под ними, приводили к огромным человеческим жертвам. Например, после гибели парохода «Совнарком», когда часовые тоже палили в воздух, чем только усилили панику, Трибунал указал на основную причину трагедии — «неосвещение установленными сигналами судоходных пролетов» — и поддержал распоряжение Управления железной дороги о комиссионной проверке всех мостов над судоходными реками. Проверке подлежали как установка, так и обслуживание огней освещения. Причем надлежало, чтобы «установленные сигналы не были смешаны с огнями освещения».

Что за комиссия?

Постепенно инициированные Трибуналом *комиссионные выходы* в обслуживаемые транспортные зоны стали приносить свои плоды. Как минимум в том, что организации, призванные производить надзор за объектами транспорта, оказывались при деле и их работники не просиживали рабочее время зря. Подстегнутые проверками транспортники лучше соблюдали нормы и правила, и происшествий на железной дороге и воде становилось меньше.

Летом 1921 года комиссия в составе представителя Трибунала Роженцева, от Рабкриня — Максимова, от Томрупвода — Дубровина, от Райкомвода — Смокотинина провела осмотр работы томских пристаней. Проверка показала, что перевозка грузов, погрузочно-разгрузочные



работы, охрана складов, продуктивная работа флота и обеспеченность парового флота топливом находятся на должном уровне.

Грузы хорошо разобраны, находятся в «штафелях» — штабелях. Большие партии овса, гречихи и ржи сгружены в пакгаузы бывшего купца Горохова или складированы в приплесок «в табора» под брезент на временных деревянных настилах. Самый большой груз — это дрова и лесные материалы, доставленные баржами с Чулыма, Кети и Чаи. При этом весь приплесок завален дровами, чурками, клепкой и другими материалами. Поскольку летом бывают случаи прибытия воды и возможен унос дров и товаров водой, Трибунал распорядился ускорить уборку учреждениями дров с берега.

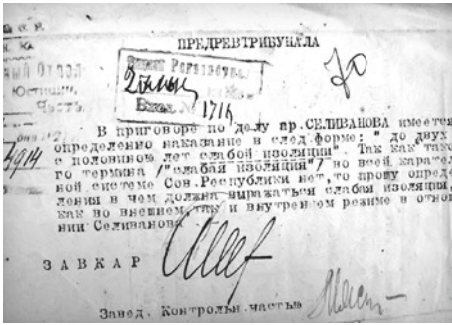
«Прокурорский» комиссионный надзор отметил, что краж грузов в порту нет, так как он охраняется сторожами Томрупвода, часовыми речной милиции и Губпродкома. Однако хищения случаются при большом скоплении грузчиков. Утеря части хлебного груза происходит из-за рваной, прелой, с заплатками мешкотары. Простоев пассажирских пароходов нет. Грузовые суда простаивают из-за недобора в судовых командах, которые по этой причине комплектуются случайными людьми. В целом работа порта и речного флота оценена положительно.

Также кадровый некомплект иногда возникал, когда в работу транспорта вмешивалась ТЧК — транспортная чрезвычайная комиссия. Чекисты являлись по ночам и забирали людей, которым завтра нужно было вести поезд, управлять судном или руководить работой транспортного коллектива. Поэтому Трибунал настоял на выходе приказа начальника транспортного отдела ВЧК (№ 1 от 21 января 1922 года). Документ констатировал, что сотрудниками чрезвычайного ведомства производятся «неправильные аресты железнодорожников, что сильно влияет на работоспособность транспорта и действует разлагающе на его работников». Тезис был развит следующим образом: эти «неправильные аресты» вызывают «озлобление к органам ТЧК, создают неуверенность у железнодорожников, подрывают у них самостоятельность, инициативу и чувство ответственности». Впредь без крайней необходимости запрещалось производить аресты. Кроме того, аннулировались подписки о невыезде для транспортников, работа которых как раз и заключалась в разъездах.

Постепенно транспортный трибунал стал напоминать «око государево», которому до всего было дело. Сотрудники Трибунала не могли пройти мимо, когда вопрос касался организации работы следствия в ТЧК.

Из акта от 18—19 июля 1921 года становится ясно, что два представителя Трибунала, Горох и Черепанов, проинспектировали ведение дел в следственной части ТЧК и пришли к неутешительным выводам. Более половины (49 из 91) находившихся в работе дел не были занесены в настольный реестр, первая часть которого перед проверкой была уничтожена. Дела напоминали ворох собранных под одной обложкой бумаг без соблюдения элементарных правил документооборота — описи вложения, пагинации (нумерации страниц) и прошнуровывания. Документы, служащие уликами, находились не в пакетах, а были подшиты в середине дел или хранились отдельно. На обложках дел нет штампа «арестантское».





Отношение из отдела юстиции Губревкома по поводу юридически безграмотной формулировки в приговорах

чтобы дело «распухло» до определенных размеров и его можно было «сплавить» в суд. Поэтому дела часто возвращались на доследование.

Впрочем, попенять вышестоящему начальству можно было и на самих сотрудников Трибунала. Из отдела юстиции Губревкома председателю Трибунала пришло отношение об удивительных формулировках в приговорах, которые выносил Трибунал. В частности, трибунальское нормотворчество, в понимании которого затруднялись исполнители приговора, касалось такой формулировки, как «слабая изоляция» осужденного. Этот термин мог обозначать что угодно.

Даже из Главревтрибунала в Москве, где анализировали приговоры, пришел протест на действия местного Трибунала, допускающего прямые нарушения закона. В частности, столичные аналитики усмотрели нарушение в том, что при вынесении приговоров трибунальской тройкой в совещательной комнате присутствует постороннее лицо — секретарь, ФИО которого, как участника процесса, вписывают в протокол. Понять Трибунал можно: заседатели разговаривают и приходят к единому мнению о приговоре в формулировке, которую секретарь тут же записывает. Всем удобно. Однако это являлось процессуальным нарушением, на что московские товарищи попеняли и потребовали, чтобы в совещательную комнату секретарей не допускали.

Среди трибунальских дел «копеечные» соседствовали с чрезвычайными, когда речь шла о бомбах, угонах, контрреволюционных проявлениях и т. п. Представим имеющийся в архивах реестр в виде таблицы. Во второй колонке значится количество дел, рассмотренных к указанной в первой колонке дате. В третьей колонке фабулы даны выборочно.

Дата	Кол-во дел	Фабулы
19.11.1920	7	Хищение смазочных материалов и [их] обмен на продукты, обвинение 2 милиционеров и 2 осмотрщиков вагонов в игре в карты.
26.11.1920	7	Обвинение ТЧК в присвоении имущества при обыске, пьянство и картежная игра, хищение казенного имущества.
05.12.1920	6	Выдача фиктивного удостоверения, задержка воинского поезда, выгонка и питье самогона и хранение бомбы, контрреволюция.
12.12.1920	13	Угон паровоза, хищение мыла и продуктов в пути следования, расхищение угля, злоупотребление властью, сход паровоза.

Дела направлялись в суд не в порядке их поступления или по важности, а как попало. От момента принятия дела к производству до составления заключения следователь тратил от трех недель до месяца. Многие дела были наполнены «балластом» — совершенно лишними бумагами. Это дало проверяющим основание для вывода, что здесь не думали о качестве расследования, а ждали,

19.12.1920	14	Уход 2 вагонов и столкновение их с поездом № 22, упущение по службе, подделка подписи в больничных листах, крушение поезда № 207 на 14 версте Кемеровской ж. д.
21.12.1920	8	Столкновение подталкивающего паровоза с маневровым паровозом на ст. Красноярск, саботаж по службе, хищение деталей.
25.12.1920	6	Подделка разового проездного билета, обвинение чиновников ж. д. милиции в халатности по службе, преступление по должности.
27.12.1920	10	Хищение казенных бревен, сход поезда, обвинение медперсонала ж. д. больницы на ст. Красноярск в хищении казенного имущества, преступление по должности.
28.12.1920	10	Впуск поезда в тупик, обвинение в бездеятельности, сход паровоза.
28.12.1920	5	Хранение и скупка ж. д. имущества.
31.12.1920	10	Хищение верстовой доски, взрыв в карьере, неисполнение служебного приказа, пользование казенным углем, хищение досок красноармейцами.
31.12.1920	17	Дело № 528 о хищении веревки, дело № 535 по обвинению Томской ж. д. в приеме поздравительной телеграммы, дело о разрыве поезда, самовольное занятие вагона, хищение листа железа и запрещение рабочим выходить на работу, оскорбление словами агента ТЧК, спекуляция и укрывание огнестрельного оружия.
16.06.1921	5	Крушение поезда, невыполнение распоряжения и дезертирство, несовершеннолетний убил заведующего следственным отделом на ст. Ачинск.
09.04.1921	33	Охлаждение паровоза, хищение битой птицы, грубое обращение и оскорбление словами коменданта ст. Красноярск, хранение оружия, самовольное оставление поста, дело Ачинского укомтруда о непредоставлении мобилизованных рабочих для очистки путей от снежных заносов, злостное нежелание работать в контакте с советскими учреждениями, злостное дезертирство.
19.04.1921	19	Кража извести, остановка санитарного поезда из-за горения бумажки, дача взятки агенту заградительного отряда, захват кирпичей, сокрытие одежды, симуляция болезни, кража дров с эшелона.
20.04.1921	?	Выделка тазов из краденой жести и их промена на продукты, подмешивание воды в керосин, спекуляция гвоздями, хищение конвертов в канцелярии Томской ж. д.

Первый реестр надзорно-карательного транспортного органа, напоминающий некий правовой суррогат, начинал составлять журналист-инвалид, а продолжил заполнять осужденный машинист-аварийщик. Поэтому в датах и порядке заполнения сумятица и по реестру проследить хронологию обеспечения надзора на транспорте Сибири затруднительно. Например, отчет за июнь подшит в папку раньше апреля. Иногда дата «двоилась», чтобы включить в реестр пропущенные и ранее законченные дела. Не переписывать же заново?!

Расследования — от кражи веревки до аварии парохода

В связи с тем что журнал заполнялся от случая к случаю, в реестре масса пробелов. Новая транспортная юстиция в Сибири начиналась с хаоса происшествий и преступлений. В суровом революционном Трибунале на одной полке умещались пустяковое дело о краже веревки, которое было прекращено за отсутствием обвиняемого, и угон паровоза, что было чревато катастрофой. Но обошлось — и для паровоза, и для его угонщика, красного командира.

Трибунал разбирался в картежных баталиях на рабочем месте у рельсов и в мотивах злостных дезертирств с рабочих мест, так как





отрасль считалась стратегической и особо охраняемой. Под суд шли целые учреждения (очевидно, в лице их руководителей): Управление железной дороги за трату госсредств на поздравительные пустые телеграммы и Уездный комитет по всеобщей трудовой повинности за плохую работу по привлечению рабочих. Рабочих после дня за станками в депо принуждали убирать пути от снега. Это было необходимо для бесперебойного движения поездов, но нарушало права рабочих на отдых. Преследование контрреволюционеров было так же важно, как и наказание тех, кто гнал самогон, употреблял его на работе и вдобавок хранил бомбу. Путая великое с малым, Трибунал проходил «болезни роста», напоминая поклоачивание Петром I нерадивых подчиненных, которые слов не понимали, зато боялись тяжелой руки царя-батюшки.

Чтобы выработать особый подход к не менее специфическим транспортным проблемам, Трибуналу пришлось пройти богатую практику разрешения происшествий и раскрытия преступлений, представленных в реестре.

В Трибунал дела попадали из ТЧК, ревкома или любой контролирующей организации, включая собрание рабочих, решавших свои производственные проблемы. Собрание рабочего коллектива транспортников часто приводило к созданию *аварийной комиссии*.

На речном флоте Сибири такие комиссии собирались часто. Шестого сентября 1920 года в енисейской бухте Варзугина произошла нештатная ситуация — пароход «Север» ветром выбросило на берег. На рабочем собрании прозвучали обвинения капитана А. И. Лысенко в непринятии всех мер по спасению судна и в непредусмотрительности при подготовке снаряжения на случай непредвиденных ситуаций.

Состоявшаяся на ст. Красноярск выездная сессия Трибунала установила, что капитан и команда корабля боролись со стихией до конца. Когда начался сильный западный ветер, капитан отвел пароход вглубь залива и силой работающей машины противостоял парусности судна, сносимого на песчаную отмель. В воду были брошены два 12-пудовых якоря, спущен 14-пудовый балласт. Всю ночь экипаж боролся за живучесть судна. Штурвал держали двое вахтенных, но его вырывало из рук, и был травмирован лоцман. Машина плохо выгребала ввиду маломощности парового мотора. Сломался левый якорь. На правом якорю в цепи лопнуло звено и в борьбе со стихией многие звенья потеряли контрфорсы (перемычки внутри звеньев, которые предупреждают их деформацию при натяжении цепи). При навалах волн более двух сажень корма задиралась и гребной винт работал больше в воздухе, чем в воде. Пароход болтало, его нос рыскал в стороны и задевал якорные канаты форштевнем, отчего якоря скользили по дну. Волны стали перекатывать через палубу. С кормы поставили сваю для удержания корабля, но ее вырвало ветром. «Север» прибило на отмель, и, когда шторм закончился, а вода ушла в залив, судно осталось зарытым в песок. На спасение судна подошли пароходы «Ангара» и «Лена» с лихтером № 3. На совете капитанов было решено оставить «Север» зимовать на песке. Груз с него — 1 000 пудов рыбы — сняли.



Четырнадцатого апреля 1921 года следователь Трибунала Горох составила обвинительное заключение, в котором основной причиной аварии названы обстоятельства стихийного характера. Косвенной причиной стали действия капитана, которого назначили из числа штурманов дальнего плавания. Он не имел достаточной практической подготовки по судовождению, а потому не предпринял всех мер: не применил работу машины в помощь отданным якорям и поднял якоря без поддержки работы машины. Следователь постановила предать капитана суду Трибунала по обвинению в непринятии всех мер для предотвращения аварии.

Четырнадцатого мая 1921 года капитан Лысенко явился в Трибунал, где заявил, что выброшенный на песчаный берег пароход поврежденных не получил. «Машина вообще работала, но помощи якорям не давала. У лоцмана была сломана рука, и рулевой не мог работать один», — такие показания дал капитан. Трибунал постановил признать обвинение в непринятии мер к недопущению аварии парохода «Север» недоказанным, а капитана судна оправдать.

Транспортник транспортника всегда прикроет

Поскольку одними выкриками и митингами решить транспортные проблемы было нельзя, аварийные комиссии нуждались в специализированном прокурорском надзоре. В архиве сохранился образчик протокола заседания аварийной комиссии от 6—7 июля 1921 года в Томске в составе: начальник инструкторско-ревизионной части Барышников, от Рабкрин — Бушуев, от эксплуатационного отдела — Стойлов, от отдела тяги — Плеханов, от службы пути — никого, от Райкомвода — Смокотнин, от Желдорвертрибунала [так в протоколе] — Дубенец; РОВ — никого, ЧК — никого, ЗКУвод — Быков. От служб речного флота кворум набрался, и заседание по аварийности состоялось. Но каково качество заседания?

Дата, фабула аварии	Как ситуация разрешилась
19.05.1921 г. Пароход «Тихонов». На стоянке в Новониколаевске сильным ветром сломало сваю и набросило судно на камень, что повлекло пробоину в корме.	Дело прекращено, так как авария имела стихийную причину.
20.05.1921 г. Катер «Лебедь» с паузком перевозил рабочих из Новониколаевска в Затон. На фарватере заглох мотор, сильным валом завалило катер, который утонул.	Виновата стихия, дело прекращено.
20—21.05.1921 г. ночью у катера «Надежный» появилась течь в корпусе, катер затонул.	Виновен матрос Назаренко, дело передано в трибунал.
23.05.1921 г. На пароходе «Тихонов» от дымовой трубы загорелась стенка шкафа, которая была близко и без изоляции.	Виновности ни в ком нет, дело прекращено.
26.05.1921 г. На пароходе № 199, бывший «Моряк», сломался болт, сорвалась головка шатуна, поршень дал трещину.	Дело прекратить благодаря недоброкачественности болта.
27.05.1921 г. Пароход «Томь» при присдаче к деревне Светлянка при сильном течении ударился колесом о твердый мыс, что привело к поломкам.	Виноват помощник командира Прокопенко. За неосмотрительность — условный арест на 2 недели.



Поскольку протокол обсуждения фабул с авариями судов недоступен и мы не располагаем дополнительными материалами, могущими пролить свет на подробности происшествий с пароходами и катерами, нам остается лишь верить в то, что ситуация по аварийности в каждом представленном случае разрешалась справедливо. Однако остаются подозрения в том, что аварии произошли по халатности, разгильдяйству и недосмотру. Так как речники — свои товарищи, эти инциденты могли «заболтать», чтобы скрыть истинные причины происшествий и «поберечь» кадровый состав от репрессий со стороны ведомственного трибунала.

Например, дважды за четыре дня попавший в реестр пароход «Тихонов» нуждался в ремонте. В первом случае, когда при сильном ветре пароход бросило кормой на берег, можно признать, что виновата стихия. Формулировка «виновности ни в ком нет», когда от дымовой трубы загорелась неизолированная стенка шкафа, что могло вызвать пожар и гибель парохода, выглядит сомнительно. Просматривается безалаберность. Ответственное лицо было обязано обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и изолировать горячую дымовую трубу от сгораемых предметов. Если такого лица на пароходе не было, виновны вышестоящие товарищи из аварийной комиссии или другие начальники, которые не назначили ответственное за противопожарную безопасность судна лицо. Но сами себя осудить начальники никак не могли...

Также вина усматривается в работе механиков, готовивших к рейсам моторы на катере «Лебедь» и пароходе «Моряк». За технику на судне отвечает не сама техника, а человек, ответственный за ее обслуживание, проводящий регламентные работы качественно и в сроки, с отметками в журналах осмотра и ремонта.

Безалаберное отношение к технике всегда влечет за собой ее порчу или утрату. Иногда инцидент может быть скрытой диверсией. Так, в апреле 1921 года на алтайском обском Гоньбинском затоне готовились проводить испытания парохода № 192. Вечером 30 апреля 1921 года капитан парохода отпустил всю команду на берег. А в час ночи 1 мая с берега заметили, что пароход тонет. Прибежавшие по тревоге комиссар затона Ведин и заведующий затоном Малышев взошли на судно и установили, что в трюме через верх идет вода. Малышев снял с себя шубу, начальники закупили ею течь и вставили распорки.

Затем они распорядились подвести к накренившемуся пароходу баржу для подпорки и прорубить палубу, чтобы помпой откачать воду. Пароход отстояли — к Первомаю неприятного «сюрприза» не получилось. Это вполне могла быть диверсия. В ходе проверки выяснилось, что «незакрытым оказался кран от донки (кингстона? — А. А.), вода поступала также через бортовые краны». Виновных не нашли.

Однако больше всего возгораний и пожаров на судах происходило от глупости и несоблюдения правил обращения с огнем. Например, 12 июня 1921 года на катере «Экспресс» от случайного толчка упала зажженная лампа, что привело к пожару и утоплению судна. Виновным признали машиниста Мануйлова и Томский участок тяги, представители которого не предусмотрели кронштейна для лампы.

Семнадцатого июня 1921 года пожар возник в носовом салоне первого класса парохода «Урицкий». Виновной оказалась «культурница» Е. В. Назарова, которая не предупредила капитана о предстоящем концерте в пользу голодающих. На мероприятии не было надзора за посетителями, один из которых бросил окурок. Ущерб нанесен небольшой: двери, стены и потолок обгорели, при тушении возгорания разбили зеркало.



Схема происшествия с пароходом «Китай»

Двадцать третьего июня 1921 года на пароходе № 189 (бывший «Алтай») капитан Пекарский составил акт о том, что кочегар Семейкин в своей каюте разбирает патрон от берданки, рядом находилась коробка с двумя фунтами пороха. Патрон от случайного удара взорвался, огонь перекинулся на порох. Пожар быстро локализовали. Обгоревшие стенки кубрика починили за счет кочегара, которому объявили выговор.

А 18 августа 1922 года стоявший у томской пристани катер № 67 (бывшая яхта «Леди Скотт») при пожаре затонул. В этот день рулевой катера А. Коткин, с замотанным бинтом пальцем, заливал машинное масло и заодно прикуривал. Бинт на пальце пропитался ГСМ, и при закуривании повязка вспыхнула. Испуганный рулевой стряхнул ее в трюм, где плескался мазут. Взрывом горячего рулевого выбросило за борт катера, ему сильно обожгло лицо, но он успел крикнуть, чтобы у катера пробил дно. Только так удалось потушить пожар.

С авариями «везло» и пароходу «Китай», который в мае 1921 года при повороте навалым ветром был выброшен на мыс в Бобровском за-тоне и получил ряд повреждений. Комиссия не усмотрела вины капитана Ведерникова, причины аварии названы чисто стихийными. Девятого августа 1921 года судно следовало по реке Томь с грузом продуктов из Томска в Щегловск (ныне Кемерово) и на Нижне-Мокрушинском перекате напоролось на подводный камень. Из всего груза команда спасла лишь пять мешков сахара.

Тонущий пароход притопили на мелком месте, носовую пробоину заделали цементом, воду откачали с помощью другого парохода. «Китай» тронулся вверх, работая колесами, но его понесло течением на каменную гряду, где судно получило вторую пробоину. Причиной аварии капитан Лобастов назвал узкий ход фарватера и недостаточную обстановку переката, так как подводный «камень выдался в сторону от вешки на фарватере сажени в 2». Почему второй пароход не взял «Китай» на буксир? Этот вопрос мог бы задать аварийной комиссии транспортный прокурор. Но его пока не было. А заседатель Трибунала, бывший «рабочий пути ж. д.», промолчал ввиду юридической безграмотности или из пролетарской солидарности.

Речному флоту очень не хватало капитанов. Поэтому, когда их арестовывали, включались все силы и средства транспортных предприятий.





В ход шли поручительства от управления коллектива речников, которые ссылались «на острую нужду в работниках такой квалификации» и просили Трибунал освободить капитанов для использования по специальности до предстоящего заседания Трибунала, где аварийщикам, как правило, выносились условные приговоры.

Революционная законность как дышло

Условность и двойственность Трибунала особенно ярко проявлялась в ситуациях, где фигурантами были представители разных классов. Как-то Трибунал рассматривал дело машиниста Строганова, выбившегося в начальники жилищной комиссии на станции Барнаул. Строганов явился по месту жительства не названного по фамилии весовщика железной дороги и выгнал его семью зимой в трескучий мороз вон без предоставления другого жилья. «При шатании» отца, матери и двух детей по городу в поисках пристанища один ребенок простудился и умер. В ходе разбирательства выяснилось, что бывший машинист привлекался к суду не только за кражу четырех аршин сукна, но и «по делу выдачи тюменских большевиков белым бандам». Его преступление, посчитал Трибунал, «носит исторический характер и подлежит амнистии». К тому же отец умершего мальчика обидчика простил. Строганов остался на свободе и при «теплой» должности.

А вот с бывшим счетоводом железной дороги Яковом Хохловым, который, по его собственному признанию, совершил «мерзкий поступок» — донес в военный контроль белых на сослуживцев-большевиков, никакой амнистии не последовало. Хохлова приговорили «условно к высшей мере наказания, расстрелу, если в продолжение Гражданской войны он не искупит своей вины перед Рабоче-крестьянской властью». Счетовода поместили в тюрьму. Ночью он спал в камере, днем работал грузчиком на станции Иркутск. Ворочая ящиками и мешками, осужденный перенес тяжелую болезнь. Кормили плохо, денег не платили, семья бедствовала. Хохлов обратился лично к В. И. Ульянову-Ленину с длинным покаянным письмом о смягчении участи, но послание перехватили и рассмотрели в Трибунале.

Там прочитали проникновенные слова осужденного о «справедливом народном суде», о «политической неразвитости и неподготовленности» адресанта и о том открытии, что «социальная революция — это как закон природы, против которого идти бессмысленно и преступно». Донщик-счетовод страстно призывал Ильича: «Революция открыла мне глаза! Прошу Вас, великий вождь пролетарской революции! Проявите гуманизм к бывшим белым офицерам!»

Пунктик о «белом офицерстве» стал роковой ошибкой в биографии счетовода. Как оказалось, при Колчаке он преподавал пулеметное дело в иркутской унтер-офицерской школе. В итоге, согласно постановлению Трибунала от 3 октября 1920 года, формулировка «условный расстрел» была отменена, а принудительные работы на станции до окончания Гражданской войны оставлены в силе. В результате до 25 октября

1922 года жена и малолетний ребенок Хохлова оставались без поддержки.

В практике Трибунала были уголовные дела, на которых суровые заседатели буквально обломали зубы. Расстрельные статьи, наганы и революционная решимость искоренять транспортную преступность были под рукой, а сделать ничего было нельзя. Неподсудные ситуации, неприкасаемые люди...

Делайте выводы сами. Восемнадцатого мая 1921 года буксир № 188 (бывший пароход «Ермак») вел по Оби из Камня-на-Оби в Новониколаевск две баржи с 80 тысячами пудов груза. У пристани Красный Яр командир парохода Рыжков услышал выстрелы и увидел махание красной манишкой — нагрудником, треугольной тряпицей. Когда капитан спросил в рупор: «Что нужно?», с пристани потребовали остановить пароход. На слова капитана о том, что им запрещено останавливаться и принимать пассажиров, последовали угрозы отдать под суд и новые выстрелы. В итоге на буксир загрузились следующие ответственные товарищи: председатель выездной сессии Новониколаевского трибунала Минин, член сессии Соловьев, уполномоченный Новониколаевской ЧК Мурлаев, ответственный секретарь Закаменского райпарткома Хаустов, секретарь Новониколаевского женотдела Алабугина. Помимо товарищей в кожанках, буксир принял на борт 18 человек осужденных и 12 конвойных. Однако людей было разрешено перевозить только на пассажирских пароходах. Поскольку это было нарушением постановления Совтрудобороны от 28 марта 1920 года о запрете вмешательства в работу водного транспорта, да еще под угрозой оружия, в Трибунале приняли дело к рассмотрению.

К незаконной остановке буксира у Красного Яра можно добавить похожую историю, когда с этой же пристани 29 октября 1921 года, в позднюю навигацию, тоже стреляли по пароходу, требуя остановки. Судя по рапорту командира парохода «Барнаул» Баскакова, следовавшего из Камня-на-Оби до Новониколаевска с полным грузом, его заставили причалить выстрелами из винтовок трое красноармейцев из 234-го Маловишерского полка — Евгений Борисов, братья Максим и Иван Игнатьевы. Они сопровождали партию оружия и отказались сесть на следовавший за «Барнаулом» почтово-пассажирский пароход «Яков Свердлов».

Вооруженные люди с красными бантами в петлицах, исходя из «революционной целесообразности», не только незаконно тормозили речные суда, но и угоняли паровозы. Восемнадцатого июня 1920 года на станции Алтайская командир железнодорожной роты охраны Гавриил Берг получил боевой приказ снять с барнаульского железнодорожного моста пять пулеметов и со своим подразделением в количестве 140 штыков с 75 тысячами патронов прибыть в Новониколаевск на подавление мятежа в районе Сибирской магистрали. Размахивающему на станции наганом Бергу девять вагонов под личный состав выделили, а паровоз не дали. Тогда он приказал отцепить паровоз от поезда «неважного» назначения, отправился на мост за пулеметами, где его ретивость





поубавили — пулеметов не дали. Трибунал стал разбираться в самоуправстве командира, рвавшего в бой. Собрали бумаги. Юрисконсульт из железнодорожной службы под аббревиатурой Упвососиб (Управление военными сообщениями Сибири? — А. А.) заявил о недопустимости вмешательства военных властей в работу НКПС. Захват паровоза и отправление в путь без телеграфного сообщения могли привести к столкновению со встречным поездом. Командир дивизии, отдавший Бергу боевой приказ, свое приказание подтвердил. Ответа на вопрос Трибунала, почему он разрешил угнать паровоз, не последовало. Зато командир подтвердил приказ о немедленном прибытии к месту сбора войск для подавления мятежа. Не распоряжавшаяся паровозами и войсками ТЧК дала справку о том, что разрешила взять паровоз от поезда «неважного» назначения.

При такой мешанине нарушений, распоряжений, указаний, умолчаний, справок и заявлений следствие Трибунала забуксовало и растянулось на шесть месяцев, до 10 января 1921 года. К тому времени оскандалившегося комроты перевели в Новониколаевск в 83-ю бригаду войск внутренней обороны. Переписка с военным ведомством по привлечению Берга к суду происходила в условиях, когда его фамилия при ответах на запросы Трибунала не фигурировала и нельзя было понять, о ком ведется речь. Устав от бюрократических препон, Трибунал постановил «дело производством прекратить». Также были прекращены дела в отношении товарищей, которые для остановки пароходов стреляли с пристани Красного Яра и грозили судом. Все они оказались неподсудны.

«Оборотни» на высоких постах

Освобождались от ответственности перед Трибуналом и настоящие «оборотни», которые в Гражданскую войну «лихо рубали белых шашками», а после войны устроились на хорошие должности и зажили на широкую ногу. Две такие истории разысканы новосибирским историком В. С. Познанским.

В первый год своего существования транспортный трибунал пережил потрясающее ЧП. Оно было сразу засекречено... В июле 1921 года в ТЧК поступило коллективное письмо за подписями и. о. начальника милиции Омской железной дороги Русяева, политкомиссара Быкова и его заместителя Кигеля. Чекисты были потрясены информацией (публикуется в сокращении).

Из письма группы руководителей в ТЧК.

«Настоящим доводим до вашего сведения, что начдорупрмилии Омской дороги тов. Подпориным Петром Никитичем делается масса преступлений по должности. Подпорин, именующий себя старым партийным подпольным работником, задался целями систематического самоснабжения и злостной спекуляции».

Оказывается, Подпорин выдавал проездные документы лицам, якобы направленным по делам службы в центральные районы страны.



Торгаши-спекулянты с мандатами на бесплатный проезд во всех видах пассажирских и курьерских поездов с правом провоза багажа, не подлежащего досмотру, везли на запад продовольствие, а возвращались с промышленными товарами. Двадцать пять пудов муки-сеянки, хромовая кожа и другие конфискованные предметы стали вескими уликами для обвинения Подпорина по расстрельным статьям жесткого УК пролетарской диктатуры.

Подпорин спешил хорошо жить. Его арестовали во время гулянки на свадьбе на разъезде Пикетное, где женили своих детей знакомые большевику кулаки. С деревней у начальника милиции была тесная связь: «добрые люди» ему посеяли две десятины пшеницы и обрабатывали огород.

В ожидании расстрела Подпорин вместо обращения в Трибунал о помиловании написал «товарищеское» письмо-прощание А. Заездову, командующему войсками внутренней службы Сибири. Заездов недавно подавил восстание сибирских крестьян и поэтому пользовался авторитетом у партийного руководства края. Командующий поставил перед Сиббюро ЦК РКП(б) вопрос об отдаче ему на поруки «старого боевого товарища», с которым воевал против Колчака. Заступничество командира привело к пересмотру обвинительных материалов. В результате 25 марта 1922 года Подпорина освободили из-под стражи. Тем не менее правосудие свершилось неведомым образом. В 1931 году неподсудный большевик странно погиб на охоте.

Еще одна «расстрельная» история связана с именем героического командарма Василия Ивановича Шорина. Боевой путь бывшего царского полковника в рядах Красной армии прошел через Сибирь. Он командовал 2-й армией Восточного фронта, которая летом 1919 года победоносно пришла на Средний Урал, открыв Красной армии путь на просторы Западной Сибири.

В начале 1920 года Шорин получил уникальную для РККА должность помощника Главнокомандующего всеми вооруженными силами Республики по Сибири. Главнокомандующим, или председателем Реввоенсовета Республики, являлся лично Л. Д. Троцкий. Шорин подчинялся непосредственно «льву революции», а в экстренных случаях имел право прямого обращения к председателю Совета народных комиссаров РСФСР В. И. Ленину. Авторитета помгавкому добавили подавление ряда антисоветских восстаний в Сибири: Рогова в Причумышье в 1920 году, Народной повстанческой армии в Степном Алтае в 1920 году, Западно-Сибирского восстания в 1921 году и успешная борьба с войсками барона Унгерна.

Год спустя в силу изменившейся военно-политической обстановки должность помгавкома по Сибири упразднили, и Шорин покинул Новониколаевск. Обычно отъезд высоких военных начальников сопровождался торжественным прощанием, оркестровым тушем и ритуальной пьянкой, но в данном случае помпы не наблюдалось. Причина — связанный с отъездом скандал, докатившийся до Москвы.

Срочная шифрограмма. 3 декабря 1921 г. Совершенно секретно.
«Москва. Заместителю Председателя Реввоенсовета Республики
Склянскому. Отзываемый в Москву помгавком Шорин затребовал



себе для переезда 4 классных и 3 товарных вагона. Такая чрезмерная требовательность вызывает общее возмущение, особенно с переживаемым катастрофическим состоянием транспорта, отказывающегося от регулярной вывозки продовольствия для Центра и Поволжья. На основании этого Сибревком признал возможным предоставить Шорину лишь 1 классный и 2 товарных вагона. Кроме того, Шорин намерен увезти с собой 1 автомобиль. Ввиду крайней бедности машинами Сибири, не имеющей возможности удовлетворительно обслуживать служебные дела, Сибревком ни в коем случае не допустит увоз автомобиля Шориным. Прошу по обоим этим вопросам дать подтверждающее распоряжение Центра.

И. о. председателя Сибревкома Чуцкаев...»

Требуемое распоряжение Сибревкомом было получено, но в транспортный трибунал обвинительные материалы не поступили. В Москве Шорина арестовали, но дело удалось замять. Помогло заступничество всесильного Троцкого, которому боевой товарищ черкнул из камеры пару дружеских строк. В конце 1930-х годов «разоблаченного врага народа» Шорина расстреляли, но в середине 1950-х — посмертно реабилитировали.

Вместе с тем транспортный трибунал был строг к «оборотням», которым с высокими покровителями не повезло.

В конце 1920 года Трибунал поддержал заключение Томской коллегии ТЧК о расстреле большевика А. А. Маркина, который работал в ТЧК. Чекист был разоблачен как колчаковский палач, участвовавший в показательных порках крестьян и расстрелах сибирских партизан. Из заключения Трибунала следовало, что «Маркин является по своему существу преступным типом, вне зависимости от окружающих объективных условий. Это тип эгоиста, для которого не существует никаких руководящих нравственных и моральных правил и особенно классового самосознания, для достижения цели, цели определенно эгоистической, шкурнической. Для такого типа “все условия хороши” и в использовании этих условий — “все средства хороши”. Будучи среди белых, а впоследствии среди красных, он старался максимум, насколько только позволяли личные способности, использовать как те, так и другие окружающие условия».

Еще один примазавшийся к советской власти фигурант — поляк Станиславский — сумел пробиться из столяров в комиссары 20-го участка Томской железной дороги. В партию большевиков он попал из секции польских интернационалистов, и вскоре подчиненные работники железной дороги заметили за комиссаром барские замашки.

Станиславский оказался «картежным игроком и завсегдатаем бильярда». В своей комнате он распорядился за казенный счет произвести побелку и установить мраморный умывальник. Во время своей службы он загнал четырех лошадей и украл шестнадцать пудов мяса. В служебном вагоне возил сожительницу и контрабандную муку. Воровал дрова и производил незаконные аресты. Оболгал сослуживца в доносе, что тот якобы сменял казенную шубу на корову.

По распоряжению Трибунала у комиссара Станиславского отобрали должность, проездной билет, служебный маузер и приговорили

его к десяти годам принудительных работ. Вышестоящая инстанция сократила срок до пяти лет.

Заключение

Такова краткая история безнадзорного периода общественного транспорта в Сибири. Некоторые функции надзора пытался осуществлять специализированный транспортный трибунал, у которого это получалось с переменным успехом. В таком сложном формате — карательном и одновременно пропагандистском, с привлечением к дознанию по транспортным происшествиям широких масс, координацией действий между силовыми структурами, внедрением в рабочую среду негласных сотрудников и инициативами в других направлениях деятельности, — Трибунал проработал вплоть до 1925 года.

Затем Трибунал упразднили, а часть его функций передали Военно-транспортной коллегии в составе Верховного суда СССР. Эта коллегия проводила выездные сессии. Она коллегиально преследовала преступивших закон транспортных начальников, совершавших хищения грузов целыми эшелонами (как это проделывал в «Золотом теленке» гражданин Корейко) или оформлявших фиктивные многомиллионные подряды на строительство.

По документам удалось проследить судьбу некоторых первых сотрудников Трибунала. Председатель С. Л. Огнетов (15.12.1891 — 04.06.1971) прожил долгую жизнь. До назначения на высокую должность в Трибунале имел начальное образование, был конторщиком и плотником на железной дороге, организатором иркутского подполья в 1918 году. По завершении работы в Томске бывший председатель вернулся в Иркутск на должность заведующего губернским отделом Наркомата рабоче-крестьянской инспекции (НК РКИ). Последним известным местом работы Степана Лукича стал новосибирский трест Сибгосторг, в котором он трудился помощником директора-распорядителя до 1927 года. Захоронен в 29-м квартале Заельцовского кладбища. Бывшая учительница А. П. Горох пошла по линии НК РКИ в Москве, где упокоилась в 1952 году в колумбарии Новодевичьего кладбища. Бывший жестянщик М. С. Золин после службы в Трибунале занял должность управляющего в Горьковской конторе ювелирторга. В марте 1940 года его признали «врагом народа» и лишили свободы сроком на один год и один месяц. Через восемь месяцев Золина оправдали. Похоронен как революционный деятель на Бугровском (Красном) кладбище Нижнего Новгорода.

Малоизвестна судьба следователя В. С. Александровского. Его отец Сергей Васильевич, успешный томский адвокат и помощник председателя Томского окружного суда, при советской власти возглавил губтрибунал, стал уважаемым юристом и автором учебников по юриспруденции. Сын воевал подпоручиком в армии адмирала Колчака и был взят красными в плен. По наущению отца явился в томский горвоенкомат, где его



поставили на особый учет. Однако после «вычистки» из следственной части Трибунала его следы теряются.

Ничего не известно о трех других работниках — столяре А. С. Рожинцеве, работнике пути А. Ф. Дубенце и инвалиде Н. В. Оконешникове.

В заключение отметим, что уважаемые читатели стали первыми, кто узнал о деятельности особого транспортного трибунала, к архивам которого более 100 лет не прикасался ни один исследователь. В массивных папках, отдающих легким запахом ванили ввиду разложения бумаги, сохранены сведения о первых шагах по наведению правопорядка на железных дорогах и водных путях Сибири. Были у Трибунала ошибки и сложности, удачи и проблемные ситуации, которые предстояло разрешать новым поколениям представителей транспортной юстиции. На протяжении всего XX века вера государства в необходимость в транспортном надзоре то угасала, как лучина, то возрождалась, как птица феникс из пепла. В настоящее время в столице снова идут разговоры на высшем уровне об упразднении транспортной полиции, транспортной прокуратуры и следствия на транспорте. Видимо, специализированный надзор в этой сфере — величина переменная...



Народные мемуары

Валерий ГАБРУСЕНКО

ЧТО БЫЛО, ТО БЫЛО

Родился я через полтора месяца после начала войны. Пережил эпохи Сталина, Хрущева, Брежнева, Горбачева, Ельцина и уже более 20 лет живу в эпоху Путина — назло Пенсионному фонду.

* * *

Послевоенный Новосибирск представлял собой огромную деревню с деревянными домами, печным отоплением, «удобствами» во дворе, водоразборными колонками — одна на полтора-два квартала, — которые в сильные морозы частенько замерзали. Рядом с домами были огороды, а во многих дворах держали кур и даже коров (во времена своего правления Никита Хрущев с живностью решительно расправился). Многоэтажные кирпичные дома возвышались как отдельные скалы на равнине. Правда, на заводских окраинах были еще целые кварталы многоэтажных домов, так называемые соцгорода. В центральной части города мощным был Красный проспект и несколько других магистральных улиц, на остальных было грунтовое покрытие.

* * *

Из детсадовской жизни вспоминается одна деталь, типичная для того времени. Хлеб нам во время еды клали на тарелочку на стол, по кусочку на человека. Все любили горбушку. За ней начиналась настоящая охота. Случалось, что кто-то дотронется до куска хлеба, а потом увидит побольше и схватит его. После этого обиженный начинал громко ябедничать: «А он мой хлеб обтрогал!»

Елку у нас дома устраивали всегда, сколько себя помню. Стекланных игрушек было мало, в продаже они появились где-то в 1950-е, сохранилась часть довоенных — тяжелых, словно из металла. Зато много было флажков и картонных игрушек, а кое-что делала мама, с ее хорошим художественным вкусом. Освещение делал старший брат. Он где-то доставал (тогда многое «доставали», так как в магазинах мало что можно было купить) автомобильные лампочки и сам паял гирлянду.



Городская елка в центре на площади Сталина (сегодня площадь Ленина. — *Ред.*) была одной из самых высоких в Советском Союзе. Когда ее включали по вечерам, в Центральном районе Новосибирска из экономии иногда выключали свет и мы сидели при лучине, так как свечей тоже было не купить. В те времена заводы работали в три смены и электроэнергия на все нужды не хватало.

С новогодней елкой связан комичный случай, о котором рассказывала мама. Она в то время работала заведующей детсадом в Заельцовском районе. В том же районе был детсад обувной фабрики. Организация-шеф денег на детей не жалела, потому детсад ходил в районных передовиках. Заведующая по фамилии Дрек однажды решила всех поразить, устроив вращающуюся елку. Однако мастера-настройщики что-то сделали не так. Когда начался утренник и дети по команде Деда Мороза хором закричали: «Елочка, зажгись, огоньками засветись!», елка стала вращаться с такой скоростью, что игрушки повисли горизонтально, начали разлетаться по стенам, а дети с ревом и визгом попрятались по углам.

Наверное, потому, что нам с бабушкой днем часто бывало холодно, в памяти детства больше запечатлелась зима, чем лето. Печку топили раз в сутки вечером, чтобы ночью было тепло. Еще один незначительный момент я помню так четко, как будто это было вчера. Брат катает меня на санках по тротуару Красного проспекта. Вечер, пушистый снег, из динамиков на ДOME Ленина (в то время там находился ТЮЗ) звучит чудная «Баркарола» Чайковского. Название и автора я тогда, конечно, не знал, но музыку запомнил. С тех пор «Баркарола» ассоциируется у меня с зимой и тихо падающим пушистым снегом, а не с летом, венецианскими каналами и гондольерами.

* * *

Телефонов тогда не было, и гости зачастую приходили без приглашения. Причем не только в единственный тогда выходной день — воскресенье, но и в будни по вечерам. А мы, дети, ходили в гости друг к другу, как к себе домой. Если попадали во время трапезы в чужой дом, нас и кормили, как своих детей. Потом быт стал налаживаться, появились телевизоры и телефоны, люди постепенно «окукливались» и милые патриархальные отношения навсегда ушли в прошлое. Сегодня, если нужно срочно переговорить с соседкой по площадке, удобнее это сделать по телефону, а не звонить ей в дверь.

* * *

Всенародных праздников в послевоенное время было немного: Новый год (один день отдыха), День солидарности трудящихся 1 мая (два дня) и День Октябрьской революции 7 ноября (два дня). Выходным был и День памяти Ленина 21 января, но гулянок по этому поводу, конечно, не было.

Еще одним из праздников был день выборов. На всех избирательных участках (их называли агитпунктами) с утра до вечера проходили концерты самодеятельных артистов. Самодеятельность поддерживало

государство, и она была на очень высоком уровне. Достаточно большие организации содержали собственные хоры, оркестры или танцевальные коллективы, а особо крупные — и то, и другое, и третье. О домах культуры и говорить нечего. В их штатах были предусмотрены даже соответствующие должности — хормейстера, дирижера или балетмейстера. Мы с утра обходили ближайшие участки, смотрели программы и выбирали наиболее интересные номера. А потом бегали с одного участка на другой, пока нас не выгоняли, потому что начинались танцы под оркестр для взрослых. Еще одним плюсом дней выборов было обилие продуктов в буфетах, включая экзотические для нас мандарины.

Для поколения наших родителей самым ярким праздником был День Победы 9 мая 1945 года (у очень многих — «со слезами на глазах»), а для нашего поколения — 12 апреля 1961 года, день первого полета в космос Юрия Гагарина. Это было действительно всенародное и, увы, последнее ликование.

* * *

Жила наша семья в центре города на ул. Октябрьской, занимая половину одноэтажного деревянного, как тогда говорили, «частного» дома, хотя дом был государственным. В квартире было две комнаты площадью 17 и 6 кв. метров и кухня площадью тоже 6 кв. метров. В последней находились печка, умывальник, вешалка и кухонный стол с электроплиткой, у которой часто перегорала открытая спираль. В квартире жило шесть человек: бабушка, я с мамой, тетушка Вера со своим сыном Игорем (двоюродный брат был на семь лет старше меня) и одинокая тетушка Ира. Нас такая скученность не огорчала — так же, если не теснее, жило большинство.

Несколько моих одноклассников жили в благоустроенных квартирах с кухней, ванной и туалетом, но зависти у меня к ним никогда не было. Я понимал, что их отцы — начальники и получили такое жилье по праву. Среди множества моих недостатков было, по крайней мере, одно достоинство — отсутствие зависти.

В большой комнате у нас стоял массивный стол, перевезенный летом 1917 года из Петербурга-Петрограда. За ним мы ужинали, делали с братом уроки и по вечерам читали вслух книги. Со столом были привезены и венские стулья, которые служили нам, не расшатываясь, почти 50 лет.

* * *

Как наша семья оказалась в Новосибирске, знаю из рассказов бабушки. Мой дед, происходивший из белорусских крестьян, работал на Обуховском заводе токарем. Видимо, он обладал хорошей квалификацией, поскольку растачивал стволы морских орудий, что требовало очень высокой точности. Жили они на окраине Петербурга в заводской квартире в одноэтажном доме, с отдельным входом. В заводской лавке для работников продавались продукты хорошего качества и дешевле, чем в коммерческих магазинах. Их можно было брать в кредит без





процентов, по заборной книжке. Жена рабочего брала продукты, в эту книжку записывали сумму, а из очередной полочки мужа вычитали их стоимость. Мера разумная — даже если муж любил закладывать за воротник, семья не голодала. В заводской больнице бесплатно лечили рабочих и членов их семей. Мой дед (у него был хороший баритон), а позднее его старшая дочь Ира пели в заводском самодеятельном хоре. Как видно из сказанного, социальные вопросы начали неплохо решать и при царе, пусть и далеко не везде, и нужды в революциях не было. Зарплата деда составляла порядка 60 рублей в месяц. Этого было достаточно для безбедного существования семьи из семи человек (в нашем семейном архиве хранится его расчетная книжка).

В разговорах про досоветское время бабушка часто упоминала про «коровье» масло. Сливочное, мол, ели только в праздники. Как-то раз я, воспитанный советской школой в презрении ко всему дореволюционному (мне было лет десять-двенадцать), сказал: «Вот видишь, вы даже сливочного масла не ели, а у нас оно есть для всех». В те времена в свободной продаже было великолепное масло типа «вологодского» и «экстры». На что она парировала: «Это и есть коровье, а сливочного ты и не нюхал».

В Сибирь семья переехала летом 1917 года после Февральской революции, когда начались перебои с продуктами, галопирующая инфляция и прочие «демократические прелести».

* * *

Жили мы дружно, если конфликты и возникали, то в моей памяти они не отложились. В 1952 году брат поступил в Томский политехнический институт, вскоре по приглашению уехала на работу в Ангарск тетушка Ира, и сразу показалось, что квартира опустела.

Запаста воды, принести уголь из сарая, наколоть дров для растопки, а зимой очистить от снега прилегавший к квартире участок двора и тротуара — все это лежало на «мужских плечах». Вначале это были плечи брата, а потом мои. Я даже наловчился носить воду на коромысле на одном плече так, чтобы вода не расплескивалась.

Главной едой в послевоенные времена была картошка и капуста. Картошку мы, как большинство новосибирцев, сажали в поле. Для этого совхозы и колхозы по указанию партийных органов выделяли участки для организаций (в организации тетушки Веры — в 15 километрах от райцентра Коченево). На поля выезжали всем коллективом на открытых грузовиках и по дороге обычно пели песни. Самым трудным делом был вывоз картошки. Полуторка ездила два раза в день по 50 км туда и обратно. Однажды она на втором рейсе сломалась и мы прождали ее двое суток. В первые сутки ночевали в поле у костра (а это середина сентября). Хорошо, что на вторую ночь нас приютили в сельской школе. Осенью покупали капусту и засаливали на зиму. Когда в подполье запасена картошка, а в сених стоит бочка капусты, на душе спокойно — с едой проблем не будет. А если запасли три тонны угля, то и мерзнуть не придется!

Даже в праздники меню было не слишком разнообразным. Обычно на горячее подавали котлеты с картофельным пюре, а зимой пельмени. Это блюдо замечательно общинным приготовлением. Я научился «лепить пельмени» где-то с одиннадцати лет и всегда с радостью участвовал в этом кулинарном мероприятии. Еще мама очень хорошо готовила голубцы. Из холодных закусок практиковались винегрет, холодец и селедка под шубой из сметаны. Колбаса и сыр не в счет — это магазинные продукты. Салаты появились много позже, когда стали выпускать майонез. Пекли также пироги из серой муки. Белую муку в магазинах продавали два-три раза в год по 3 кг в руки. В очередь записывались с вечера, номер писали на руке химическим карандашом, отмечались несколько раз ночью. Тот, кто переключку пропустил, безжалостно вычеркивался. В ходу была даже такая фраза: «Ну и очередь, как за мукой!»

Наш дом был очень гостеприимным. Гости бывали не только в праздники, но и по выходным. В основном это были одинокие женщины — вдовы погибших мужей либо разведенные (у которых мужья вернулись с фронта с новыми женами). Единственным украшением компании с мужской стороны бывал милейший Михаил Александрович Шиша — племянник бабушки, мой двоюродный дядя, один из первых инженеров Новониколаевска. Он руководил строительством первой электростанции, а потом заведовал ею. В послевоенные годы он заведовал кафедрами в водном и сельскохозяйственном институтах. На столе редко бывало больше одной бутылки вина. Зато без песен не обходилось никогда. Тогда я узнал и полюбил на всю жизнь русские народные песни «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина», «Имел бы я золотые горы», «По диким степям Забайкалья», «В низенькой светелке», «Лучина» и много других. Пели их не напившиеся, а только чуть захмелевшие люди.

Детей одевали кто как может. Мальчики, как и девочки, носили чулки на пажиках (особое приспособление для фиксации чулок на ногах. — *Ред.*). Детские носки начали выпускать много позже. У мужских носков резинок не было. Для их поддержания использовали специальные подтяжки, закрепляемые на икрах. Зимой женщины надевали темные строгие шевиотовые платья, а летом — штапельные. Особой роскошью для дам считалась одежда из крепдешина, а у мужчин верхом шика — черный бостоновый костюм, который шился у портного, надевался по праздникам и служил 20 лет.

По субботам мы ходили в баню — на улице Каменской (действует и поныне) или на улице Коммунистической (сейчас на ее месте пристроенное здание КГБ — ФСБ). В дошкольные годы меня в баню водила мама — на Коммунистической были так называемые семейные номера, где мама вначале мыла меня, а потом я сидел в коридоре и ждал, пока помоеется она. За 10 минут до истечения часа банщица стучала в дверь и кричала: «Время!» Эти номера посещали преимущественно молодые семейные пары по предъявлению паспортов со штампом ЗАГСа, что было вполне объяснимо при квартирной тесноте того времени. По этому поводу существовала даже шутливая поговорка: «Пойдем в баню, заодно и помоемся».



Взрослых мы побаивались. За непозволительные шалости на улице они могли надрать уши и не полениться отвести к родителям. Если чужой ребенок попадал в беду или рисковал здоровьем, взрослые не проходили мимо. Это потом вместе с «окукливанием» пришло и равнодушие.

Зимой любимыми занятиями детворы были коньки и игра в сопку. «Снегурки» с загнутыми носками подвязывали прямо к валенкам белевыми веревками. Система подвязки была достаточно сложной, как попало затянутые веревки быстро ослабевали, и коньки сваливались. Полозья у «снегурок» были широкие, и мы катались прямо по утоптанному на тротуарах снегу. Одно плохо — жильцы прилегающих домов посыпали тротуар, если он был скользкий, печной золой. Это их заставлял делать участковый милиционер. А сопка — это утоптаный высокий сугроб, на который забиралась одна команда, а другая всячески старалась ее столкнуть или стащить вниз и занять «высоту» (эта детская игра иначе называется «Царь горы». — *Ред.*). «Высота», как на войне, часто переходила из рук в руки. В боевом угаре иногда доходило до «ранений» — расквашенных носов, а оторванных пуговиц, воротников и карманов никто не считал.

Весной первой детской забавой были ручьи. Пробивать для них канавки в снегу или во льду было не только интересно, но и необходимо, чтобы отвести талую воду от дома. Вторым развлечением были кораблики. Их делали из дощечек, ставили мачты из лучинок и бумажные паруса. Интереснее всего было пускать кораблики на Красном проспекте, где протекал самый длинный в городе ручей — аж до самой речки Каменки, которая уже давно течет в трубе. Мы проделывали этот путь бегом рядом со своими корабликами. В те времена снег с улиц почти не вывозили. За счет чистки дорог и тротуаров между ними вырастали целые брустверы сугробов. Учитывая ширину Красного проспекта, ручьи на нем были самыми могучими, и для перехода через них ставили деревянные мостки. Еще мы любили наблюдать ледоход на Оби — фантастическое зрелище, которого новосибирцы лишились после строительства ГЭС.

Летом мы любили футбол и купание. Вечерами гоняли мяч прямо на проезжей части — в это время суток машины были большой редкостью, а если появлялись, мы их замечали издали. В старших классах предпочтение отдавалось волейболу. Во многих дворах имелись игровые площадки. На них собиралась как молодежь, так и семейные мужчины с болельщиками — женами и детьми, формировались команды, которые играли друг с другом «на вылет» (проигравшая команда уступала место другой) почти дотемна. К командным играм в те годы приобщалось действительно много людей. Спустя время волейбольные площадки уступили место хоккейным, а теперь не осталось ничего.

Таинство смерти волновало меня с малых лет. Я не мог смириться с мыслью, что еще вчера человек был, а сегодня его нет — он ничего не видит, ничего не слышит и ни о чем не думает. Может, теперь он



видит, слышит и думает изнутри другого человека? На этом мои размышления заходили в тупик, но от них было недалеко до признания бессмертия души.

По причине этих размышлений мне нравилось участвовать в похоронных процессиях. В те далекие годы людей хоронили не так, как нынче. Покойника везли на открытой грузовой машине с опущенными бортами, гроб стоял на ковровой подстилке, за машиной шли родные и близкие, затем шествовал духовой оркестр (если его нанимали), а позади полз автобус или грузовик с сиденьями. Процессия проходила пешком почти через весь город по Красному проспекту до железнодорожного переезда за улицей Писарева (тогда путепровода еще не было). Затем участники шествия садились в транспорт и дальше ехали на небольшой скорости. Когда я в 1952 году увидел похороны в Москве, они меня поразили своим «кошунством»: прямо перед домом, откуда вынесли гроб с покойным, все сели в машины и на четвертой скорости помчались на кладбище.

* * *

О трамвае того времени, почти единственном виде общественного транспорта, можно написать отдельный роман. С ним в жизни новосибирцев было связано многое, в том числе немало трагедий. Основной парк тогда составляли старые трамваи: первый вагон моторный, один или два прицепа. Их двигатели издавали рев, как реактивные самолеты. В вагонах, как в электричках, были тамбуры, но с открытыми дверными проемами и наружными поручнями. Отапливалось только место кондуктора — под сиденьем стоял электрообогреватель. Ходили трамваи редко и потому были облеплены пассажирами, как котлеты сухарями. Поскольку был велик соблазн вскакивать и выскакать на ходу, под колесами трамваев гибло много людей. Однажды и я, спасаясь от преследования кондуктора, выпрыгнул на ходу из первого вагона, запнулся за что-то на земле и растянулся вдоль рельса. Слышу около левого уха: вжик! — одно колесо, вжик! — другое (это один прицеп), потом третье и четвертое (второй прицеп). Из вагонов закричали: «Мальчика зарезало!» Трамвай остановился, а я — ноги в руки и подальше от места события, потому что знал породу взрослых. От радости, что я остался жив, мне бы больно надрали уши. Было мне тогда лет восемь-девять.

* * *

На рубеже 1940—1950-х годов в Новосибирске появились первые асфальтировщики — рабочие с длинными граблями и тяжелыми дизельными катками. Я любил наблюдать за их работой и даже подружился с дядей Федей, бригада которого асфальтировала площадь Сталина (ныне площадь Ленина). Он проникся ко мне таким доверием, что как-то дал три рубля и попросил сбежать за папиросами «Норд» стоимостью 1 руб. 40 коп. за пачку. В киосках у площади их не оказалось, и я побежал дальше к Первомайскому скверу. Купил, поворачиваю назад и лоб в лоб сталкиваюсь с дядей Федей. Он признался, что, увидев, как я побежал с площади, заподозрил во мне воришку и решил догнать. От радости, что



я не оправдал его худших предположений, он мне тут же купил каких-то сладостей. Вот ведь ситуация: украл бы я трешку, был бы поколочен; не украл, возведен в ранг героя — и никакой середины!

* * *

Несмотря на тяготы послевоенного времени, наше детство было счастливым. Во-первых, потому что детство есть детство. Во-вторых, нам перепадала лишь малая толика тягот, достававшихся взрослым. А главное, было твердое ощущение, что о нас заботится страна и жить становится все лучше. И это было действительно так.

Мы, мальчишки, свой город любили и были его искренними патриотами. Поднимаясь на виадук около вокзала, смотрели на частокол копящихся в Левобережье заводских труб и гордились тем, как у нас в городе много заводов. Но предметом нашей особой гордости, конечно, были здания оперного театра и вокзала.

Мои патриотические чувства к городу действительно проявились в 4-м классе, когда мы начали изучать географию и знакомиться с картами. Я обнаружил, что Новосибирск обозначен значком, который соответствует населению от 100 до 500 тысяч человек. Негодованию моему не было предела. Ведь количество жителей нашего города уже достигло миллиона, а то и больше! Тогда я решил написать об этой несправедливости в Главное управление геодезии и картографии. На удивление скоро пришел ответ, который начинался словами: «Уважаемый товарищ...» В нем было выражено понимание моей озабоченности и сказано, что при составлении карты пользовались данными последней переписи населения, которая проходила в 1939 году. Это смягчило, но отнюдь не устранило мое негодование: разве в Москве не известно, какова численность населения Новосибирска сегодня?

* * *

Шкодили мы в детстве много. Среди невинных шалостей была такая: зимой наливали воду в стеклянную бутылку, заходили в какой-нибудь дом и в сенях оставляли бутылку (благо двери в сенях днем обычно не запирали). Вода замерзает и с треском разрывает бутылку. Кто этот звук слышал, говорил, что впечатляет, особенно ночью, когда мороз сильнее и все спят.

Осенью мы вырезали из тыквы «череп» — глазницы, носовое и ротовое отверстия. Надевали «череп» на длинную палку с лампочкой от карманного фонарика, провода от лампочки протягивали вдоль палки вниз, к батарейке и кнопке. Как стемнеет, подбирались к какому-нибудь окну, поднимали «череп» и включали лампочку. Чаще всего никакой реакции не было, но, если случалась суматоха, а еще лучше женский визг, это был искомый результат!

Ближайшим от нас был многоэтажный дом треста «Запсибзолото» на углу улиц Октябрьской и Каменской. Двери в квартиры там открывались внутрь. Это навело нас на мысль связать веревкой ручки противоположных дверей на какой-нибудь площадке и позвонить в обе



квартиры. После безответных вопросов «Кто там?» хозяева пытались открыть двери, и чем хуже у них получалось, тем с бóльшим остервенением они дергали двери. Удовлетворившись этой сценой, развязки событий мы не дожидались.

Или вот еще. В 7-м классе на уроках химии мы узнали, что реакция натрия с водой в закрытом сосуде производит взрыв. Самое трудное было стащить натрий из химического кабинета, остальное — дело техники. Наливаем до половины пузырька воду, к пробке прикрепляем на проволоке кусочек натрия (так, чтобы он не касался воды), закрываем пузырек, ставим его на середину тротуара и прячемся в кустах. Женщины всегда обходили подозрительный предмет стороной, а почти любой мужчина, независимо от возраста, норовил поддеть его ногой. Когда пузырек на лету взрывался, нас интересовала, прежде всего, реакция «футболиста». О возможных последствиях такой «шутки» мы не задумывались, но, к счастью, все обошлось.

Лидером пацанов на улице я не был, но слыл эрудитом. Авторитет эрудита иногда приходилось поддерживать самым примитивным способом — враньем. Жил неподалеку от нас китаец (их в ту пору в Новосибирске жило много, репатриировать начали с середины 1950-х годов), которого дразнили «хóдей» и непонятным вопросом: «Ходя, соли надо?» Мой сосед-ровесник Вовка Бобровский спросил как-то, что такое «ходя» (пренебрежительное название китайца. — *Ред.*). Я не знал, но, не моргнув глазом, ответил: «Ходя — это по-китайски “товарищ”». И вот однажды Вовка становится за этим китайцем в очередь за хлебом. Решив блеснуть вежливостью и языковыми познаниями, спрашивает: «Ходя, вы крайний?» Бежал он от китайца целых два квартала — были свидетели. Мой авторитет после этого забега не пошатнулся. Поскольку чувством юмора я был не обделен (любил «похохмить», как тогда говорили), то приятели решили, что это была шутка, на которую Вовка попался.

Хвастать здесь нечем, но — что было, то было. Поколение моих детей шалило по-другому, а поколение внуков-правнуков знает только айфоны да смартфоны. Не до шалостей.

* * *

В детстве на сэкономленные от школьных завтраков деньги я каждый год делал маме подарки к 8 Марта — то расписную деревянную шкатулку, то бронзовую статуэтку собаки, то еще что-то. А в младшие школьные годы, когда свободных денег было совсем мало, ограничивался просто поздравительной открыткой. Однажды (было это, кажется, во 2-м классе) я подарил открытку, на оборотной стороне которой старательно написал поздравительные слова, а на лицевой... была репродукция картины Перова «Проводы покойника». Мама долго смеялась над этим поздравлением и до конца жизни бережно хранила открытку.

* * *

Мой брат Игорь был необыкновенно талантлив в точных науках. В старших классах он серьезно увлекся радиотехникой (потом поступил





на радиотехнический факультет Томского политеха) и химией, в частности пиротехникой. Он сам делал разноцветные ракеты, а для их запуска смастерил из выстроганного деревянного корпуса и крупнокалиберного ружейного патрона пистолет-ракетницу. В патрон он набивал порох и вставлял цилиндрический брикет спрессованной ракеты. В начале ствола сбоку было отверстие для поджига пороха спичкой — такие самодельные «пистолеты» тогда называли «пóджигами». Где и как он доставал порох и химикаты, не помню. Когда по праздникам с крыши оперного театра пускали ракеты, мы тоже не отставали — знай наших! Хотя ракеты были не такими яркими, не так высоко взлетали и горели не так долго, как настоящие, все равно было здорово!

Как-то, насмотревшись на то, как весной взрывают лед на Оби во избежание заторов перед железнодорожным мостом (ГЭС тогда еще не было), брат решил: а почему бы и нам не взорвать большой сугроб снега перед нашим крыльцом? Игорь изготовил взрывчатку, вставил электродетонатор и протянул электропроводный шнур. Сам он в тот день болел ангиной и самое ответственное дело — заложить взрывчатку — поручил мне, семи-восьмилетнему. Взрыв получился живописный — мы за ним наблюдали из окна. После взрыва второго заряда картина вышла еще более потрясающей: когда снежная пыль осела, мы увидели нашего участкового милиционера капитана Капустинского (кстати, очень хорошего дядьку, бывшего фронтовика). Тот был похож на Деда Мороза больше, чем сам Дед Мороз: не только шинель и шапка, но и все лицо его было плотно залеплено снегом.

Как оказалось, после первого взрыва наша соседка тетя Фрося донесла «куда следует», а Капустинский пришел «среагировать на сигнал трудящихся». «Виновника торжества» Игоря он тут же забрал в милицию. Когда пришли с работы взрослые, на вопрос: «Где Игорь?» — я гордо ответил: «В тюрьме!» Продержали его там допоздна и выпустили после того, как с ним душевно побеседовал сам начальник отделения. Кроме всего прочего, у них состоялся и такой разговор:

- Ну а милицию ты бы мог взорвать?
- Почему же нет! Только много взрывчатки потребуется, но это можно рассчитать.

* * *

Начинал я учиться в 51-й семилетней школе (теперь там находится педагогический колледж). В 1948 году в нашем городе оставалось много военных госпиталей. Ими была занята половина новосибирских школ, поэтому школьникам приходилось учиться в три смены. Взрослые работали с раннего утра и допоздна, нас никто никогда не провожал и не встречал, хотя подросткового хулиганства хватало, даже с избытком. В 1952 году открылась 99-я школа-десятилетка (ныне в этом здании лицей № 22), в которую я перешел с 5-го класса и которую закончил в 1958 году.

В 1-м классе чистописанием мы занимались в тетрадках в косую линейку с тремя горизонтальными линиями. Средняя из них была ориентиром для колечек и перекладных в буквах. Примерно полгода писали

одни крючки и колечки и только потом перешли к настоящим буквам. Авторучками в младших и средних классах пользоваться запрещалось — считалось, что они портят почерк. Писали стальными перьями № 86 или № 11, которые вставлялись в гнездо деревянной ручки. Эти перья давали должный нажим, т. е. красивые утолщения отдельных линий в буквах. У каждого школьника были свои чернила — «непроливайки». У мальчишек они все равно проливались, поэтому большинство из нас ходило с измазанными чернилами руками, носами и одеждой.

Всего этого давно нет, сегодня детей не мучают прописями крючков и хвостиков, но грех смеяться над теми порядками. Ведь почти все взрослые писали такими же ручками, и умение красиво писать тогда ценилось.

По школьной программе того времени начиная с 4-го класса проводились ежегодные экзамены. Например, в 4-м классе было четыре экзамена (устные и письменные по русскому и математике), в 7-м — семь, в 10-м — одиннадцать. Конечно, это многовато. Но вместо уменьшения их числа реформаторский зуд Хрущева привел в 1954 году к отмене экзаменов в промежуточных классах. Эту ошибку не исправили ни при Брежнев, ни при Андропове. Кривая успеваемости в школах, естественно, пошла вниз. Экзамены мобилизуют детей, поднимают их ответственность в учебе, вынуждают повторять пройденное за год и служат заменой внутренней дисциплины и чувства ответственности тем, у кого их нет. Сегодня мы вкушаем плоды очередной «подрывной акции мирового империализма» — Болонскую систему образования с ЕГЭ в школах и двухступенчатым образованием в вузах.

* * *

Ученики ходили в школу с портфелями, но высшим шиком были кожаные полевые офицерские сумки. Носили их счастливчики, чьи отцы-офицеры вернулись живыми с войны. Остальные поклонники «милитаристского» стиля, включая меня, носили аналогичные сумки из кирзы, которые были в свободной продаже. Во второй половине 1950-х, в хрущевское «пацифистское» время, мода на все военное стала проходить и с подобными сумками уже не ходили. Тем не менее вспоминаю я о них с доброй улыбкой. Во-первых, они освобождали руки, что было исключительно важно в драках. Во-вторых, имея солидную массу (включе с учебниками) и длинный ремень, сами служили грозным оружием.

Сравнивая «милитаризм» сталинской эпохи и «пацифизм» хрущевской, делаю выбор в пользу первого. Мне нравится, что после войны все дети и подростки были заражены спортивным азартом, который подогревался сдачей нормативов БГТО («Будь готов к труду и обороне») для детей и подростков и ГТО («Готов к труду и обороне») для допризывников. Тем, кто сдавал нормативы, вручали нагрудные значки соответствующей ступени. При Хрущеве все это отменили. Восстановили уже в брежневское время, но былая популярность не вернулась.

В сталинское время работники многих отраслей народного хозяйства (о силовых органах речь не идет) имели воинские звания и были



обязаны носить форму. Даже тетушка Вера, работавшая плановиком на речном флоте, ходила в темно-синем платье с латунными пуговицами с якорями и с погонами старшего лейтенанта. Звания и сама военная форма подтягивали людей, делали их более ответственными и дисциплинированными. Служба в армии считалась делом почетным. Многие родители рассчитывали, что армия направит их непутевых детей на путь истинный. Авторитет армии подорвал Хрущев бездумным массовым сокращением. Насмотревшись на выброшенных за борт жизни офицеров, народ перестал относиться к ним как к особой касте. Офицеры стали стесняться ходить в форме в театры или кино. Именно тогда началось поветрие «косить от армии».

* * *

В 7-м классе у нас появился новый ученик Лапов — личность нам заочно уже известная. Он принадлежал к одной из существовавших тогда «блатных» молодежных группировок — Садовской (по имени сада Сталина, ныне Центрального парка, где они тусовались). У каждой группировки, доходящей до 30—40 человек, был свой главарь, а основными занятиями являлись безнаказанное избиение сверстников, мелкие грабежи, попойки и прочее в том же духе. В общем, школа юных уголовников. Лапов был не главарь, но, как говорится, «особа приближенная».

И вот он является в наш класс посреди четверти — маленького роста, щуплый, физиономия круглая с веснушками, уши оттопыренные, нос пяточком, глаза зеленовато-наглые. Через несколько дней вся мужская часть класса была в его руках. Одни им восторгались, некоторые прислуживали, большинство держалось в сторонке, но никто ему не перечил. ореол человека, за которого могут не только избить, но и убить («сунуть перо в бок»), Лапов поддерживал не только рассказами. Например, однажды он при всем классе отлупил физически куда более крепкого Сашку К. только за то, что тот не подсказывал Лапову во время его ответа у доски.

«Раздел» этого «короля» Валерка Левашов, приемный сын известного композитора, учившийся на год старше нас. Из-за какой-то мелочи Лапов набросился на Левашова в коридоре школы, но совершенно неожиданно получил по морде. Все решили, что песенка Левашова спета, тем более что Лапов это очень громко пообещал. В тот же вечер он пригласил весь класс в свидетели того, как будут расправляться с обидчиком. Трое-четверо из его почитателей согласились и потом рассказали, что на предложение Лапова «выйти поговорить» Валерка послал его подальше и дверь больше не открывал. Никакого возмездия за такую непочтительность не последовало.

Авторитет Лапова стал стремительно падать, а потом, не доучившись, исчез из нашего класса и он сам. Все это походило бы на веселую сказку Чуковского «Тараканище», если бы у многих из нас не осталось горького осадка от собственного малодушия и завистливого уважения к «настоящей» личности.

* * *

В начале 8-го класса нас принимали в комсомол. Вызывают по алфавиту. Вхожу в кабинет директора. За огромным столом в центре комнаты царственно восседает директор, у боковых стен на стульях робко жмутся члены комитета комсомола. Успешно отвечаю на все вопросы, включая сакраментальный «Для чего ты вступаешь в комсомол?». После чего вопрос обо мне ставится на голосование. И тут директор говорит своим громовым голосом (этого голоса в школе боялись даже учителя):

— А я думаю, ему рано вступать в комсомол! Он не хочет рисовать в школьной газете.

— Но, Михаил Терентьевич, я ведь учусь в музыкальной школе (по классу скрипки. — В. Г.) и в школьных концертах всегда участвую!

— Ничего, тебя хватит и на то, и на другое.

В общем, не приняли. Обидно было до слез. Выхожу из кабинета, «болельщики» спрашивают, как дела, а у меня комок застрял в горле. Дело было не в самом звании комсомольца, а в возрастном пороге, который отделял комсомол от пионерии и который я, единственный из всего класса, не преодолел, хотя по успеваемости был одним из лучших. Позже директор неоднократно спрашивал, почему не вступаю в комсомол, на что я неизменно отвечал: «Рано мне, Михаил Терентьевич, не дорос еще». Так и обошелся комсомол без меня.

В КПСС я тоже не вступил, хотя в свое время были настоятельные предложения с намеком на служебный статус. Передо мной был наглядный пример мамы, коммуниста «сталинского призыва», для которой слова «Раньше думай о Родине, а потом о себе» были не пустыми звуками. Поэтому в 25 лет я считал, что не дорос до партии, а в 35, насмотревшись на «коммунистов» 1970-х, уже считал, что партия не доросла до меня.

* * *

Из школьных предметов самыми любимыми для меня были математика и география, а не любил я больше всего литературу. Проблема в патологически слабой памяти. Выучить стихотворение для меня было сущей мукой, а потом я его мгновенно забывал. В старших классах самым противным было написание сочинений. Во-первых, требовался план с «раскрытием образов» героев, а во-вторых — обязательные цитаты как аргументы для «раскрытия». Творческий, по сути, процесс загонялся в шаблон. Это было всеобщей практикой. Такие методы у многих школьников на долгие годы (а у иных навсегда) отбивали охоту к литературе. И если я впоследствии читал и перечитывал Пушкина, Гоголя, Достоевского, Лескова и других русских классиков, то не благодаря, а вопреки школьным урокам литературы. Чехова же я много читал еще в школьные годы без всякой связи с учебной программой. При этом, как это ни парадоксально, слабая память не мешала мне без особого труда запоминать исторические даты. А неумение «раскрыть образы» мне потом аукнулось при поступлении в вуз.



Осенью 1954 года наш класс распался на две части — было введено смешанное обучение. Появилась даже ставшая популярной детская песня: «Мальчишки, девчонки, мальчишки, девчонки! // Мы учимся вместе, друзья. // Всегда у нас весело в классе. // Да здравствует дружба, ура!» Насчет веселья не скажу, но успеваемость сразу пошла вниз по причине повышенного взаимного внимания мужской и женской половин.

Шут бы с ней, с этой реформой, но зачем было делать смешанные отряды в пионерских лагерях? После 2-го курса в каникулы я работал пионервожатым в лагере Новосибирского аэропорта. На третий сезон желающих получить путевку было немного, и потому в лагерь брали подростков 15—17 лет, вышедших из пионерского возраста. Начальница лагеря направила меня в 1-й, самый старший отряд. В помещении отряда женская и мужская половины были разделены занавеской из простыней, поэтому главная наша с педагогом задача заключалась в том, чтобы после отбоя не допускать проникновения мужской части в женскую, а днем — шмыгать по кустам и выслеживать уединившиеся пары. По современным понятиям, эти уединения были совершенно целомудренными, но ведь чем черт не шутит.

Вообще в те годы школьных «романов» практически не было. Мальчишкам нравились какие-то девочки, но симпатии обычно ограничивались только особым к ним вниманием. Мои, и не только мои, настоящие свидания начались в студенческие годы.

Во время летних каникул после 8-го класса мы поехали в «трудовой лагерь» в колхоз имени Сталина (село Березовка близ станции Шелковичиха). Нам выделили дом на краю села, на берегу живописной реки Иня. С утра мы четыре часа работали на прополке овощей, а за это нас бесплатно кормили. Работа для непривычных к сельскому труду горожан была тяжелой, все время согнувшись, при этом каждый из нас едва ли выполнял и четверть трудодня. Но мы так и не прониклись уважением к крестьянскому труду. Вообще к крестьянству мы относились по-городскому спесиво и по-большевистски враждебно, как к мелкобуржуазному классу. Слово «крестьянин» в городе было синонимом прижимистого человека, а «колхозник» — кличкой дремучего невежды. Лишь спустя годы я осознал, что сделал русский крестьянин для России и сколь многим она ему обязана.

В числе наших развлечений тем летом были вечерние заплывы через реку с соревновательным уклоном: кто большее число раз переплывет. Зрителями-то были девчонки. Я плавал неплохо и вместе с самыми крепкими ребятами переплывал Иню по 10—12 раз в обе стороны без остановок. Однажды с нами в заплыв отправился Сережа Алалыкин, парнишка физически очень слабый. На третьем или четвертом этапе на самой середине реки он начал пускать пузыри. Мы с кем-то вдвоем подхватили его под мышки и поплыли с ним к берегу. Там больше всех суетился наш вечный общественник, душевный человек Женя К.



из параллельного класса. Он командовал нам: «К берегу, к берегу!», но сам в воду не заходил.

Однажды я крепко пострадал из-за прекрасного пола. Было это летом 1955 года, когда мне было около 14 лет. Мой брат Игорь, будучи студентом, заработал на мотоцикл и всегда приезжал на нем домой в летние каникулы, что при почти полном отсутствии дорог требовало немалой смелости. В один из таких приездов он решил научить меня водить мотоцикл. Для учебы мы выбрали гравийное шоссе в сторону обкомовских дач (ныне Дачное шоссе). В те годы машин на нем почти не было. За час занятий я уже изрядно освоился и, как мне казалось, сидел за рулем уверенно. На каком-то отрезке пути у меня с головы ветром сдуло кепку, и я развернулся, чтобы ее подобрать. Навстречу по обочине шли несколько девчонок примерно моего возраста. Поэтому вместо того, чтобы остановиться, я решил блеснуть мастерством и поднять кепку на ходу. Не буду описывать подробности, приведу результат: я вылетел из седла, проехал несколько метров вниз лбом по гравию, на котором оставил крупный лоскут своей кожи...

* * *

На выпускном школьном экзамене по истории мне попался вопрос «Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны». Отвечаю уверенно и обстоятельно. Просят назвать фамилии партизанских деятелей. Называю Зою Космодемьянскую, молодогвардейцев, Ковпака, Медведева и т. д. Просят еще. Вспоминаю менее известных. Учителя с сожалением качают головой и ставят четверку. Оказалось, не назвал самого главного партизана того времени — Хрущева.

* * *

Одной из непоправимых глупостей в моей жизни было курение, к которому я пристрастился в неполные 16 лет. Что курить вредно, знали все. Несмотря на это, табачные изделия в стране широко рекламировались. Кроме открытой рекламы («На сигареты я не сетую, сам курю и вам советую»), была и скрытая, но более действенная. Все положительные герои советских фильмов были с душой нараспашку и с неизменной папироской в зубах, а отрицательные — наоборот (берегли, мерзавцы, свое здоровье). В «Весне на Заречной улице» герой Николая Рыбникова приходит к учительнице и, не спрашивая разрешения у хозяйки, начинает дымить папиросой. В «Небесном тихоходе» трое героев-летчиков приходят в гости к девушкам с папиросками, поют лихую песню, после чего эффектно бросают папиросы на пол. Подобные сюжеты неотразимо действовали на неокрепшее подростковое сознание.

Школьникам в те годы курить запрещалось в принципе. Мы прятались от родителей, учителей и просто взрослых знакомых. Как-то в 10-м классе по пути из школы домой я закурил и, издали увидев идущую навстречу учительницу литературы Л. С. Вдовину, спрятал папироску в рукав. Лидия Сергеевна, человек ядовито-ироничный и немногословный, остановила меня и вдруг завела долгий разговор,



уже не помню о чем. В завершение она ехидно спросила: «Ну что, рукав еще не прожег?»

В СССР курило большинство мужчин, но к курящим женщинам в обществе относились с осуждением. Курили в поездах, в купе вагона, в самолетах и в других общественных местах. Например, в зале Центрального аэровокзала в Москве сбоку каждого дивана для пассажиров стояли пепельницы. В ресторанах вообще стоял дым коромыслом, а уж курительные комнаты были в любом учреждении. Права курильщиков постепенно и разумно ограничивали, но в 2010-е годы, как у нас водится, перегнули палку и превратили курильщиков чуть ли не во врагов народа.

* * *

В 1950-е годы в зале Окружного дома офицеров по воскресеньям устраивали камерные концерты. Приезжали на гастроли знаменитые музыканты — скрипачи, пианисты, виолончелисты. Для учащихся музыкальных школ, к коим относился и я, концерты были почти бесплатными (по очень дешевым абонементам), но посещать их было нужно чуть ли не в обязательном порядке. На одном из концертов исполнялась такая немusикальная музыка (кого-то из современных композиторов), что меня потянуло в сон. Зевать с открытым ртом было неприлично, пришлось зевать с закрытым. А при таком способе зевания, как известно, на глазах выступают слезы. По соседству со мной сидел еще более юный музыкант со своей мамой, которому музыка нравилась еще меньше и которого мама громким шепотом увещевала, указывая на мои слезы: «Видишь, как мальчик умеет слушать, как он переживает. Ты должен так же научиться понимать музыку!»

Говорят, что песни молодости хороши только потому, что сам был молод. Это верно лишь отчасти. Песни моей юности мне нравятся куда меньше песен моего военного и послевоенного детства и песен 1930-х годов. Во всяком случае, как в юности, так и теперь терпеть не могу расплодившиеся с конца 1950-х, т. е. с хрущевской оттепели, шлягеры типа «Мишка», «Ландыши», «Мой Вася», «Черный кот» и т. д., которые чуть не ежедневно звучали по радио, сделались популярными и резко снизили музыкальные вкусы общества. Хотя все познается в сравнении. На фоне современной «попсы» эти песни можно считать произведениями большого искусства.

* * *

С конца 1940-х в газетах и по радио нагнеталась обстановка угрозы третьей мировой войны. Угроза была обоснованна — американцы, до 1949 года монополюсн владея атомной бомбой и имея сверхдальние бомбардировщики, наметили в СССР в качестве цели первые 20 городов, включая Новосибирск. В связи с этим появились замечательно красивые песни «Марш демократической молодежи», «В защиту мира», «Мы за мир» и др. Однако то, что звучало искренне в сталинскую эпоху, стало по-казенному фальшивым в 1960—1980-е годы. Люди все меньше



верили тому, что говорит власть, и на «антиимпериалистические» митинги ходили только под давлением начальства. Властям же требовалось нагнетать обстановку внешней угрозы (то неофашизм в Германии, то экспансионизм Китая, то агрессивность США). Надо было как-то объяснить, почему спустя 20, 30, 40 лет после войны страна продолжает жить бедно. Поэтому в массовое сознание советских людей внедрялась идея: лишь бы не было войны, все остальное вытерпим. Сегодня мы все убедились, что и экспансионизм Китая, и агрессивность США — вещи реальные. Однако пропаганда в СССР велась столь топорно, что ей вряд ли верили сами пропагандисты.

Окончание в следующем номере.



Андрей РУДАЛЁВ

ОСОБЫЙ СЧЕТ ВИКТОРА АСТАФЬЕВА

В последнее время имя писателя Виктора Астафьева в основном ассоциируется с цитатами, которые широко распространяются в интернете, например, перед Днем Победы. Этакое лыко в строку всем тем, кто любит твердить о «победобесии». Многих тянет процитировать жесткие высказывания Астафьева о войне, цене победы, о патриотизме — этаким убийственным аргумент. Кто будет спорить с писателем-фронтовиком, почвенником?

«Те, кто врет о войне прошлой, приближают войну будущую. Ничего грязнее, жестче, кровавее, натуралистичнее прошедшей войны на свете не было. Надо не героическую войну показывать, а пугать, ведь война отвратительна. Надо постоянно напоминать о ней людям, чтобы не забывали. Носом, как котят слепых тыкать в нагаженное место, в кровь, в гной, в слезы, иначе ничего от нашего брата не добьешься» — все эти астафьевские слова звучат как безусловный моральный приговор. За ним идет следующая ступень в виде вопроса-утверждения: что вы все носитесь со своей Победой?!

Впрочем, война — не только кровь и смерть, она не только низменное в человеке раскрывает, но и возвышенное, а также преобразует нацию. Но если все про гной твердить, то будет ли полученная картина правдивой или перекошенной на одну сторону?

Так же и с правдой. В перестроечной риторике требовали правду абсолютную, всю и без остатка. Получалось, что подобная «правда» скапывалась, например, в отождествление коммунизма с фашизмом. Вот и у Астафьева «правда»: впереди немцы, а позади заградотряд, а в этих тисках простые мужики, которые должны форсировать реку.

Перестроечные витии утверждали догматы своей «правды», которая как раз и сводилась к утверждению, что в стране свирепствовал самый настоящий фашизм. Что СССР в равной с Германией (а то и в большей, чем Германия) степени виновен в развязывании Второй мировой войны. Эта «правда» до сих пор бьет нас, дезориентирует, особенно ее проявления стали очевидны после начала СВО на Украине.

В годы советской перестройки утверждался императив абсолютной правды, отрицание частичной правды или правды полутонув. Делалось это якобы ради очищения общества. Все это открывало большие

возможности для допущений и спекуляций. Правдоискательство приобрело формат навязчивого копания — до основания, когда открывается черная яма пустоты и нигилизма.

Советское правдоискательство трансформировалось в максимализм. Страна, победившая фашизм и ставшая одним из двух главных центров силы в мире, воспринимала себя близкой к этическому идеалу. Но это приводило не к насаждению своей картины мира, как это делал Запад, навязывая собственное восприятие демократии, а к сверхтребовательности к себе. К долженствованию соответствия самой высокой планке.

Несоответствие реальности этому образу влекло к самоедству, крайностям самоуничужения и самоотрицания. А тут еще и реальность сложнейшего века отечественной истории — периода смут и трагедий, необычайных взлетов и потерь. Как объяснить его, не впадая в соблазн легких решений и кажущихся универсальными формул?..

«Постепенно нарастало “разочарование” в том, чем жили и во что верили; оно было неизбежным, ибо “совершенное общество”, которое вроде бы должно было создаться после Революции, — утопия», — писал отечественный мыслитель Вадим Кожин.

Логика его рассуждений была следующая: Победа «оправдывала» Революцию. Дальнейшее «разочарование» в плодах Революции для большинства людей означало «разочарование» в самом своем Отечестве». Все потому, что оценки производились с использованием критериев совершенного общества, с позиций максимализма — с ориентацией на подобие Царствия Божьего на земле. А если оно не получилось, если оно нереализуемо в принципе, то зачем тогда все?..

Советские люди, горящие этическим максимализмом, легко попадали на этот путь, который подводил их к заранее подготовленным ответам. В перестройку и пошло это ускоренное переформатирование в рамках новой идеологической доктрины в русле самоумаления и принятия всех грехов мира на себя.

* * *

Перестройка — стихия обольщения. Это история соблазнов и введения в искушение.

Так, писатель Владимир Личутин говорил, что перестроечный азарт общества — «желание воли, напоминающее опой и безумие». Тогда архитекторы перестройки, отмечал писатель, принялись «варить смуту», производить «умело созданный хаос», устраивать «ловушку» для русского народа.

Лукавые начинали «величить грешное, но стаптывать под ноги, предавая иронической ухмылке, все заповедное, чем крепилась Русь в веках, и, будто в насмешку, призывать народ к покаянию». Люди же «отравлялись мстительным бредом» и сходили с ума. Обычный сценарий раскола, который производился «по старым проверенным лекалам»: «...терзают русскую душу неопределенностью, уверяют, что больше так жить нельзя...»





Тот же Личутин отмечал, что все расколы в России затевали верхи, соблазняя этим простого человека, который «своей неизживаемой смутной мечтой о Беловодье (земном рае) невольно потакал смутителям, попускал перемены в стране».

Такое ощущение, что Виктор Астафьев завяз, так и не выбрался из тех самых перестроечных топей. Он был открыт всей той риторике через нравственно-этический максимализм, через правдоискательство, через скепсис по отношению к человеку, которого он разным повидал.

Схожее с Астафьевым мировосприятие было у Федора Абрамова, но он ушел незадолго до перестройки.

«Мы не имеем права замалчивать, упрощать все сложности и трудности нашего исторического пути. Не объясним мы — объяснят другие, только объяснят по-своему. Мы не скажем своим голосом всей правды — скажут другие “голоса”, только скажут по-своему», — рассуждал Абрамов в своем «Слове в ядерный век», написанном в 1981 году.

Ту же перестройку он бы, скорее всего, принял. Она обещала ответить на многие его вопросы, поставленные задолго до нее. Но ответы очень быстро трансформировались в новую идеологию, оправдывающую очередной отечественный раскол.

Федор Абрамов и многие другие писатели-деревенщики как раз являли ту версию созидательной перестройки или преобразования общества, которая вполне могла бы быть реализована. Они вели любовный разговор, исполненный чувством Родины, потому что «только люди с пустой душой теряют сыновнее чувство Родины». Так и произошло в перестройку, когда вскрылась и проявилась эта пустота.

Предупреждал Абрамов и о том, во что превратится «нравственный максимализм» русского человека вкуче со спешкой реализации его идеалов: в «стремление во что бы то ни стало разрешить, и разрешить немедленно, сию минуту, все “проклятые” и вечные вопросы человечества». Подобным зудом и стремлением к максимальному ускорению процессов вскрытия «правды» во многом и характеризуются перестроечные годы. Считалось, что любое промедление предательству подобно, а торможение — главный враг перестройки, одним из лозунгов которой было «ускорение».

«Мой соплеменник — и вечный странник, искатель, и несправимый идеалист, и интернационалист, носитель идеи всемирного братства», — утверждал Федор Абрамов в одном из интервью. Все эти запросы и обещала удовлетворить перестройка, а также через новое мышление устроить всемирное братство. Так она соблазняла.

Люди, влекомые души прекрасными порывами, видели в существующей реальности несоответствие идеалу. Подключался максимализм, и начинали говорить об ошибке, эксперименте, о повороте не туда, за которым скрывалось чудовищное. Так в советскую перестройку благими намерениями была вымощена дорога к разрушению и нигилизму.

Самый цитируемый сейчас свой роман «Прокляты и убиты» Виктор Астафьев писал в начале 90-х, он так и не был завершен. Но практически сразу получил премию «Триумф», а в 1995 году и Государственную премию. После и сам писатель заявил, что прекратил работу над книгой. Сейчас она наиболее известное произведение писателя и к тому же на слуху — в силу идеологической наполненности.

Это, по сути, сумма перестроечной идеологии и «знаний» о России, ее истории. Человек, работающий над этой книгой, не мог не подписать в октябре 1993 года печально знаменитое обращение творческой интеллигенции к согражданам, получившее название «Раздавите гадину!».

Перестроечная идеология сформировала особую оптику, через которую Россия, в особенности в советский период ее истории, воспринималась средоточием греха и порока. Действовал императив скорого и безусловного очищения и исправления, причем любой ценой. А тут такое препятствие на пути молодой демократии к светлому и чистому. Именно что «гадина». Потому подпись Астафьева и фигурирует под воззванием современной инквизиции, новым «Молотом ведьм».

«Хватит говорить... Пора научиться действовать. Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли ее продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с радостным удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии», — говорилось в том воззвании за подписями 42 деятелей культуры, в основном либерального толка.

Эхо расстрельных списков 30-х с тем же образом «гадины», с тем же максимализмом и жадой исправить несовершенный и погрязший в грехах мир? Очень похоже. Девяностые вообще рифмуются с тридцатыми. И понять ту же репрессивную логику можно в сравнении.

Их роднит страсть к ускоренному преобразению, изменению общества, избавлению его от ветхих риз старого.

То воззвание-манифест фиксировало систему, при которой формировалось постсоветское культурное пространство. Главенствующее положение занял принцип социальной сегрегации и монополизма. Культура стала достоянием элиты, хозяев, посвященных, противопоставивших себя остальному народу. Его представителей иногда подпускали, чтобы заполнить квоту «голоса низов», производя их полное переформатирование. В том послании подпись Астафьева как раз и была необходима для демонстрации этого «голоса».

В 1995 году в интервью «Литературной газете» Виктор Астафьев говорил о прививке «противоестественного» России в виде революции. Она, по его словам, принесла «порчу». Это из ведьминского арсенала. Ведьм — с уточнением: «красно-коричневые оборотни» — вспоминали в том октябрьском послании.

«Мы даже не понимали, какой порче подверглись», — отмечал писатель. Порчей воспринимался весь советский период отечественной истории, который трактовался через образ «могильной плиты». Чтобы ее преодолеть, необходимо восстановить «привычку к прежней жизни,





какое-то согласие с ней». И, безусловно, разобраться с «ведьмами» и их происками.

Мысль об этой порче проявляется и в романе «Прокляты и убиты», где разворачивается подобие старообрядческой логики о царстве Антихриста. В канун Рождества «многие из ребят... не знали, что близится великий праздник, потому как приступила, притиснула к холодной стене их безбожная сила и порча, были они еще в младенчестве согнаны со двора в какую-то бессмысленную, злую круговерть».

Отсюда и нагнетание ощущения тотальной ошибки или царящей неправильности. Война в таком контексте мыслится ее логическим следствием, неизбежной карой. Она — стихия падения и гниения. Человек, попадающий на нее, будто «вляпался руками в разложившийся труп».

Наши знания о войне — ложны. «Об этой войне столько наврали, так запутали все с нею связанное, что, в конце концов, война сочиненная затмила войну истинную», — отмечал писатель в книге «Прокляты и убиты».

Это важно зафиксировать. Напомним, Вадим Кожинов как раз писал, что Победа стала оправданием Революции. Поэтому и производится переоценка Победы, постепенно меняется наше представление о ней, чтобы окончательно низвергнуть и Революцию.

В романе символ России — осиповское хлебное поле: «...разоренное, убитое, — как оно похоже сейчас на смутой охваченную отчизну свою, захиревшую от революционных бурь, от преобразований, от братоубийства, от холостого разума самоуверенных вождей, так и не выростивших ни идейного, ни хлебного зерна, потому как на крови, на слезах ничего не растет — хлебу нужны незапятнанные руки, любовно ухоженная земля, чистый снег, чистый дождь, чистая Божья молитва, даже слеза чистая». Реальность несовершенна, ошибочна, что с ней церемониться?

По этим же причинам Астафьев высоко ценил «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, про который говорил, что это «не только огромное произведение, но и обвинительный приговор жестокому времени и насилию. И нам тоже. Своим терпением мы потрафляли насилию». Работу Солженицына называл «путеводной звездой». И, конечно, в своих обличениях в полной мере ориентировался на опыт Александра Исаевича.

* * *

В самый разгар президентской кампании 1996 года, когда стране предлагали вновь выбрать практически недееспособного Бориса Ельцина — в противном случае сулились многие беды и несчастья, — в одной из самых популярных телепередач того времени «Час Пик» было показано интервью с Виктором Астафьевым. Его журналист представил «русским писателем». Тогда подобная атрибуция автоматически ассоциировалась с красно-коричневым, маргинальным, но для Астафьева было сделано исключение. В той ситуации он был нужен именно в качестве русского писателя. Голос низов, говорящий нелюбезным тем самым низам.

В интервью Виктор Петрович говорил, что не знает более «мерзкого действия», чем война. Отмечал, что Господь наказывает войной. Утверждал, что «мы больны очень давно», и надежды на возрождение России связывал со старообрядчеством.

Журналист спрашивал писателя, как могут люди, прошедшие войну, теперь собираться под красными знаменами? Ответ состоял в том, что они «гнулись всю жизнь» и раболепствовали. Писатель развивал свою мысль, будто бы народ сам виноват во всех бедах, будучи соучастником, а также развращенным за годы советской власти. Употреблял слово «народишко». Говорил про необходимость покаяния и розог.

Но самым удивительным было то, что писатель, говоря сколько народа бедствует, настаивал на цифре в пять-шесть процентов. И это в 1996 году, писатель из российской глубинки... Казалось бы, как такое могло быть, но вот могло. Цифру эту свою защищал и отмечал, что не больше, а все остальное — коммунистическая пропаганда.

Конечно, все это вписывалось в общий контекст не только пиар-кампании Бориса Ельцина, но и идеологии того времени. Деятели культуры, допущенные к широкой аудитории, делали все возможное, чтобы не омрачать завоевания молодой демократии. Отсюда и весьма специфическая арифметика, которая озвучивалась устами «русского писателя». Тогда писатели еще имели достаточно большой вес в обществе. Но, в том числе через подобную арифметику и речи, они его расстрачивали, обнуляли.

* * *

«Сила ненавидящего слова так велика...» А это уже из адресованного Виктору Петровичу письма Натана Эйдельмана, который выделял «расистские строки» в астафьевских произведениях. Инициатор знаменитой переписки, состоявшейся на заре перестройки, в 1986 году, отмечал, что «крупница правды, использованная для ложной цели, в ложном контексте, — это уже неправда и, может быть, худшая».

Не исключено, что эхо той переписки отразилось на астафьевской мотивации поддержать в октябре 1993 выступление либеральной интеллигенции.

Невозможно представить среди подписантов пресловутого «Письма сорока двух» Юрия Бондарева, Александра Проханова, Владимира Личутина, Валентина Распутина, Василия Белова. Все они оказались на другой стороне, объявленной маргинальной.

У Виктора Петровича — развитие собственной оптики, плюс чувство вины за те упреки, попытка легитимизации, чтобы не быть записанным в стан красно-коричневых? А ведь переписка с Эйдельманом до сих пор ассоциируется с именем писателя, и эта ассоциация одна из прочных. Напомним, Натан Эйдельман в одном из своих писем, упрекая Астафьева, говорил о «логике “Майн Кампф” о наследственном национальном грехе». Не исключено, что те упреки, вкупе с перестроечным оболщанием, подвели писателя к тому, что у него



подобие старообрядческого максимализма слилось с либеральными идеологическими конструкциями.

Критик Алексей Колобродов в статье к 95-летию Астафьева писал: «Мизантропия и провела Виктора Петровича через последнее его, столь роковое для страны десятилетие, и с тогдашней властью породила писателя не только ненависть к советскому периоду (не устроившему Астафьева именно своим прогрессизмом и гуманизмом), но и общая презрительная настороженность к людям».

Эта мизантропия проявлялась еще и в духе старообрядческого неистовства уже в ранней повести «Стародуб» (1960 год), с позиционированием инаковости, чуждости социуму, миру людей, деревне.

В повести он рассуждал о бескрылости человека, о необходимости изменений «в миру у людей».

Речь шла о противостоянии, непонимании природного человека и социума. Одиночки и толпы, «задавленной голодом, озлобленной суеверным страхом».

«Сдвигается толпа вокруг охотника, точно лес в ненастье. Полегоньку, будто бы ненароком, еще трусовато, но смелея от страха, подталкивают кержаки охотника к краю могилы. Бабы с особым усердием крестятся. Расширяются глаза у людей. От бешенства кривятся, бледнеют губы. На тупых, испитых лицах судорога. Да и нет уже лиц, есть маска, как бы высеченная из камня. И в складках этой маски тысячелетняя боль, смешанная со страхом и злобой», — писал Астафьев в повести. Не исключено, что именно этот образ мог вспомниться автору «Печального детектива» во время подписания октябрьского воззвания.

Есть у Астафьева рассуждения о вырождении человека и в повести «Перевал». Ответы на все эти вопросы давались в идеологической системе перестройки, утвердившей постулат об убывании генетического потенциала нации, об уничтожении души народа. Виновна в этом якобы советская идеология и безбожная власть, которая сделала ставку на «жажду новых открытий, богатств. И все по трупам, все по крови!» Плата за стремление к свободе, к «просвещенному разуму» известна — миллионы жизней. Вот и получается, что «в крови по шею стоит человек, глазом не моргнет» («Пастух и пастушка»). И это касается не только германского солдата, пришедшего в снега России, но и человеческой природы вообще, прогресса.

Впрочем, бумеранг человеческого дальше летит к отечественному, которому предъявляется особый счет.

«Ницше и Достоевский почти достали до гнилой утробы человечешки, до того места, где преет, зреет, набирается вони и отращивает клыки спрятавшийся под покровом тонкой человеческой кожи и модных одежд самый жуткий, сам себя пожирающий зверь. А на Руси Великой зверь в человеческом облике бывает не просто зверем, но звериной, и рождается он чаще всего покорностью, безответственностью, безалаберностью, желанием избранных, точнее, самих себя зачисливших в избранные, жить лучше, сытей ближних своих, выделиться среди них, выщелкнуться, но чаще всего — жить, будто вниз по речке плыть» — известные

рассуждения Виктора Петровича из «Печального детектива» — книги, раскрывающей этот тезис на примерах и писавшейся в годы, непосредственно предшествующие советской перестройке (1982—1985).

Схожие мысли есть и в романе «Прокляты и убиты»: «В героической советской стране передовые идеи и машины всегда ценились дороже человеческой жизни».

В предперестроечном «Печальном детективе» представлено буйство внутреннего зверя, который все сильнее прорывается наружу, через вырождение человеческой природы. Этому противостоит современный Дон Кихот — милиционер с тягой к творческому Леонид Сошнин. Но его уже подпирают — как в «Стародубе» подталкивают охотника к могильной яме — и с другой стороны: «Новая эра жизни надвигается!» В романе эту эру провозглашает Володя Горячев — баловень судьбы, большой человек при больших должностях, рассуждающий: «Мы не ворует, мы экономим».

Пройдет совсем немного времени, и все увидят, что главными субъектами этой новой эры как раз и станут зверь и жулик. При помощи либеральной интеллигенции они оградятся от таких, как Сошнин, тем же манифестом «Раздавите гадину!».

Это новое время раздавило и Виктора Петровича. Сначала он что-то повторял за ним, полагая, что именно так болезненно и пробивается правда. А затем... ушел в подобие внутреннего старообрядческого скита.

Если бы была необходимость в формуле, которая объясняла бы его метания, то вполне годится фраза из повести «Звездопад»: «Я люблю родную страну свою, хоть и не умею сказать об этом...»

Он, на самом деле, не умел сказать именно об этом, поэтому часто говорил о чем-то другом, серчал, гневался, путался и заблуждался, но любил. Эта любовь и формировала его особый счет, который он предъявлял людям, своей стране.



СЕРГЕЙ НОСОВ: «ДАРИТЬ КНИГИ УЖЕ НЕЛОВКО!»

Интервью

В прошлом октябре «Сибирские огни» провели Восьмое региональное совещание авторов Сибири и Дальнего Востока. Одним из наставников семинара стал известный питерский писатель Сергей Носов. В его оценках сочетались неподдельный интерес к молодым прозаикам, деликатность и чувство юмора. В интервью нашему журналу Сергей Анатольевич рассказал о впечатлениях от текстов семинара, о женщинах в литературе и о профессиональных снах писателя.

— Как вам уровень работ, представленных на семинаре?

— Уровень семинара традиционно неровный. Встречаются и совершенно профессионально написанные интересные тексты, и ученические работы. Другими словами, что-то меня увлекло, а что-то дочитывал по обязанности соруководителя семинара. Отметил несколько имен; встречу произведения этих авторов в печати — непременно ознакомлюсь. Одна из неоконченных вещей, надеюсь, будет дописана — любопытно, что в итоге получится.

— Вы провели семинар вместе с Юрием Козловым. Всем запомнилось, что вы были в роли «добротного следователя». А вообще, на разборах в какой пропорции задействуете кнут и пряник?

— Нет, мы роли не распределяем преднамеренно. Сильно ли хвалить молодого автора, сурово ли ругать — это все спонтанно получается. Но в основном выбираю амплуа если не добротного, то доброжелательного «следователя». В молодости я писал и стихи, и прозу. И однажды дал прочесть свой рассказ товарищу по перу, он был старше меня на семь лет. И он его разнес — совсем не по-дружески! Так мне тогда показалось. Лишь потом оценил, как он мне тогда помог — по-настоящему. Добрейший был человек.

— На семинарах учатся анализировать работы коллег. В Новосибирске довелось услышать интересные, не поверхностные суждения?

— Да, конечно. И довольно много. Хорошо, когда точному взгляду на чужие тексты отвечает трезвость самооценки. Такое не всегда происходит. Поэтому и необходим взгляд со стороны. Это, кроме прочего, и вопрос уверенности в себе самом. Начинающему автору важно понять: то, чем он занимается, — это увлечение или нечто большее? Может ли из этого что-нибудь получиться?

— Едва ли не половина участников вашего семинара прозы — действующие журналисты. Как прокомментируете это?

— Да, у работающих в журналистике есть свои навыки. Журналист по-своему переживает соблазн авторствования. Некоторые, с высоты своего опыта, считают, что умеют писать — бывает и так, только далеко не всегда. Иногда полезно приструнить в себе журналиста. Все индивидуально.

Обратил внимание вот еще на что: подавляющее большинство молодых прозаиков — женщины. Осенью на мастерской АСПИР в Астрахани наш семинар прозы состоял исключительно из представительниц лучшей половины человечества... если не считать нас — двух руководителей! Неужели, действительно, вторая половина рода людского отстраняется от решения творческих задач, от литературы? Видимо, происходят какие-то тектонические сдвиги в природе творчества. Прежде задавали тон в прозе главным образом мужчины. Но все когда-нибудь заканчивается.

— Кого из писательниц выделяете? Есть Токарева, Рубина, Степнова, Абгарян, Грозная, Ануфриева, Аникина, Богданова, Николаенко, Некрасова...

— Ну, можно и Татьяну Москвину упомянуть, недавно ушедшую из жизни... Но зачем обособлять кого-то по половому признаку? Помню, у нас в магазине на Невском для писательниц отдельные стеллажи выделялись. Ну это ж не баня! Я толерантный читатель. И хорошую прозу только приветствую. Допустим, мне нравится проза моих друзей — Павла Крусанова, например; он же не виноват, что он не женщина.

— Как часто питерские авторы проводят встречи с читателями?

— Прозаики обычно устраивают презентации новых книг — в магазине «Во весь голос», в «Книжной лавке писателей». В целом у меня ощущение, что все постепенно затухает. Есть с чем сравнить. Лет двадцать назад мы постоянно выступали — в Москве, в магазине ОГИ, ездили и в другие города. Писательская жизнь бурлила! И не только у нас. Мой роман перевели на итальянский в 2009-м — меня пригласили на книжный фестиваль в Порденоне. Был поражен масштабом книжного праздника в довольно маленьком городке.

— Подождите, в самом центре Питера — то на Дворцовой площади, то в Манеже — ежегодно проходят крупные книжные ярмарки! Они не такого размаха, как в Италии?



— В 2023 году на питерском книжном салоне (Санкт-Петербургский международный книжный салон. — Ю. Т.) отечественная художественная литература была представлена крайне скудно. Именно художественная. Не говорю о детской литературе, с этим у нас на любом форуме все очень даже неплохо.

А итальянский случай — это принципиально другое. Представляете, несколько дней весь город живет книжным фестивалем! Везде волонтеры, символика, реклама форума, народ с утра стоит в очередях — в ожидании встречи с писателем. Картина почти сюрреалистическая: раннее утро, пустой город — и очереди в ожидании открытия площадок! Книги продаются в огромном шатре на площади — круглосуточно. В общем, происходит что-то немыслимое...

— Что должно произойти в России, чтобы мы наблюдали нечто похожее?

— Не знаю. Что-то произошло с нашими мозгами — и былого интереса к литературе нет; заметьте — к литературе как к форме познания реальности. И это печально. Если люди перестанут читать, изменится их миропонимание, способ мышления. Мы разучимся формулировать мысли. Просто станем другими.

— Так уже сегодня наблюдается оптимизация усилий — когда вместо страницы описания своих чувств ставят один смайлик. Вперед в пещерный век, к наскальной живописи?

— Да-да-да! А стрелки на выход не требуют осмысления, они и так понятны. Жесты и мимика скоро заменят слова...

— И как живет писателю в таком не слишком вербальном пространстве?

— Ну, писатель... А что писатель? Он больше других восприимчив к тотальной глухоноте. Перестанет быть писателем от глагола «писать». Перейдет на общение «иероглифами бытия». Стрелки, ступеньки, человечки, собачки... Комиксы вон все активнее вытесняют художественную литературу.

— Не думаю, что литература сдастся быстро. Поэтому такой вопрос. За каким направлением ближайшее будущее? За короткой прозой или романом, повестью?

— Хороший, ну очень хороший рассказ написать труднее, чем роман. Даже так скажу: у романа меньше шансов не получиться. Кажется, у Кортасара была эта формула: романист побеждает по очкам, а рассказчик — нокаутом. Действительно, каждый раз побеждать нокаутом — очень трудно. У профессионалов бокса нокауты не столь часто встречаются.

Это у Чехова рука была сильная, он на очки вообще не играл. С Борхесом та же история. Мне довольно трудно писать короткую форму.

А еще труднее — драматургию. Если кто-то говорит, что ему было легко написать пьесу, — скорее всего, она вышла слабой. Великие пьесы можно пересчитать по пальцам.

— А вы с какой попытки написали пьесу, поставленную в одном из самых известных российских театров — питерском БДТ?

— Начнем с того, что ее приняли к постановке лет через пятнадцать после того, как она была написана. Но до этого она прозвучала по «Радио России». Режиссер питерской ГТРК Галина Ивановна Дмитренко работала с прекрасными актерами. Сергей Дрейден, Андрей Толубеев... Мне вообще везло с актерами... Ну и вот через пятнадцать лет пьесу прочли в БДТ. И наконец, появился спектакль на сцене.

А самая первая моя пьеса — «Дон Педро», это история про двух пенсионеров... Впрочем, сейчас рассказывать подробно, наверное, не стоит, у нас же с вами интервью! Тоже писал в расчете на радио, а стали активно ставить на сцене, к моему удивлению. В одном из спектаклей, в Москве, играли Алексей Петренко и Альберт Филозов. В другом, питерском, — Михаил Светин и Игорь Дмитриев, потом Александр Демьяненко...

— Ого! А семинары по драматургии вам не доводилось вести?

— Нет, никогда. Давным-давно принимал участие в семинарах и читках «Любимовки». Но когда это было!..

— Вы в Новосибирске не в первый раз. Со многими коллегами по литцеху знакомы?

— Знаю, что здесь живет прозаик, не слишком известный новосибирцам. Пишет под псевдонимом Виктор Стасевич. Он не только писатель, но и крупный ученый, биолог, директор одного из институтов Академии наук... С ним и Павел Крусанов дружит, и Дмитрий Григорьев, поэт, — в общем, целая компания питерских литераторов.

Виктор не слишком тесно соприкасается с местным литературным процессом. При этом он вполне самодостаточный автор. Его издавали в «Лимбусе», к примеру. Мы познакомились в путешествии. Он взял нас с Крусановым в экспедицию в Казахстан. Потом в Горном Алтае с ним побывали, в джунглях Перу. Это были какие-то сумасшедшие поездки...

— Не захотелось остаться в Латинской Америке?

— Мне? Ни в коем случае! Мы встретили в Перу одного россиянина, вот он постоянно там живет, в самой что ни на есть перуанской глуши, — разводит зверушек всяких. Рассказал о первобытных племенах, обитающих рядом. В нашей компании были два энтомолога, вот им всегда найдется, чем в джунглях заняться. А я все это исключительно эмоционально воспринимаю. Деревья шириной с эту комнату, лианы, тарантулы со смертельным укусом — это, конечно, впечатляет. Мадре-де-Дьос — приток Амазонки, сомик из него небольшой нашего товарища за палец укусил, не будучи пираньей какой-нибудь...



— Знаю, в Новосибирске вы выступали на круглом столе, обсуждали принципы иерархичности литературы. Уместно ли сказать, что, к примеру, сегодня в Питере писатель номер один — Водолазкин? Или все-таки Юзефович? Или Попов?

— Я бы не стал расставлять наших современников по местам. Потому что, если им в какой-то степени будет интересна литература, будут смотреть на наше писательское поколение совершенно другими глазами. Мы ведь тоже по-своему воспринимаем литературу 20-х, 30-х годов прошлого века — не так, как первые читатели Есенина и Маяковского. Кто сегодня помнит Павленко? Кто сейчас всерьез считает маргиналами Хармса и Введенского?

Если вернуться к ответу на ваш вопрос, могу сказать: еще лет пятнадцать назад на одной из презентаций книги Юзефовича я назвал его достойным Нобелевской премии по литературе.

— Интересно, что Прилепин поставил на Водолазкина!

— Вполне возможно, что Водолазкин получит свою Нобелевку. Поздравлю коллегу с успехом.

— А вам интересна какая-либо литпремия?

— С некоторых пор меня стали приглашать в разные жюри. И должен сказать, мне не очень нравится оценивать, распределять, кто первый, кто пятый, проставлять баллы.

Хотя прекрасно понимаю, что для автора присуждение премии — это очень важно и приятно. Не для всех, конечно. Помнится, в 1996 году Гандлевский отказался от «Антибукера» и двенадцати тысяч долларов в придачу.

Вообще, премия никак не влияет на уже готовое произведение. Она не делает текст ни лучше, ни хуже. Премия может увеличить продажи книги, это да, какое-то привлечь к ней внимание. Что немаловажно в условиях отсутствия экспертных оценок. Критика как институция практически отсутствует, есть отдельные, и хорошие, критики, но кто их слышит? Вот премиальный процесс и берет на себя функции критики — худо-бедно ориентирует читателя. Он же может фальсифицировать успех. Не членам жюри какой-либо премии, а именно критикам следовало бы говорить: вот это здорово, это — да, а вот это — фу! фу! — нет. С профессиональной аргументацией, разумеется.

— В регионах нередко говорят так: никакой критики у нас давно нет, всем заправляют крупные издательства!

— Когда кто-то чем-то заправляет, критики и быть не может. Требуется реклама, пиар, а не критика. Полагаю, ситуация с ангажированностью рецензий и отзывов сложилась после смерти известного критика Виктора Топорова. Он держал всех в каком-то напряжении. А сейчас и стесняться нечего...

Книги критиков сегодня редкость. Да, есть ностальгия по независимой критике. К сожалению, вместо критических оценок натыкаешься

на отметки по числу звездочек, любой потребитель литературного продукта способен вынести свой вердикт. С потребительской точки зрения литература мало отличается от зубной пасты или формы услуг...

— Как изменить эту ситуацию? Хороших критиков выращивать еще труднее, чем хороших писателей!

— Не знаю. Книга становится проблематичным предметом. Дошло до того, что дарить свою книгу стало как-то неловко. А может, ее куда будет поставить? Не у всех ведь дома есть книжные полки...

— Недавно прошел еще один круглый стол с вашим участием — он был посвящен сложной ситуации с толстыми литературными журналами. В Питере по-прежнему выходят некогда очень популярные «Звезда», «Нева» и «Аврора». Есть ли надежда на высокие тиражи этой периодики?

— Мне кажется, все эти три журнала в одинаково тяжелой ситуации.

— Неужели нигде гонораров не платят? Даже такому крутому писателю, как Сергей Носов?

— Помнится, впервые я напечатался в «Звезде» в 1999 году. За роман в журнальном варианте мне заплатили около 200 долларов по текущему курсу на тот момент. И я записал в дневник, как я разочарован, очень уж мало. Забавно это читать сегодня, когда в журналах, можно сказать, не платят вовсе!

— Тогда лучший способ монетизации литспособностей — это?..

— Какая монетизация? Уж лучше землю копать, трубы красить... Может быть, в Москве другая ситуация — а у нас в Петербурге литературой точно не разбогатеешь.

— Сейчас издать книгу престижнее, чем опубликоваться в журнале. А нередко еще и быстрее! Согласны?

— Насчет престижности не мне судить. Считаю, что публикация в литжурнале стала отчасти бессмысленным делом. Кто сейчас ждет новую интересную прозу в журналах, кто с ней внимательно знакомится?

— То есть вы уже даже не предлагаете свеженаписанное питерским редакциям?

— А я вообще не предлагающий человек! Всегда публиковал то, что у меня просили.

В середине 90-х я увлекся написанием пьес. По наивности относил их завлитам театров, предлагал ознакомиться. Меня не то чтобы не пускали на порог, нет, все встречали весьма доброжелательно. А по факту оказалось, что мои визиты в театр — абсолютно бессмысленная затея. Никакой обратной связи не было.

Был редкий случай с «Новым миром». В 2015 году я отдал им свой роман «Фигурные скобки» — и его тут же напечатали! Мне было неловко:



вполне возможно, в этих двух номерах из-за меня слетели какие-то авторы, с которыми была договоренность, люди ждали, надеялись...

На эти грабли я сам наступал в 1992 году! В «Неве» решили печатать «Красное колесо» Солженицына — а мою прозу выкинули из уже сверстанного номера.

— Вы упомянули, что дружите с Крусановым. А на чем может базироваться дружба литераторов, как вам кажется? У вас схожая система литературных взглядов? Или одни и те же любимые спиртные напитки? Дни рождения по соседству в календаре? Общие прогулочные места в Санкт-Петербурге?

— Да как-то само по себе получается... В начале нулевых мы часто оказывались за одним столиком в галерее «Борей», это на Литейном проспекте — Наль Подольский, Крусанов, Носов, Коровин, Секацкий, Татьяна Москвина... Один хороший художник сказал: «Фундаментально сидите!» Тут же к нам и пристало — «петербургские фундаменталисты». Мы и сами стали осмыслять себя как содружество. И мы стали вместе выступать, проводили круглые столы и конференции. Никто никому не мешал. Оказалось, что наши тексты даже чуть-чуть взаимодействуют между собой. Хороший был альянс, периодически возникали трогательные моменты.

А про наше знакомство с Крусановым можно писать мемуары. Мы были знакомы, но шапочно. И вот однажды, в конце 90-х, я выношу помойное ведро. Гляжу, по набережной Фонтанки, мимо наших помойных баков, идет Крусанов. В прекрасном настроении. «Здравствуй!» — «Здравствуй!» А Павел тогда работал редактором в очень крупном издательстве «Северо-Запад». И вдруг он спрашивает: «Есть что-нибудь для нас?» Я отвечаю: «Да вот роман завершаю!» Рассказал в двух словах, что это как бы на шпионский роман пародия, но с претензией... А Павел тут и говорит: «Отдай нам!» Отчего ж не отдать. Отдал. Через месяц Крусанов позвонил, наговорил кучу теплых слов. Мы встретились, посмотрели друг на друга более внимательно. Роман им тогда не подошел, по профилю отдела, да и ладно. А вскоре у Павла вышла книга, сборник прозы «Отковать траву». Я и не знал, что он так хорошо пишет. Рецензию на его сборник написал даже и, по-моему, точные слова нашел — кстати, это, не дайте соврать, вообще была первая рецензия на Крусанова. Вот так проза нас и сдружила. А тот мой роман вышел гораздо позже — и в другом издательстве...

— Что главное в прозе? Характер главных героев, нетривиальный сюжет, узнаваемый стиль изложения?

— Первая задача — писать убедительно, а иначе все остальные задачи ненужными будут. Писатель отчасти психотерапевт, он должен подчинять внимание читателя. Текст должен быть ярким, по возможности неподражаемым, с авторской интонацией, которую трудно подделать. Авторская индивидуальность должна быть в нем выражена. Чтобы читатель поверил голосу этому, чтобы погрузился в текст с головой.

И не надо вычленять, что главное. В конце концов, в прозе вообще может не быть сюжета! Как у Вагинова, например, в «Козлиной песне». Помню, как меня заворожил этот роман много лет назад, когда я еще и не писал прозу...

Проза, на мой читательский взгляд, должна быть человекоразмерной. Я должен сочувствовать героям книги — вернее, переживать их присутствие, свое сосуществование с ними. Если у автора герои не люди, а функции какие-то, если заметно, что сюжет собран, как LEGO, — увольте, мне хочется про людей.

Известный пример антагонизма: Набоков терпеть не мог Розанова. А мне нравятся и тот, и другой. У каждого читателя свои любимые авторы, всех любить невозможно. Из зарубежных мои — Фолкнер, Камю, Джойс. А вот любимый многими Хемингуэй — почему-то не мой автор.

— Признайтесь, кто впервые вам сказал, что вы — писатель?

— Меня часто спрашивают: «Когда вы почувствовали себя писателем?» Всякий раз отвечаю так: «Когда стал видеть профессиональные сны». Мне стали сниться буквы, они складывались в разные тексты. Я просыпался — и ничего не помнил. Однажды во сне я сложил из букв небольшой рассказ на кухонном столе, подошла жена и все смахнула на пол, думая, что это крошки черного хлеба. Это все мне стало сниться в середине 90-х, после выхода двух книжек рассказов.

Я уже говорил, что начинал со стихов. Однажды попал на конференцию молодых писателей Северо-Запада России. Семинар вели Леонид Агеев, Олег Тарутин. Они-то и сосватали меня в ЛИТО Глеба Семенова, очень хорошего поэта. Недавно двухтомник воспоминаний о нем выходил, есть там и мое эссе.

— А сейчас со стихами дружите?

— Пишу стихи, но редко. Года четыре назад издал первую поэтическую книжку, я до того только в сборниках и антологиях отмечался. Поэт, бросивший писать, — как анонимный алкоголик. Завязал, двадцать лет не пьет, а выпил рюмку — и все понеслось сначала!

Да нет, я не завязывал со стихами. Но в основном прозу пишу. И реже — пьесы.

Беседовал Юрий Татаренко.

Михаил КОСАРЕВ

О КАНОНЕ, КОНТЕКСТЕ И СПИСКЕ ВЕЛИКИХ

Литературный фельетон

Варфоломей Зайцев в XIX веке, в разгар журнальной полемики, вел в «Русском слове» свой знаменитый обзор «Перлы и алмазы русской журналистики». Остроумные гудковцы 1920-х, правда для внутреннего пользования, выпускали стенгазету «Сопли и вопли», куда помещали газетные ляпы и вообще примеры того, как писать нельзя. Это совершенно естественное желание для людей, которые по долгу службы каждый день обязаны «над вымыслом слезами обливаться».

Искренний, непосредственный ляп способен доставить эстетическое удовольствие. Но чаще всего работникам издательского фронта лень создавать подборки и коллекции. Сколько замечательных фраз бескорыстно порадовали меня за долгие годы в профессии, а запомнилась всего одна, за авторством биатлонного комментатора Д. Губерниева: «Бьёрндален — исконный демиург этих мест!»

Однако совсем недавно пришлось наткнуться на текст, из которого и не надо делать выписок. Он целиком представляет собой один большой ляп. Его фактура практически гомогенна и не нарушена ни единым осмысленным выражением. Обнародовал это творение петербургский альманах «Невский проспект». Издание новое, пока мало кому известное. Главная его особенность — огромный объем (45 печатных листов). Чтоб стало понятнее: в одном номере можно целиком поместить «Преступление и наказание», «Отцы и дети» и еще останется немало места порезвиться, например, в разделе «Эссеистика». Такой подход можно только приветствовать, тем более что он подразумевает отсутствие редакторской правки и автор приходит к нам «как есть», без ретуши.

Итак, в № 12 помещена статья (названная в тексте также докладом) сибиряка, барнаульца Ивана Образцова «Социальная диагностика в историческом контексте. О связи творчества Вячеслава Шишкова с направлениями современной прозы». Заглавие, как видим, академическое. С таким можно заявляться на любую филологическую конференцию. Хотя Иван Образцов — не научный работник, а прозаик, поэт, критик, словом, писатель широкого профиля.

Отметим и другое: совсем недавно, в конце 2023 года, отмечалось 150-летие Вячеслава Яковлевича Шишкова. Безусловно, именно юбилей создателя «Угрюм-реки» послужил поводом к написанию вышеназванной работы. Что ж, дело благое, надо помнить своих великих. Вот как это получается у И. Образцова:

Будучи автором и непосредственно понимая те личные авторские мысли и вопросы, которые заложены в моих произведениях, сейчас хотелось бы из соображений литературоведческих и даже литературоцентричных проследить художественную связь некоторых авторских способов письма от конца XIX века до наших дней через ту художественную традицию, к которой, на мой взгляд, относится и творчество Вячеслава Шишкова, и мои прозаические произведения в форме «малый роман». Проследить общие контуры такой связи необходимо, прежде всего, по причине фиксации реалий в современных направлениях русской художественной прозы, которая, пройдя ряд этапов естественного развития, выражает сегодня актуальную картину мира.

Прерывать пассаж не хотелось — до того все в нем замечательно. Но существует все же естественный лимит на цитирование, поэтому просто поверьте на слово: дальше всё так же. Хочется перечитать, протереть очки, еще раз попытаться вникнуть, задать простой вопрос профессора Преображенского: простите, кто на ком стоял?

Нет, вы можете, конечно, найти в сети альманах «Невский проспект». Но тем только усложните свою задачу в несколько раз. Почина ради попробуйте разобраться хотя бы в приведенном выше неполном абзаце. Для начала вам придется закрыть глаза на хрестоматийно корявую конструкцию, выпирающую из первых строк. «Учат в классе это, кажется, в шестом» — вспоминается строчка пародиста Александра Иванова. Кстати, позже в тексте встретится «антогонист». Но ладно, этим пренебречь: дела корректорские... Затем вас напрягут «мысли и вопросы», которые автор вложил в свои произведения и которые он, оказывается, понимает. Видимо, большое достижение для автора. Запомните это и дальше не удивляйтесь. Ничему. «Литературоцентричным соображениям», «авторским способам письма» — даже не пытайтесь предположить, что это такое. Потом вам сообщат, что «в современных направлениях русской художественной прозы» (каждое второе слово лишнее) — произошла загадочная «фиксация реалий», и по этой причине необходимо что-то там проследить.

Боюсь, что даже смысл названия работы «о Шишкове» останется для вас непостижим. Автор, конечно, объясняет:

Диагностика, имея в своей основе аналитический способ выявления симптомов, в случае обращения к социальным вопросам с помощью художественной литературы становится своеобразной формой пророчества. Именно такой способ взаимодействия с массами языка, его диалектными особенностями и потенциальной будущностью литературно-духовного канона характерен в целом для творчества Вячеслава Шишкова...

Но много ли удастся понять? Видимо, с тем, кто умеет взаимодействовать с потенциальной будущностью канона, мы играем в разных лигах.

Кому-то покажется, что Иван Образцов просто увлекся задачей написать «научно». Об этом говорит и наличие «академических»



слов-маркеров: «парадигма», «дискурс», «практики». Еще чаще употребляется канцеляризм «данный». Конечно, нечитабельности это тексту прибавляет. Но от продукции научного конвейера разбираемая нами статья отличается принципиально, до полной противоположности.

Труды узких специалистов-филологов скорее напоминают, используя выражения кота Бегемота, «вереницу плотно упакованных силлогизмов»: все слова на своих местах, употреблены в точных значениях, тезисы, аргументы, выводы находятся в четкой взаимосвязи. А общий смысл теряется. У Образцова же наоборот: множество не столько непонятных, сколько не понятых автором слов на живую нитку соединены в шаткие конструкции, от которых буквально кругом голова, — а смысл-то вполне ясен. Примитивен донельзя, но — ясен, как дважды два. Уже в первом абзаце он заявлен (см. выше) и в дальнейшем повторен не раз: Иван Образцов продолжает собой ряд великих русских писателей. Для начала он сопоставлен с Шишковым. Потом уже и Достоевский с Шолоховым оказываются его собратьями:

Это важное уточнение, которое позволяет провести линию традиции, когда можно выстроить такой обобщающий ряд романов в хронологическую линейку, где «Угрюм-река» соотносится с романами «Братья Карамазовы» Достоевского, «Чураевы» Гребенщикова, «Тихий Дон» Шолохова и «Любавины» Шукшина. В новейшее время такую связь можно обнаружить в произведениях Юрия Мамлеева «Шатуны», «Другой» и Владимира Маканина «Голоса», «Отдушина», «Кавказский пленник», принявших крайнюю форму выражения в «малых романах» автора данной статьи «Краеугольный кирпич», «Нисхождение», «Кенотаф», «Тварь».

Слова могут быть разными, и собственно смысл их действительно неважен. Духовность, социальность, традиция, абстрактно прослеживаемая «связь» — все годится, когда требуется единственное: включить Ивана Образцова в почетный ряд.

Особенный цинизм этой навязчивой саморекламе сообщает то, что сочинена она в виде статьи, приуроченной к дате — дню рождения известного и любимого писателя. Представьте себе следующую картину: на праздновании юбилея уважаемого человека очередь произнести тост доходит наконец до одного из молодых приглашенных. И он говорит: «Дорогой ты наш! Ты такой талантливый! Только я не менее талантливый! А учитывая потенциальную будущность литературно-духовного канона, даже более! Ты никогда не превзойдешь меня по крайней мере в двух вещах — в молодости и невежестве! Я...» Тут терпение присутствующих иссякает, на тостующего наваливаются несколько крепких гостей и уводят в холодную.

А вот бумага терпит.

Подозреваю, что если привлечший наше внимание опус назван еще и докладом, то он был где-то зачитан. Интеллигентная публика сначала не верила своим ушам, потом деликатно отводила глаза от оккупировавшего кафедру автора своих авторских произведений. Да, времена...

И. Образцов не раз упоминал о своем духовном (семинария) образовании. Не знаю, как это принято в современном православии, но мне кажется, что местные иерархи вполне могут наобуянного гордыней эссеиста епитимью. Например, такую: написать двадцать статей о писателях и при этом ни разу не упомянуть себя. Справится? Вряд ли.

Валерий ИВАНЧЕНКО

ГРАНИ ВОЕННОГО ОПЫТА

О книгах Д. Туленкова и Д. Артиса¹

Два автора пошли на войну добровольно, оба были не чужды литературе и вели фронтовые записи, ставшие книгами. Это общее, но есть и разница.

Даниил Туленков когда-то опубликовал роман, написанный в молодости, потом занимался предпринимательством, был осужден на семь лет по обвинению в мошенничестве, хотя виновным себя не считает. Ушел с зоны в «Шторм Z», получил помилование к своему сорокапятилетию.

Дмитрий Артис на пять с половиной лет старше, он театральный деятель, драматург, поэт, автор многих книг, победитель конкурсов, человек богемы. О причинах двух его походов на СВО можно только догадываться. Вероятно, здесь и личные проблемы, и экзистенциальный кризис. «Где ты работал?» — спрашивают его в одной из записей. «Нигде», — отвечает он.

Текст Туленкова больше похож на литературу как не случайно получившееся, а специально сделанное искусство. В нем нет ничего лишнего, абзацы выточены. Повествование имеет сложную, запутанную, но продуманную структуру. Чувствуется выработанная жизнью привычка — впустую не говорить, отвечать за каждое слово.

У Артиса — датированная хроника текущих событий либо сиюминутная фиксация того, что пришло в голову. Это записки интроверта, там чувствуется сосредоточенность на себе, много телесного, немало чистой лирики — разговоров с божьими коровками, например.

Война — дело коллективное, рассказчики постоянно среди людей, волей или неволей ставших товарищами. Портреты окружающих персонажей занимают значительное место в обеих книгах. Авторы ощущают свою особость, даже, можно сказать, элитарность, заслуженную биографией, опытом, интеллектом. Такая особость не дает преимуществ — напротив, это ненужное бремя, ведь обстоятельства требуют других качеств и навыков, которых не так много у элитариев, но хватает у простых работяг. А вся жизнь возле войны состоит главным образом из работы.

¹ Туленков Даниил. Шторм Z. У вас нет других нас / Даниил Туленков. — Москва: «Яуза-каталог», 2024. — 224 с. Артис Дмитрий. Дневник добровольца / Дмитрий Артис. — Москва: «Яуза-каталог», 2024. — 288 с.



Зато когда требуется рассудительность, способность к планированию, рассказчики способны себя проявить и заслужить уважение. Впрочем, их выделяет и сознательность поведения, готовность к терпению ради цели — у одного впереди свобода, другой подвергает себя намеренному испытанию.

Люди вокруг авторов проходят самые разные, хватает среди них неприкаянных. Немало и основательных мужиков. Коллектив пестрый — и по положению в мирной жизни, и по национальности; много мусульман из всяких краев. И у Туленкова, и у Артиса говорится, к примеру, о солдатах-дагестанцах — от карикатурных щеголей в ярких кроссовках до хмурых крестьян. Но конфликтов почти не бывает, между людьми приняты отношения серьезных взрослых мужчин. Важно, что контрактные деньги для добровольцев не главное — заработок не так велик, слишком много приходится тратиться: на еду, на снаряжение, на мелкие радости, на взаимовыручку. Сидеть дома, в принципе, финансово выгоднее. Зато на фронте можно участвовать в большом всенародном деле.

Встречаются фигуры сказочные, идеальные. Так, Артис рассказывает о студенте-первокурснике, записавшемся на контракт между сессиями. Атлет, красавец; на сборный пункт его проводила мама. «Подтянут, вежлив, прост в общении. Невероятно любопытен». Пришел послужить Отечеству добровольцем, потому что срочников на войну не пускают.

Мы почти не видим в рассказах авторов профессиональных военных, лишь фигура командира иногда возникает. Мобилизованные только упоминаются. Зато у Артиса есть увиденный со стороны «Шторм Z».

«С зетовцами удобно работать. Сильно развит инстинкт самосохранения. Подскажут, разъяснят, помогут. Разложат по полочкам, если затупишь. Без крика и ругани. Без наезда. Грамотно... Зетовцы — идеальные воины. Сплоченные одной причиной выхода на тропу войны — это свобода. Притом что любви к Отечеству в них не меньше моего. Они умеют самоорганизовываться и распределяться по тем способностям и возможностям, душевным и физическим, которыми обладает каждый из них. Слабого никогда не пошлют вперед».

С историями Туленкова такой комплимент разительно контрастирует, однако и правда тут есть: к концу контракта у «зетовцев» остаются в строю только самые лучшие.

Оба автора пишут по-разному и о разном, но, не сговариваясь, как бы дополняют друг друга, создают объемную картину, снятую с разных сторон.

Война многослойна, есть несколько ее кругов. Внешний — это учебка. Дмитрий Артис пошел на войну второй раз, повторным контрактом, и снова попал на учебу. Отмечает, что за шесть месяцев форма войны и, соответственно, подготовка здорово изменились. Все стало жестче — и по физическим нагрузкам, и по знаниям и навыкам, передаваемым инструкторами. Он говорит, что добровольческие подразделения «уплотнились», новичков стало меньше, процентов десять всего, большинство идет не впервые.

У «Шторма Z» было по-другому. Туленков рассказывает, что времени на учебу выделили всего две недели, причем на занятия никого не загоняли силком. Кто хотел выжить, тот усердно учился. Из отлынивавших мало кто уцелел. Учили штурмовать траншеи и научили кое-как, на троечку с минусом. Наука пригодились с лихвой.

Следующий круг — расположение. Новоприбывшие базируются в поселке, часто в оставленных жителями домах. Живут здесь боевыми группами по несколько человек, каждый день заполнен трудами по нарядам, назначенным начальством. По крайней мере у добровольцев. «Зетовцы», бывало, разгульно проводили время и с новыми сроками отправлялись обратно на зону. Добровольцев за выпивку жестко наказывают командиры, не доводя дело до военной полиции.

Из расположения группы отправляют на боевые задания, которые длятся от нескольких дней до недель. «Зетовцам» отказаться нельзя, хотя кто-то, случается, отстает по дороге. Добровольцы могут «запяти-сотиться» без особых последствий, остаться в комендантском взводе, при бане или где-то еще. Только потеряют в положенных выплатах и упадут в глазах товарищей. Но большинство пришло, чтобы воевать. Боевые выходы — это война и есть. На какое-то расстояние к фронту подвозят на машинах или на бронетехнике. Дальше простреливаемая территория, по ней только пешком и обычно не днем или ночью, а на рассвете и в сумерках, «по серости», как это называют. Перебраться по «красной зоне» до позиций, а потом выбраться через нее обратно — самое опасное, при заходе и возвращении чаще всего гибнут и получают ранения. Есть специальные люди, проводники, «ноги», которые отлично знают местность, умеют быстро и скрытно передвигаться. Они носят на передовую припасы, выводят раненых.

Авторы не пишут о целях заданий, не дают привязок, не называют настоящих позывных: все их записи лежат в телефоне, телефон при себе, и, если враги его снимут с тела и прочитают, это принесет живым много вреда.

Образа врага почти нет, никто не видит его в лицо. Враг — некое опасное зло, которое находится в той стороне — иногда в километре, иногда в тридцати метрах. От него прилетают разрывы и пули, в его сторону следует стрелять самому. У Туленкова есть лишь одна боевая сцена, в которой он видит уничтожение противника своими глазами. Артис неделями живет на расстоянии крика от укрепления «немцев», как он их называет. С «немцем» напротив у него складывается общение, диалог. По настроению (а настроение друг друга они ощущают) противники обмениваются автоматными очередями и выстрелами из РПГ.

Если у Туленкова и его «зетовцев» почти вся война состоит из физически тяжелой беготни и умения забиться в щель под обстрелом, то добровольцы Артиса бегают только при заходе на позиции и выходе с них, остальное время живут среди полчищ мышей в бетонной коробке и терпят лишения: спят на камнях, питаются всухомятку, страдают от холода. Сменяются на посту, иногда ползают с грузом по трубам и роют земляные ходы.



У Туленкова важная постоянная тема — преодоление страха, умение взять себя в руки и выкрутиться. Фаталист Артис ничего не боится, он думает, что научился договариваться с судьбой, его главные муки — физические, основная проблема — борьба со своим неприспособленным для войны телом. Только в самые последние дни контракта он ошибается, нарушает договор и получает в бедро осколки.

Парадоксален один из выводов, сделанных авторами на основе военного опыта. Они вдруг понимают, что на войне им понравилось, что это едва ли не лучшее, что с ними случилось.

«Война наполнена всей гаммой цветов, существующих на земле, даже теми их оттенками, о существовании которых ты не подозревал в той, прежней жизни. Война — это фонтан эмоций, чувств и ощущений. Это обострение всех форм человеческого осязания. Это миллионы деталей и штрихов, от количества которых взрывается мозг человека, едва переступившего периметр лагеря, места, где все измеряется штучно, не превосходя количества пальцев на руках. Это совершенно иная скорость времени и совершенно иная ценность каждого его отрезка. Контрастный душ, который не всякому дано вынести без ущерба для душевного здоровья», — делится Даниил Туленков.

«Война способна открыть в человеке его лучшие качества, которые в условиях мирного существования пылятся за ненадобностью где-то глубоко внутри. Война — это самое прекрасное, что произошло со мной за пятьдесят лет жизни», — подводит итог Дмитрий Артис.



Инна КИМ

КАРТИНЫ — ЭТО НЕОКОНЧЕННЫЕ ПЬЕСЫ

Новосибирский художник Владимир Мандриченко

Думаю, Владимир Петрович Мандриченко в особом представлении не нуждается. Более того — ему посвящают стихи и фантастические рассказы! Известный художник, график, плакатист давно стал знаковой фигурой не только для сибирского изобразительного искусства. Его оригинальная графика и своеобразная живопись хранятся как в Новосибирской картинной галерее, так и в дирекции выставок Московского выставочного фонда и в частных коллекциях и собраниях в России, США, Канаде, Англии, Франции, Японии.

Родился Владимир Мандриченко 1 июня 1948 года в Москве. Свое раннее детство он провел на Троицкой улице, по соседству с похожим на терем из сказок домом-музеем Виктора Михайловича Васнецова, который в самом начале 1950-х годов был передан государству наследниками русского живописца-сказочника. Естественно, будущий художник постоянно туда бегал.

Только-только отгремела война, на которой родители Владимира нашли друг друга и которую они закончили вместе в Китае. Страна восстанавливалась после невероятных разрушений. По служебным делам отца — он был военным прокурором — семья Мандриченко переехала из столицы СССР в столицу Азербайджанской Советской Социалистической Республики. Баку был четвертым городом в огромной стране по численности населения. Но при этом маленькому Володе казалось, что в этом зеленом и уютном городе все друг друга знают.

В Азербайджане семья задержалась всего на несколько лет, а когда мальчик перешел в четвертый класс, родители снова сменили место службы и жительства. И Володя Мандриченко оказался в столице Сибири.

В Новосибирске он с большим желанием посещал студию городского Дворца пионеров. А после окончания школы восемнадцатилетний Владимир поступил на факультет художественно-технического оформления продукции Московского полиграфического института, где учился у известных педагогов и художников. Позже он вернулся в Сибирь, оставшись на всю жизнь в городе, который стал для него родным.

Свой путь в изобразительное искусство Владимир Мандриченко начал как плакатист и долгое время рисовал театральные афиши. В 1980-х годах он стал одним из организаторов нашумевшего арт-проекта новосибирских художников — «Выставки восьми». А в 1985 году новосибирский плакатист получил диплом проходившего в Москве XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов за цикл фестивальных плакатов.

Его карьера вообще складывалась довольно удачно. Так, членом Союза художников СССР Владимир Мандриченко стал всего лишь в 33-летнем возрасте, что с мастерами карандаша и кисти позднего Советского Союза случалось не так уж часто.

Новые времена принесли новые возможности. Больше трех лет художник жил и работал в Монреале и даже стал членом ассоциации живописцев канадской провинции Квебек. Однако толкающая в путь ностальгия — эта тема вместе с многообразными вариациями темы дороги пронизывает все творчество Владимира Мандриченко — вернула художника в Новосибирск.

Его визитной карточкой можно назвать известный графический цикл «Посвящение Басё», который Владимир Петрович густо населил забавными и лукавыми, грустными и задумчивыми человечками, зверушками и вовсе диковинными существами. К слову, Мацуо Басё — один из самых значимых японских поэтов, знаменитый основоположник метафоричного и философского искусства трехстиший-хокку.

Новосибирский художник буквально иллюстрирует любимые хокку Басё, создавая на их основе собственные яркие и насыщенные эмоциями миры-фантазии. Кажется, что волнующие и глубокомысленные образы японской лирики — просто отправная точка, откуда он, увлекаемый сложными фантазийными ассоциациями, мгновенно начинает свои невероятные путешествия сквозь пространство и время. Интересно, что сам Мандриченко никогда не был ни в Японии, ни в Китае. А вот со средневековой японской и китайской поэзией, которую мастер считает вершиной литературного искусства, он хорошо знаком еще со школьной юности.

Позже Владимир Мандриченко познакомился и с другой вершиной — уже изобразительного творчества — с трепетной, нежной и филигранной японской и китайской графикой и печатью. Художник из Новосибирска ее практически цитирует, тонко прорабатывая каждую деталь своих густо населенных многочисленными персонажами и композиционно сложносочиненных графических листов.

Владимир Петрович всегда считал, что графика — это высший пилотаж изобразительного искусства. Ведь художник-график отвечает за каждый свой штрих, и ничего из появившегося на листе невозможно переписать. Неудивительно, что на каждую работу у Владимира Мандриченко уходит не меньше нескольких месяцев кропотливого труда.

Но сначала к художнику должна прийти идея — только тогда он ощутит творческую эйфорию и сможет сесть за работу. Вообще каждое его творение требует много времени. Может, поэтому наш замечательный



земляк устраивает новые выставки гораздо реже, чем этого хотелось бы его многочисленным поклонникам.

Художник создавал ставшую для него практически программной серию в начале 2020-х годов, с очевидным удовольствием возвращаясь к ней вновь и вновь. Однако лирические образы искусства Страны восходящего солнца вдохновили сибиряка не только на оригинальную графику, но и на написание уникальных живописных полотен. Причем он снова обратился к образу знаменитого японского поэта, напрямую восклицая на одной из своих картин: «Пойдем, Басё, — там ждут тебя цикады».

А кроме искренне почитаемых японцев, Мандриченко явно цитирует и европейских мастеров, перед гением которых тоже испытывает неподдельное восхищение. Так что в работах новосибирца есть аллюзии на живопись и Рембрандта, и Ван Гога, и Брейгелей, и многих других.

Сам Владимир Петрович называет свои работы гравюрой по живописи. Создавая картины, художник продолжает экспериментировать — как и во время создания графических листов. Например, он работает маслом, будто это акварель, и в итоге рождаются специфические подтеки. Они делают изображаемый им мир более трепетным и при этом словно осязаемым, создающим ощущение, будто зритель находится не вовне, а внутри картины. И это невероятно притягивает.

«Отличить хорошего живописца от всех прочих можно, увидев, как художник открывает тюбик, — делится Владимир Мандриченко. — Он это делает так, как будто в тюбике заключен целый мир».

Но каким именно будет материал, при помощи которого появится новый шедевр, новосибирский художник обычно и сам не знает. Он признается, что многие темы сами выбирают, на холсте или на бумаге они хотят быть выраженными. Однако, по словам нашего земляка, он в ответе за каждого персонажа, которого создает.

«Моя живопись — это неоконченные пьесы, — утверждает Владимир Мандриченко. — Работы должны жить дальше и развиваться самостоятельно». И они это делают! В глазах и в сердцах тех, кто разглядывает их и разгадывает, не в силах отвести взгляд.

Все работы Мандриченко — это неспешные философские мысли о жизни, красоте и гармонии, о человеке и его духе. Все наполнены великим множеством филигранных деталей. С одной стороны, те словно вынесены за основной сюжет, находясь между его строк. А с другой — вкуче эти тонкие, а иногда и непонятные либо трудно объяснимые детали говорят об очаровании природы и единстве с ней человека, о путешествиях в прошлое и в будущее, о спокойствии души, о не постижимом равновесии окружающего мира.

И, конечно, о дороге домой! А она нелегка, хотя и заросла обманчиво шелковистым разнотравьем. Вот только ее камни колко впиваются в босые ноги, а сухие стебли режут кожу до крови. Правда, на этом пути обязательно встретятся настоящие друзья, в том числе и невиданные сказочно-чудесные существа. А в конце дороги каждого ждет кто-то

любимый и близкий, так что возвращение домой обернется родным, ласковым счастьем.

Какими только персонажами не населяет листы и холсты фантазия художника! Шалтаями-Болтаями и крылатыми змеями. Дикими лебедями и великанами. Джонами Ячменное Зерно, лилипутами и Гулливерами. Летающими бородатыми мужчинами и играющими в куколок-детей печальными миниатюрными женщинами с палочками в высоких прическах. Рыбами, птицами и собаками. Крестами на опущенных плечах и деревянными лошадками на палках. Красавицами в японских кимоно и уродцами со средневековыми европейскими лицами.

В созданных Владимиром Мандриченко мирах нет ничего жесткого, определенного, скучно-статичного. Здесь возможно все — в ежеминутно меняющемся живом настоящем. На картинах художника горы словно двигаются и дышат, а деревья и цветы — улыбаются и тянутся обняться. И кажется, можно лететь по горной тропинке, не чуя под собою ног и что-то бережно прижимая к груди, с восторгом слушая, как где-то вдали поет водопад.

Узкая тропинка бежит кромкой обрыва, где корни и камни сплелись в единое целое и где гнездятся острохвостые ласточки. В разверстых небесах парят поющие ангелы. Через синие реки перекинуты причудливые длинноногие цапли-мосты. Сияет безупречная парабола, прочерченная в облаках парящей птицей. Беспомощно всплескивает оранжевыми крыльями трогательный костерок-птенец. Улыбается танцующий человек в длинной монашеской одежде. Большой красный слон терпеливо несет на спине медведя.

Все смешалось в живописи Мандриченко. Изначальные мифы и переживания современного человечества. Архетипическое и рандомное. Традиции Востока и Запада. Библейские яблоки и наука иезуитов. Люди, демоны, вороны. Древние китайские сказки. Новорожденные горы в расветной дымке, похожие на сердцевину раскрывающегося навстречу солнцу цветка. Вечное одиночество. Очищающий благодатный дождь.

Эти живопись и графика продолжают жить, даже когда художник уже окончил работу. Они зовут в новые дороги и в вечность, помогают постигнуть изначально присущую миру гармонию, данную в дистиллированном, незамутненном виде, умиротворяют и дают почувствовать всю глубину трепета и ликования твоего собственного неповторимого существования.

А Владимир Петрович Мандриченко остается любопытным и внимательным творцом-наблюдателем. «Почему я рисую? — восклицает новосибирский художник. — Мне еще многое хочется рассказать!» И это чистая правда.

АВТОРЫ НОМЕРА

Агалаков Александр Викторович родился в Томске в 1960 г. Окончил Томский государственный университет. Филолог, преподаватель, журналист. Работал на руководящих должностях в пресс-службе региональной транспортной милиции. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Звезда», «Новосибирск» и др. Автор нескольких книг, соавтор трех сборников публицистики. Живет в Новосибирске.

Бочков Сергей Владимирович родился в 1977 г. в поселке Шаблыкино Орловской области. Живет и работает в городе воинской славы Орле. Увлекается изучением истории Отечества.

Волков Сергей Вадимович родился в 1972 г. в Ленинграде. Публиковался в журналах «Звезда», «Нева», «Сибирские огни» и др. Автор книг стихов «На улице Бурцева», «Дорога к февралю», «Бересклет». Член Союза российских писателей. Живет в Санкт-Петербурге.

Габрусенко Валерий Васильевич родился в 1941 году в Новосибирске. Инженер-строитель, специалист в области строительных конструкций, кандидат технических наук, доцент, педагог. Публицистикой занимается с 1995 г. Выступал на Новосибирском депутатском радиоканале «Слово», публиковался в газетах «Память Отечества», «За Русское дело», «Русский вестник», журналах «Молодая гвардия», «Медный всадник», «Русич» и др. Автор брошюр «Задачи русской молодежи», «Отсталый ли русский народ», «Где искать фашистов в России», книга «150 русских гениев» (2-е издание «200 русских гениев»), «Творцы оружия Победы».

Зарецкая Ирма родилась в 1985 г. в Донецке. По образованию журналист. Публиковалась в журналах «Топос», «Другие люди», «Darker», «Перископ», «Нева» и др., в сборниках «Литкульт» и «Зов». Живет в Донецке.

Злобин Володя родился в 1990 г. в Новосибирске. Трудится разнорабочим. Лауреат премии журнала «Сибирские огни» (2017). Живет в Новосибирске.

Иванов Игорь Владимирович родился в 1964 г. в Мурманске. Окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Работал в газете «Молодежь Севера». С 1991 года является главным редактором православной газеты Севера России «Вера». Автор более 200 очерков, сборника повестей и рассказов «Сокровенное лето». Член Союза писателей России. Живет в Сыктывкаре.

Иванченко Валерий Георгиевич родился в 1963 г. в Магадане. Окончил исторический факультет Алтайского государственного университета. Работал обозревателем газеты «Книжная витрина». Член жюри и номинатор литературной премии «Новые горизонты». Лауреат премии «Сибирских огней» за 2023 год. Живет в Барнауле.

Ким Инна родилась в Осинниках. Окончила Новокузнецкий педагогический

институт. Удостоена знака «Мастер» за вклад в журналистику. Неоднократно становилась лауреатом всероссийских и международных литературных и драматургических конкурсов. Публиковалась в ряде сборников прозы, журналах «Новая юность», «Сибирские огни», «Литература», «Огни Кузбасса», альманахах «Образ», «Кузнецкая крепость». Живет в Новокузнецке.

Косарев Михаил Алексеевич родился в 1961 г. в Новосибирске. Окончил факультет журналистики Томского государственного университета. Публиковался в журналах «Литературное обозрение», «Сибирские огни», «Москва», «Подъем», «Огни Кузбасса» и др. Живет в Новосибирске.

Мелодьев Мартин Михайлович родился в 1953 г. в Новосибирске. Окончил экономический факультет Новосибирского государственного университета. Работал копирайтером, начальником бюро рекламы радиозавода «Вега», программистом. Публиковался в сборнике «Гнездо поэтов» (Новосибирск, 1989), в журналах «День и ночь», «Интерпоэзия» и др. Автор пяти книг стихотворений. В 1989 году эмигрировал в США. Живет в городе Маунтин-Вью, Калифорния.

Мельников Сергей Георгиевич родился в 1960 г. в поселке Тея Северо-Енисейского района Красноярского края. Образование среднее. В настоящее время на пенсии. В журналах ранее не публиковался. Живет в г. Красноярске.

Рудалёв Андрей Геннадьевич родился в 1975 г. в Северодвинске. Окончил Поморский государственный университет по специальности «учитель русского языка и литературы». Литературный критик, публицист. Автор двух литературоведческих книг и множества публикаций в периодике. Лауреат ряда литературных премий. Член Союза писателей России, а также Русского ПЕН-центра. Живет в Архангельске.

Татаренко Юрий Анатольевич родился в 1973 г. в Новосибирске. Поэт, член Союза писателей России, автор четырех книг стихов. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «День и ночь», «Байкал», «Южная звезда», «Огни Кузбасса», «Бийский вестник», «Литературная учеба», «Начало века», «Ликбез», «Красная бурда», в «Литературной газете» и других изданиях. Живет в Новосибирске.

Шелленберг Вероника Владимировна родилась в 1972 г. в Омске. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Публиковалась в журналах «Арион», «День и ночь», «Урал», «Сибирские огни» и др. Автор десяти стихотворных сборников и повести-мифа «Кара-Ак-Таш». Лауреат ряда литературных премий. С 2017 г. — председатель Омского регионального отделения Союза российских писателей и редактор альманаха «Складчина». Живет в Омске.

Частные лица и организации в Российской Федерации
и в странах СНГ могут подписаться
на журнал **«СИБИРСКИЕ ОГНИ»** в любом отделении связи —
красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России,
Администрация Новосибирской области.
Журнал зарегистрирован в Государственном комитете
Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:
630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 25, тел. (383) 223-10-15
E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»
630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104
<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 16.04.2024.
Дата выхода № 5 за 2024 г. в свет 16.05.2024.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 12,09.
Тираж 1500 экз.

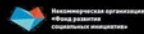
Во всех случаях полиграфического брака
просим обращаться в типографию.



Владимир Мандриченко. Пейзаж с красным слоном. (2021)



Владимир Мандриченко. Посвящение Басе. (2020)



Общероссийская литературная Премия «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева

3 приза
по 500 000 р.

в трёх
номинациях

- Длинная проза
- Короткая проза
- Проза для детей

Прием заявок
с 1 февраля
2024 года

18+



премияарсеньева.рф